This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Charles B. Woodruff Book Fund

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

* * *

This is an authorized facsimile of the original book, and was produced in 1968 by microfilm-xerography by University Microfilms, A Xerox Company, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

* * *

Pokrovskii, V. I.

М. Е. Салтыковъ

какъ сатирикъ, художникъ и публицистъ.

ф. 8557
25 0058

Изъ критической литературы

о Салтыковѣ.

Составилъ Н. Покровскій.

1906

Цѣна 1 р. 25 к.

МОСКВА—1906.
Складъ въ книжномъ магазинѣ В. С. Спиридонова и А. М. Михайлова.
Москва, Тверская площадь, Столешниковъ пер., д. Ліанозова.

ВН

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Цѣль настоящаго сборника—освѣтить, по возможности, литературную дѣятельность Салтыкова, намѣтить художественно-общественное значеніе его, какъ сатирика-публициста, пролить отчасти свѣтъ и на его личность, столь привлекательную по своей изумительной трудоспособности, по необычной нравственно-гражданской честности, неподкупности.

Салтыковъ-сатирикъ, при колоссальности своего таланта, при всей популярности, мало знакомъ, сравнительно, широкому кругу нашихъ читателей. Причины тому — какъ въ немъ самомъ, такъ и въ обществѣ.

„Несмотря на всю популярность Салтыкова,—справедливо говоритъ К. К. Арсеньевъ,—сочиненія его, разсматриваемыя, какъ одно цѣлое, извѣстны читающей публикѣ гораздо менѣе, чѣмъ сочиненія другихъ писателей, стоящихъ, вмѣстѣ съ нимъ, въ первыхъ рядахъ нашей литературы. Объясняется это отчасти числомъ и объемомъ его произведеній, отчасти содержаніемъ ихъ. Романъ, при равенствѣ остальныхъ условій, гораздо сильнѣе врѣзывается въ память, гораздо чаще перечитывается, чѣмъ са-

тира — въ особенности сатира безличная, публицистическая, какою она сплошь и рядомъ бываетъ у Салтыкова. У нея нѣтъ того твердаго остова, какимъ служитъ дѣйствіе въ романѣ; ея составныя части не такъ крѣпко цѣпляются одна за другую и потому легче упускаются изъ виду *)".

Есть тутъ и еще причина, на которую указываетъ Е. Л. Марковъ: въ массѣ читающей публики сатиру Салтыкова понимаютъ не многіе потому, что „главная сила ея заключается не въ пріемахъ грубой насмѣшки, а въ трудно уловимыхъ оттѣнкахъ тонкой ироніи".

А очень жаль, что у нашего сатирика не широкій кругъ читателей, вполнѣ понимающихъ его. Сатира его, по нашему мнѣнію, и доселѣ не потеряла своего жизненнаго значенія. Тѣ общественныя явленія, которыя клеймитъ Салтыковъ, тѣ разнообразные типы, охарактеризовать которые онъ сумѣлъ такъ талантливо, и доселѣ, въ сущности, господствуютъ въ нашей жизни, хотя и въ новомъ видѣ, подъ другимъ знаменемъ.

Нельзя не удивляться обилію темъ, характеровъ, типовъ и явленій русской жизни, которые развертываетъ передъ своимъ читателемъ сатирикъ, невольно поражаешься его психологической проницательностью и гражданской зрѣлостью, мѣткостью характеристикъ и силою негодованія противъ общественнаго зла.

---

*) „Вѣстникъ Европы" 1883 г., № 5.

Гражданиномъ высокой пробы является сатирикъ и въ своихъ собственно публицистическихъ статьяхъ.

Опредѣленное отношеніе Салтыкова, какъ сатирика и публициста, къ русской жизни, основанное на ясномъ пониманіи нормальной дѣятельности гражданина, устойчивость міросозерцанія, обрисовка типовъ сообразно своимъ взглядамъ,—все это много, несомнѣнно, способствуетъ развитію въ читателяхъ общественнаго самосознанія.

О расположеніи статей сборника нахожу излишнимъ говорить: при пересмотрѣ оглавленія и нѣкоторомъ знакомствѣ съ содержаніемъ ихъ не трудно понять соображенія составителя въ данномъ случаѣ.

Но считаю необходимымъ сдѣлать замѣчаніе относительно оглавленія статей. Нѣкоторыя изъ нихъ могутъ ввести въ заблужденіе читателя, если онъ подумаетъ, что тема, указываемая заглавіемъ, обстоятельно развивается. Въ предупрежденіе подобной ошибки заявляю, что иногда заглавіе статьи, не обнимая всего содержанія, указываетъ только на тѣ стороны, съ какихъ можно взглянуть на Салтыкова, при опредѣленіи его значенія, — иногда оно даетъ извѣстное обобщеніе, по смыслу, впрочемъ, самой статьи. Такая особенность сборника объясняется недостаточностью критическаго матеріала для надлежащаго освѣщенія писателя.

Н. Покровскій.

Общественное, историческое и моральное значение произведений Салтыкова *).

I.

Среди знаменитых писателей наших Салтыков принадлежит к тем, которые с полным правом могут гордиться своим вліяніем на общественную мысль. Идя „дорогою свободной", куда влек его „свободный ум", он не искал „восторженных похвал", но они сами пришли к нему, и не будут для него только „минутным, преходящим шумом".

Не раз говорилось, что будущій историк нашего времени не минует произведений Салтыкова, что в них он найдет вѣрныя и глубокія характеристики нашего общественнаго быта. Они воскресят передъ нимъ рядъ современников наших и засвидѣтельствуют о всѣх печаляхъ и тягостях, угнетающих насъ. Мрачною чередой пройдут передъ его глазами „ташкентцы" и Деруновы, и весь этот людъ „царующаго зла" и народнаго горя, и наша злоба дня встанет передъ нимъ во всей своей силѣ. Въ прошломъ нашемъ он найдетъ, конечно, причины общественной безурядицы, современной намъ, но будетъ искать отраженія их и въ сатирѣ Щедрина. Онъ, несомнѣнно,

*) *А. И. Введенскій.* Литературныя характеристики. Сатиры Щедрина. Спб. 1903.

будетъ нуждаться въ помощи художника: историческое пониманіе, какъ бы оно сильно ни было, никогда не въ состояніи дойти до той степени силы и рельефности, какъ пониманіе художественное. Историкъ почти только апріорнымъ путемъ можетъ уловить вліяніе прошлаго на настоящее; художникъ можетъ прослѣдить и яркими красками изобразить, проанализировать послѣдовательное измѣненіе жизни, показавши психологическія основы ея. Найдетъ ли историкъ въ произведеніяхъ Салтыкова объясненіе причинъ, по которымъ такъ, а не иначе сложилась наша жизнь, образовались въ обществѣ тѣ, а не другіе характеры? Находимъ ли его и мы, современники автора, для которыхъ, несомнѣнно, оно еще нужнѣе?

За Салтыковымъ утвердилось названіе „знаменитаго сатирика нашего". Сатира, при всей ея художественности и при могущественномъ вліяніи на читателя, всегда почти бываетъ—да едва ли и можетъ не быть—одностороннимъ изображеніемъ жизни. Рисуя передъ читателемъ уродливый образъ, прямое противорѣчіе идеалу, она прямо имѣетъ въ виду наиболѣе оттѣнить именно уродливыя черты его. Человѣкъ всегда остается человѣкомъ, и никакія вліянія не могутъ вполнѣ стереть въ немъ глубоко-человѣческихъ чувствъ и помышленій, а только заносятъ ихъ житейскою грязью и всякимъ соромъ себялюбивыхъ побужденій. Человѣкъ можетъ быть испорченъ, но остается все-таки человѣкомъ, и въ глубинѣ душевной, подъ наноснымъ соромъ, въ немъ всегда будетъ жить способность къ лучшимъ движеніямъ человѣческимъ. И если бы не существовало этого основного свойства человѣческаго, если бы, по крайней мѣрѣ, человѣкъ утратилъ вѣру въ него, жизнь потеряла бы всякую цѣну. Сатира сама обязана своимъ существованіемъ именно этой вѣрѣ въ человѣка, потому что иначе не было бы никакого смысла

въ ней: зачѣмъ было бы обращаться къ людямъ, указывать имъ на тѣ уродливости, которыя привила къ нимъ суровая жизненная борьба, если считать ихъ неспособными отозваться на благородный голосъ обличенія? При всемъ томъ дѣло сатиры—показать только эти уродливости, возбудить отвращеніе къ нимъ, негодованіе. При этомъ способѣ изображенія жизни многія черты ея ускользаютъ отъ вниманія сатирика и читателя его. Есть другой способъ отрицательнаго отношенія къ жизни—способъ юмористическій. Юмористъ тоже смѣется надъ уродливостями жизни, но смѣется „сквозь слезы", съ чувствомъ не отвращенія къ нимъ, не съ насмѣшкой, а съ глубокимъ сожалѣніемъ попранной человѣческой личности. По самому свойству своего отношенія къ жизни и явленіямъ ея онъ рисуетъ читателю не однѣ только эти уродливости, а и глубоко-человѣческія свойства, лежащія въ основаніи ихъ, показывающія, что при другихъ условіяхъ, подъ болѣе благодѣтельными вліяніями, онѣ выразились бы не въ этихъ существующихъ уродливыхъ формахъ. Юморъ—это высшій родъ сатиры; онъ не дѣлаетъ изображенія жизни одностороннимъ, онъ захватываетъ все: и внѣшнія формы, и внутреннее содержаніе, и всѣ основы и первыхъ и второго. Очевидно, что пониманіе жизни и причинъ извращенія ея дается въ несравненно большей степени юмористическимъ, чѣмъ сатирическимъ изображеніемъ жизни.

Если несомнѣнно, что многія произведенія Салтыкова носятъ характеръ преимущественно сатиры, то, съ другой стороны, также несомнѣнно, что другія его произведенія возвышаются до художественно-юмористическаго объективнаго отраженія жизни. Къ такимъ именно произведеніямъ принадлежатъ „Господа Головлевы". Салтыковъ въ этомъ произведеніи гораздо болѣе бытописатель нашей жизни, чѣмъ просто сатирикъ. Въ

„Господахъ Головлевыхъ“ онъ показалъ необыкновенную мощь художественнаго таланта и яркими штрихами очертилъ крупнѣйшія типическія свойства всей нашей жизни.

„Бываютъ семьи,—говоритъ авторъ,—надъ которыми тяготѣетъ какъ бы обязательное предопредѣленіе. Особливо это замѣчается въ средѣ той мелкой дворянской сошки, которая, безъ дѣла, безъ связи съ общею жизнью и безъ правящаго значенія, сначала ютилась подъ защитой крѣпостного права, разсѣянная по лицу земли русской, а нынѣ уже безъ всякой защиты доживаетъ свой вѣкъ въ разрушающихся усадьбахъ. Въ жизни этихъ жалкихъ семей и удача и неудача—все какъ-то слѣпо, не гадано, не думано...“

Кто изъ насъ не знаетъ этихъ семей, составляющихъ, въ сущности, почти всю полуобразованную массу нашей такъ называемой „интеллигенціи“. Анализируя жизнь этихъ семей въ трехъ послѣдовательныхъ поколѣніяхъ, авторъ показываетъ, въ чемъ состоитъ „предопредѣленіе“. Это—фатальное вырожденіе ихъ. „Представителямъ ихъ домашніе пенаты съ самой колыбели ничего, повидимому, не дарятъ, кромѣ безвыходнаго злополучія. Вдругъ... нападаетъ на семью не то невзгода, не то порокъ и начинаетъ со всѣхъ сторонъ ѣсть... точитъ поколѣніе за поколѣніемъ. Появляются коллекціи слабосильныхъ людишекъ, пьяницъ, мелкихъ развратниковъ, безсмысленныхъ празднолюбцевъ и, вообще, неудачниковъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ мельче вырабатываются людишки, пока, наконецъ, на сцену не выходятъ художественные зауморыши... которые, при первомъ же натискѣ жизни, не выдерживаютъ и гибнутъ“. Авторъ указываетъ три характеристическія черты, проходящія чрезъ исторію семьи: „праздность, непригодность къ какому бы то ни было дѣлу и запой“. Первыя двѣ приводили съ собой пустословіе, пустомысліе; запой являлся какъ

бы обязательнымъ заключеніемъ „общей жизненной неурядицы“. Очевидно, что всѣ эти черты, всѣ эти свойства сливаются въ одномъ — „праздность“; остальное составляетъ только ея результаты. Праздность, праздность и праздность — вотъ существенное содержаніе этой жизни.

Всѣ эти общія характеристики даетъ намъ авторъ. Посмотримъ теперь, что говорятъ персонажи, выведенные имъ, и ихъ жизнь. Во всѣхъ семи разсказахъ, изъ которыхъ слагается все произведеніе, выдѣляются, встаютъ во весь ростъ передъ читателемъ преимущественно двѣ фигуры: барыни Арины Петровны и любимаго сына ея Порфирія Владимировича—„Іудушки“. Въ семейной драмѣ вырожденія, разложенія имъ принадлежитъ первенствующая, дѣятельная роль. Около нихъ группируется цѣлая серія второстепенныхъ лицъ, судьба которыхъ чрезвычайно трагична. Это не злые, напротивъ—очень добрые, очень хорошіе люди, съ прекрасными задатками; у нихъ есть умъ и очень человѣческое сердце. Но куда же все это дѣвается! Вотъ передъ нами старшій братъ Іудушки, Степанъ Головлевъ, нелюбимый сынъ Арины Петровны. Какое воспитаніе послала ему судьба? У матери его, говоритъ авторъ, „была слишкомъ независимая, холодная натура, чтобы она могла видѣть въ дѣтяхъ что-нибудь, кромѣ лишней обузы...“ Постылый „Степка-озорникъ“, умный мальчикъ, съ дѣтскихъ лѣтъ „играетъ роль не то паріи, не то шута“, и становится „Степкой-балбесомъ“. Постоянное приниженіе, въ соединеніи съ праздностью, естественно, даетъ впечатлительному мальчику характеръ рабскій, дѣлаетъ изъ него личность несамостоятельную, легко уступающую всякому вліянію и притомъ совершенно бездѣятельную. Это одна изъ тѣхъ талантливыхъ натуръ, образчики которыхъ авторъ далъ еще въ своихъ „Губернскихъ очеркахъ“. Онъ кончилъ курсъ гимназіи, поступилъ

въ университетъ, но, встрѣчая и въ школѣ и въ жизни все ту же свою семью, все больше и больше падаетъ. Нелюбовь матери, дававшей ему мало средствъ, развиваетъ въ немъ наклонности и способности не къ самостоятельной жизни и дѣятельности, а къ роли приживальщика. Какъ все это знакомо каждому, видѣвшему близко нашу общественную жизнь! Что говорить о результатахъ такой жизненной подготовки? Они слишкомъ понятны. Первый жизненный толчокъ — и Степанъ Головлевъ долженъ былъ погибнуть. Такъ все это, разумѣется, и случилось, и авторъ даетъ превосходное описаніе, какъ шагъ за шагомъ погибалъ физически, умственно и нравственно этотъ человѣкъ, какъ постепенно изнашивались его голова и сердце. Припомните одного изъ славныхъ героевъ нашей беллетристики— Обломова. Степанъ Головлевъ именно и есть Обломовъ, только менѣе выгодно поставленный въ жизни. Если бы у почтеннаго Ильи Ильича была не такая чадолюбивая маменька да былъ бы еще братецъ Іудушка, ему пришлось бы свести счеты съ жизнью гораздо раньше квартирки на Петербургской сторонѣ, со сверкающими локотками хозяюшки-чиновницы.

Намъ не нужно говорить ни объ отцѣ Іудушки, ни о другомъ братѣ его, Павлѣ, ни о племянницахъ; это— все тѣ же „Степки-балбесы“ съ очень небольшими видоизмѣненіями въ характерѣ, а главное—въ жизненной обстановкѣ. Павелъ Головлевъ кончаетъ совершенно такъ же, какъ и Степанъ; онъ только протянулъ дольше, благодаря тому, что былъ не настолько нелюбимъ „маменькой“. Но вся его жизнь проходитъ подъ тѣми же вліяніями. Естественно, всѣ они, а позднѣе и племянницы Іудушки, бѣгутъ изъ родного, но „мертваго“ дома; жизнь принимаетъ всѣхъ ихъ въ свои холодныя объятія и доламываетъ. Мы намѣренно говоримъ это о жизни. Посмотрите, кого встрѣчаютъ всѣ наши герои

внѣ своего „мертваго“ дома? Все это или такіе же Степки-балбесы, или Іудушки съ „милымъ другомъ маменькой“. Ни одинъ изъ нашихъ героевъ не встрѣчаетъ ни поддержки, ни участія, ни нравственнаго вліянія; все кругомъ темно и безразсвѣтно, и нѣтъ имъ выхода, кромѣ какъ воротиться домой, туда же, гдѣ поколѣніе за поколѣніемъ ждало своего „умертвія“, или же выйти въ станъ „ликующихъ, обагряющихъ руки въ крови“ и пр.; но и туда путь закрытъ имъ соперниками, представителями болѣе „удачныхъ“ семей, которые, по выраженію автора, „начинаютъ искательствомъ и кончаютъ предательствомъ“, и примѣры которыхъ мы видимъ въ другихъ произведеніяхъ нашего автора. Не будь этого дома, куда можно имъ воротиться, судьба вывела бы ихъ, можетъ-быть, на тотъ путь, что зовется „Владимиркой“, или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Іудушка и „милый другъ маменька“ — дѣятельные члены семьи. Оба они — „хозяева-пріобрѣтатели“. Они умѣли хлопотать, дѣятельно устраивали свои дѣла, и къ чему же пришли? Только къ сознанію ненужности своей дѣятельности, къ пустотѣ. Іудушка показалъ собственнымъ примѣромъ маменькѣ, чѣмъ она была по отношенію къ другимъ, и она умерла въ полномъ сознаніи ненавистности дѣла всей своей жизни. Іудушкѣ тоже, въ концѣ концовъ, пришлось убѣдиться въ томъ же и понять, но уже поздно, что жизнью должно быть нѣчто совершенно другое, не то, чѣмъ онъ считалъ ее; онъ понялъ все свое безсердечіе, припомнилъ жертвы его, но поздно, слишкомъ поздно. Авторъ съ большою художественною проницательностью намѣчаетъ главнѣйшіе моменты психической жизни героевъ, постепенные переходы ихъ къ сознанію губительности ихъ жизни. Какимъ же образомъ создалась эта неудачная жизнь ихъ? На Іудушкѣ, любимцѣ матери, мы видимъ примѣръ ея вліянія, вліяніе ея пріобрѣтательной дѣя-

тельности и той вѣковой морали, примѣръ вліянія которой мы видимъ на Чичиковѣ. Помните ли эти наставленія, которыя выслушивалъ герой „Мертвыхъ душъ“ и которыя запали въ его душу: послушествуй старшимъ и пр.? Іудушка вышелъ въ жизнь именно съ такимъ запасомъ практическихъ сентенцій, которыя и сложились въ немъ въ то, что авторъ называетъ пустословіемъ и пустомысліемъ. Судьба Іудушки должна была, очевидно, сложиться именно такъ, какъ показываетъ намъ авторъ. Оставшись одинокимъ и видя кругомъ себя только ненависть, онъ долженъ былъ, въ концѣ концовъ, притти къ тяжелому сознанію, покаравшему его...

Персонажи произведеній Салтыкова, очевидно, старые знакомые наши, но только явившіеся въ новомъ освѣщеніи и въ новой обстановкѣ. Изъ одной и той же семьи авторъ выводитъ и Обломовыхъ и Чичиковыхъ, только менѣе удачныхъ, настоящихъ нужно искать среди представителей болѣе „удачныхъ“ семей. Въ этомъ сказалось, по нашему мнѣнію, глубокое пониманіе нашей жизни. Эти два первенствующіе типа дѣйствительно представляютъ только результаты однихъ и тѣхъ же жизненныхъ вліяній на различныя натуры, или же даже и на одинаковыя, но находящіяся въ различныхъ положеніяхъ. Что же это за вліянія? спроситъ читатель. Но посмотрите кругомъ, и вамъ все станетъ понятнымъ. Вы видите общество мятущееся, стремящееся найти выходъ изъ вѣковой безпомощности. Все въ немъ разъединено, потому что каждому приходится беречь себя, а въ каждомъ другомъ онъ не знаетъ, видѣть ли друга, или врага. Вы не слышите въ немъ живого слова. Среди этого хаоса представьте добрую натуру, не знающую выхода, да и привыкшую къ безпечному существованію на счетъ другихъ. Куда итти такому человѣку?.. Но какое обширное поприще для

Чичикова!.. Настанетъ время — выяснятся задачи каждаго человѣка; усилится образованіе; слабые лѣниво, но примутся за дѣло; — иначе будетъ нельзя жить; сильные станутъ ихъ руководителями; общество будетъ становиться дѣятельнѣе, и наши потомки уже не будутъ знать печальной судьбы предковъ, испорченныхъ вѣковою жизнью на счетъ народнаго труда.

II.

„За рубежомъ“ — произведеніе одного изъ тѣхъ писателей, которые, силою своего таланта, въ теченіе всей своей литературной дѣятельности вносятъ въ общество сознаніе окружающихъ золъ, зовутъ его къ свободѣ мысли и совѣсти, учатъ ненавидѣть и презирать зло. Превосходный цѣнитель и анализаторъ нашей дѣятельности, Щедринъ, произведенія котораго нужно будетъ впослѣдствіи читать съ исторіей въ рукахъ,—до такой степени невѣроятно тяжелы и непонятны для нашихъ потомковъ будутъ времена, которыя мы переживаемъ,— Щедринъ отражаетъ въ своей сатирѣ „За рубежомъ“ всю горечь и „унынie“, отравляющія жизнь современнаго русскаго человѣка. „Русскій гулящій человѣкъ,— говоритъ онъ, — всего больше долженъ опасаться одиночества. Одиночество даетъ человѣку поблажку мыслить — вотъ въ чемъ бѣда. Мыслить, то-есть припоминать, ставить вопросы, а буде не пропала совѣсть, то чувствовать и уколы стыда, такъ что въ результатѣ непремѣнно получится какое-то гложущее унынie. Это унынie приведетъ къ нулю всю работу мысли; оно парализуетъ возможныя рѣшенія, заслонитъ всевозможныя перспективы и будетъ безполезно раздражать...“

Читая эти грустныя строки, каждый невольно спроситъ: неужели же нужно бояться мысли? Неужели такъ печальны результаты ея? Мысль, повидимому, должна бы не парализовать, а вызывать рѣшенія; не заслонять,

а открывать перспективы. Но такъ спросить только будущій читатель. Мы же съ вами хорошо понимаемъ и на себѣ испытываемъ, что такъ совершаются многія жизни у насъ, „въ средѣ, гдѣ нѣтъ ни подлиннаго дѣла ни подлинной увѣренности въ завтрашнемъ днѣ". Дѣйствительно, въ такой средѣ мысль играетъ печальную роль, служитъ источникомъ невыразимыхъ нравственныхъ страданій. Возможно ли для человѣка, ясно понимающаго совершающуюся кругомъ вакханалію невѣжества, недобросовѣстности и лжесвидѣтельства, оставаться спокойнымъ и безстрастнымъ свидѣтелемъ ея; возможно ли для него искать выхода, слѣдовательно — мыслить и дѣйствовать? Но, съ другой стороны, возможно ли у насъ честно мыслить и дѣйствовать, не рискуя ежеминутно быть поглощеннымъ невѣжествомъ, недобросовѣстностью, лжесвидѣтельствомъ? И вотъ, если вы предаетесь заботѣ о вашей, по выраженію Щедрина, „шкурѣ", если вы не хотите быть поглощеннымъ, вамъ остается одно, чтобы первенствующая роль въ вашей жизни досталась „пустякамъ и праздному мелканію".

„Въ средѣ, гдѣ нѣтъ ни подлиннаго дѣла ни подлинной увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, — говоритъ авторъ, — пустяки играютъ громадную роль. Это единственный ресурсъ, къ которому прибѣгаетъ человѣкъ, чтобы не задохнуться окончательно, и въ то же время — это легчайшая форма жизни (для могущихъ не мыслить), такъ какъ всѣ проявленія ея заключаются въ непрерывномъ маятномъ движеніи отъ одного предмета къ другому, безъ плана, безъ очереди, по мѣрѣ того какъ они сами собой выплываютъ изъ бездны случайностей. Предаваясь этому движенію, человѣкъ совершаетъ простую обрядность, не только не требующую помощи мыслящей силы, но даже идущую прямо въ разрѣзъ ей. Въ этой сутолокѣ нѣтъ и не можетъ быть

мѣста для мысли. Подавленная цѣлою массой случайныхъ подробностей, мысль прячется, глохнетъ, а ежели отъ времени до времени и настаютъ для нея минуты пробужденія, то она не помогаетъ, не выводитъ на дорогу, а только мучительно раздражаетъ. Она ставитъ вопросы, взбудораживаетъ совѣсть, но въ то же время постыдно ослабѣваетъ предъ всякой серьезной работой разъясненія. Вопросы остаются обнаженными, въ томъ зачаточномъ видѣ, въ какомъ они возникли; совѣсть безконечно ноетъ—только и всего. Даже компромиссовъ не является, на которыхъ, хоть съ грѣхомъ пополамъ, можно было бы примириться. Одно желаніе—уйти, забыться, на все махнуть рукой"...

Ужасны ея чувства и мысли!

Понятно, что тамъ, гдѣ жизнь слагается подъ бременемъ массы пустяковъ, „никакіе твердые общественные устои не могутъ быть мыслимы". Понятно также, что такая жизнь обращаетъ сны, подобные видѣнному и описанному авторомъ, въ дѣйствительность, и дѣйствительность—въ тяжелый и удушливый сонъ. Дѣйствительность—сонъ этотъ—„Торжествующая свинья". Авторъ видѣлъ *Свинью*, разъѣвшуюся, съ блестящей щетиной, и *Правду*, особу, которой, по штату, полагается быть вѣчно юною, но уже изрядно побитую, прикрытую, по распоряженію начальства, лохмотьями, сквозь которые просвѣчиваетъ классическій полный мундиръ, т.-е. нагота...

Читая сатиру Щедрина, невольно и неотразимо чувствуешь невыносимую боль за человѣка, которою она проникнута, невольно подчиняешься сильному и страстному голосу, зовущему понять и осмыслить нравственную приниженность нашего общества и бороться противъ нея. Въ послѣдніе годы сатира Щедрина сильна именно этою своею стороной. Когда еще обстоятельства нашей жизни не были обострены до теперешней на-

пряженности, она была спокойнѣе и ровнѣе. Теперь же вы чувствуете въ ней крики отчаянія и, порою, отсутствіе вѣры въ будущее. Щедринъ надѣленъ чуткою нервною натурой; въ своей литературной дѣятельности онъ шелъ шагъ за шагомъ рядомъ съ общественною жизнью, чувствовалъ малѣйшія измѣненія направленій и немедленно отражалъ ихъ въ своихъ сатирахъ. Въ этомъ, главнымъ образомъ, и состоитъ значеніе ея для современниковъ. Въ разсматриваемомъ нами произведеніи своемъ Щедринъ отразилъ именно современный моментъ нашей жизни въ ея преобладающихъ мотивахъ. И читая эту горькую исповѣдь, будущій историкъ—повторяемъ—остановится съ сожалѣніемъ надъ печальною судьбой мыслящихъ людей современнаго намъ поколѣнія.

Сатира Щедрина характеризуетъ положеніе въ нашемъ обществѣ всякаго просто мыслящаго человѣка безотносительно, который, въ случаѣ невозможности мыслить, могъ бы, если бы хотѣлъ, предаться и пустякамъ. Бываютъ, однако, жизненныя положенія, въ которыхъ такая постановка дѣлъ невозможна, въ которыхъ занятіе пустяками немыслимо. Жизнь уже сама по себѣ, хотя бы въ формѣ заботъ и тревогъ о насущномъ хлѣбѣ и при отсутствіи, въ началѣ, такъ называемыхъ „высшихъ интересовъ“, далеко не пустяки. Представимъ себѣ просто честнаго человѣка въ его обыденной борьбѣ за насущный хлѣбъ. На него тяжелымъ гнетомъ ложатся историческія обстоятельства, а въ томъ числѣ и „торжество свиньи“. Въ этой ежедневной борьбѣ за существованіе онъ будетъ волей-неволей сталкиваться поминутно съ фактами, наводящими на размышленіе. Онъ не можетъ „мириться на компромиссахъ“, потому что компромиссы съ требованіями прямо животнаго организма человѣка немыслимы. Онъ не можетъ „уйти, забыть, на все махнуть рукой“... по

той простой причинѣ, что неестественно голодному уйти отъ хлѣба, невозможно ему „все забыть и рукой махнуть“. Вотъ именно въ этомъ обстоятельствѣ и заключается ручательство за то, что негодующая мысль человѣческая не исчезнетъ и не можетъ исчезнуть; въ немъ ручательство за будущее, ручательство за то, что человѣкъ не поглотится „пустяками“, а самою силою обстоятельствъ ежеминутно выдвигается на путь мысли анализирующей и протестующей. Пусть будутъ „торжествующія свиньи“, но онѣ не уменьшаютъ, а увеличиваютъ борьбу за существованіе и даютъ больше поводовъ къ размышленіямъ о явленіяхъ общественной жизни. Только наслѣдіемъ отцовъ обезпеченные люди могутъ выбирать между дѣломъ и пустяками, могутъ „уйти и махнуть рукой“...

Невесела, неприглядна русская жизнь; но если есть представитель ея, которому удается съ необычайною силой анализа возвести въ сознаніе и олицетворить все злое и гнетущее въ ней, если онъ находитъ въ обществѣ имѣющихъ уши—чтобы слышать, очи—чтобы видѣть, и разумѣніе—чтобы понимать, то онъ же служитъ ручательствомъ за лучшее будущее, за то, что жива душа общества, и настанетъ моментъ торжества истины. Въ мрачныхъ думахъ сатиры Щедрина, полныхъ скорби и муки, звучитъ призывъ не къ отчаянію, не къ безвѣрію въ будущее, а къ уразумѣнію жизни, къ борьбѣ за все доброе и прекрасное, что дѣлаетъ жизнь человѣческую, дѣйствительно, человѣчною, что зоветъ отрѣшиться отъ мелкихъ себялюбивыхъ помысловъ и дѣлъ и отдать душу за торжество справедливости... И современный русскій человѣкъ, находя въ произведеніи Щедрина все то, что, быть-можетъ, мучило и томило его самого и просило выраженія; находя свои мысли высказанными, свои чувства, быть можетъ, смутныя и неопредѣленныя во всей своей му-

чительности, ясно формулированными; зная, что онъ неодинокъ, что тѣ же мысли и чувства тревожатъ, волнуютъ, жизнь отравляютъ многимъ его современникамъ,—съ облегченнымъ сердцемъ и просвѣтленнымъ умомъ встанетъ, конечно, на стражу лучшихъ человѣческихъ идей и упованій, стряхнетъ съ себя невольную приниженность передъ торжествующимъ зломъ, охватывающимъ его тяжкими путами. Страстное восклицаніе: „Гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высокимъ призваніемъ!“ вырвавшееся изъ души геніальнаго представителя возникавшей въ нашемъ обществѣ критической мысли, можетъ-быть, не вызоветъ на уста его улыбки сомнѣнія; и во всякомъ случаѣ въ сатирѣ Щедрина ему послышится страстный призывъ: „Мужайся, человѣкъ!“

Такъ, и только такъ, мы можемъ и должны понимать значеніе сатиры Щедрина; только этотъ призывъ и можно видѣть въ ней, потому что, возможно ли, мыслимо ли, чтобы одинъ изъ лучшихъ сыновъ нашей родины, одинъ изъ талантливѣйшихъ представителей нашей литературы и общественной мысли, изображая русское горе, охватывающее наше отечество отъ центра и до дальнѣйшихъ предѣловъ его, хотѣлъ этимъ сказать: „Смирись, безсильный и слабый человѣкъ, пойми нашу общую бѣду и откажись отъ всякой борьбы съ ней!“ Не такъ мыслитъ и говоритъ человѣкъ, имѣющій гражданское мужество бросить въ глаза обществу и торжествующему въ немъ злу горькій и страстный упрекъ за пренебреженіе къ истинѣ и человѣческому праву, за попраніе лучшихъ стремленій мысли человѣческой, за огрубѣніе въ эгоизмѣ и самомнительномъ снѣ и безмысліи.

Вся литературно-общественная дѣятельность Щедрина проникнута животворною и гуманною мыслью, страстнымъ призывомъ къ мужественному исканію свѣта

и правды въ общественной жизни. Въ самомъ началѣ ея, въ то время, когда общее направленіе нашей жизни было въ сторону торжества свѣта и свободы, когда стояла на очереди великая реформа, молодой талантъ Щедрина обращался къ анализу частныхъ уродливыхъ явленій нашей общественной жизни: появились его „Губернскіе очерки". Съ теченіемъ времени, съ измѣненіемъ направленій нашей жизни, измѣнились и мотивы сатиры Щедрина. Зло въ нашемъ обществѣ вырастало, возросталъ и талантъ его. Съ удивительною чуткостью относясь къ жизни, отзываясь на появляющіяся въ ней теченія, сатирикъ послѣдовательно и знаменательно отражалъ ихъ въ своихъ произведеніяхъ. Передъ глазами общества одни за другими прошли всѣ элементы нашей общественной жизни, получавшіе временно преобладающее вліяніе въ ней: „ташкентцы", „помпадуры", Разуваевы и проч., съ ихъ міровоззрѣніями и инстинктами, съ ихъ значеніемъ въ общемъ теченіи нашихъ дѣлъ. Сатирикъ не только отражалъ дѣйствительность, существующее, но и умѣлъ, на основаніи возникающаго въ обществѣ теченія мысли, предугадать, предсказать тѣ послѣдствія, которыя будутъ результатомъ ея. Сколько осмѣянныхъ имъ мыслей и „проектовъ" впослѣдствіи осуществилось, сколько общественныхъ невзгодъ, имъ указанныхъ, уже послѣ получало полное развитіе.

А. Введенскій.

Историко-общественное значение Салтыкова какъ сатирика *).

Давно уже русскій писатель не производилъ на современное ему общество такого глубокаго впечатлѣнія, какъ Салтыковъ. Каждое новое его произведеніе читается съ жадностью; всѣ о немъ говорятъ, спорятъ; значительное большинство восхищается имъ. Даже тѣ, у которыхъ морозъ долженъ былъ бы пробѣгать по тѣлу при чтеніи какъ молотомъ бьющей сатиры, не отваживаются вступать въ открытую борьбу съ мощнымъ писателемъ и въ большей части случаевъ относятся къ нему если не съ любовью, то, по крайней мѣрѣ, съ внѣшнимъ уваженіемъ. Только немногіе отъ времени до времени тщетно стараются попасть въ него, если не комкомъ грязи, то какимъ-нибудь безсмысленнымъ бреннымъ словомъ, которое, разумѣется, обращается противъ тѣхъ, кто его произноситъ. Враги литературныхъ произведеній Салтыкова должны надѣвать на себя маску: кому же охота узнавать себя въ воспроизведенныхъ авторомъ лицахъ. Впрочемъ, нужно сказать и то, что многіе изъ тѣхъ, кому должны были бы быть куда какъ солоны произведенія Салтыкова, читая ихъ, весело смѣются надъ собой; другіе же обладаютъ та-

*) *Е. И. Утинъ.* Изъ литературы и жизни. Сатиры Щедрина. Т. I. Спб. 1896 г.

кою толстою кожей, что слово на нихъ уже перестало дѣйствовать. Они такъ увѣрены, что „настоящая“ сила, а не какая-то нравственная сила литературы, на сторонѣ ихъ „хищническихъ“ стремленій и дѣйствій, что они охотно сами же смѣются надъ нравственнымъ пригвожденіемъ ихъ къ позорному столбу. Когда совѣсть сгинула, когда люди потеряли способность краснѣть, тогда бичъ сатиры скользитъ по нимъ, не вызывая ни малѣйшей боли. Но удары, наносимые хотя и по безчувственному тѣлу, не безплодны: они спасаютъ другихъ, еще не зачумленныхъ, отъ паденія въ ту зловонную яму, которая душитъ въ людяхъ и чувство стыда и понятіе о человѣчности.

Задача сатиры, впрочемъ, не заключается въ томъ, чтобы исправить отдѣльныхъ людей, отдѣльныя группы общества: нѣтъ, поле ея шире,—она стремится внести сознаніе въ затуманенное общество; она толкаетъ, будитъ цѣлое общество своимъ горькимъ смѣхомъ; она, какъ въ зеркалѣ должна отражать общественную немочь, общественную порочность; она говоритъ: смотрите и любуйтесь! И если сатира сильна, если она сумѣла затронуть болѣзненныя струны общественнаго организма, тогда она пріобрѣтаетъ широкое общественное значеніе. Такое именно благотворное общественное значеніе пріобрѣлъ Салтыковъ цѣлою длинною цѣпью своихъ произведеній, начиная отъ „Губернскихъ очерковъ“ и кончая послѣднею вышедшею его книгою „Круглый годъ“. Если нѣтъ нужды говорить, что этотъ рядъ сочиненій упрочилъ за Салтыковымъ небывалое почти въ русской литературѣ вліяніе, зато нельзя не остановиться передъ вопросомъ о характерѣ этого вліянія.

Значеніе писателя опредѣляется не только силою его таланта, но главнымъ образомъ тѣми идеями, которыя онъ вноситъ въ общественную жизнь, тѣми добрыми или дурными сѣменами, которыя онъ сѣетъ на обще-

ственной почвѣ. Нѣтъ спора, что какими бы прекрасными идеями и высокими идеалами ни обладалъ человѣкъ, но если онъ лишенъ всякаго таланта, то такой человѣкъ, пользуясь уваженіемъ въ частной сферѣ своей дѣятельности, никогда не пріобрѣтетъ крупнаго вліянія въ широкой области литературы. Но точно такъ же нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что какимъ бы яркимъ талантомъ ни обладалъ писатель, но если идеи, которыя онъ высказываетъ въ своихъ произведеніяхъ, будутъ бѣдны, немощны, или, еще хуже, если своими произведеніями онъ будетъ сѣять однѣ плевелы, то такой писатель если и можетъ подчасъ пользоваться популярностью среди своихъ современниковъ, зато въ будущемъ, и не далекомъ, а близкомъ, онъ будетъ осужденъ на забвеніе.

Пробѣгите мысленно исторію литературы, и не только русскую, но и европейскую; переберите писателей, оставшихся въ памяти потомства, и что вы увидите? Сохранились имена только тѣхъ талантовъ, которые двигали общество своими произведеніями по пути прогресса, которые пробуждали добрыя чувства, которые боролись за торжество справедливыхъ началъ надъ несправедливыми, свѣта надъ тьмою, свободы надъ безправіемъ, любви надъ ненавистью. Надъ тѣми же, которые своими произведеніями и выраженными въ нихъ идеями потворствовали низкимъ инстинктамъ современнаго имъ общества, отстаивали общественные предразсудки, становились служителями гнета,—надъ тѣми исторія поставила черный крестъ.

Спора нѣтъ, талантъ—великое дѣло; талантъ притягиваетъ къ себѣ современниковъ, и мы видѣли, что, сплошь и рядомъ, общество увѣнчиваетъ лаврами писателя за производимые имъ художественные образы, за мастерское умѣніе разсказывать, относясь съ поразительнымъ безразличіемъ къ тѣмъ идеямъ, которыя

прячутся за этими образами, къ тѣмъ зазорнымъ мыслямъ, которыя кроются въ мастерскихъ разсказахъ. Такой писатель, благодаря своему таланту, будетъ, несомнѣнно, пользоваться вліяніемъ на современное общество; но, не говоря уже о томъ, что такое вліяніе представляется вреднымъ для здороваго роста общества, оно, безъ сомнѣнія и къ счастью, оказывается столь же эфемернымъ, какъ эфемерны и самыя произведенія такого писателя.

Вліяніе и значеніе Щедрина, этого законнаго вождя современной литературы, основано совершенно на иныхъ данныхъ, чѣмъ значеніе такихъ писателей, какъ Тургеневъ, Толстой, Островскій и Гончаровъ. Велика служба, которую сослужилъ каждый изъ этихъ писателей русскому обществу, его просвѣтленію и движенію впередъ, и долго, разумѣется, не изгладятся изъ памяти потомства имена авторовъ „Записокъ охотника“, „Войны и мира“, „Сна Обломова“, „Грозы“ и „Свои люди сочтемся“. Но самое свойство талантовъ этихъ писателей, ихъ художественныя задачи и самыя общественныя условія, которыми обставлена была цвѣтущая пора ихъ дѣятельности, все это вмѣстѣ взятое дѣлало для нихъ совершенно невозможнымъ пріобрѣсть такое непосредственное общественное значеніе, какое пріобрѣлъ Салтыковъ. Всякія сравненія поэтому между Салтыковымъ и другими современными писателями были бы совершенно неумѣстны. Разныя задачи, разныя цѣли обусловливаютъ и разное отношеніе къ явленіямъ общественной жизни.

Писатели, которыхъ мы назвали,—чистые художники; ихъ задача—объективно относиться къ жизни, воспроизводить образы, вызванные изъ жизни, но прошедшіе черезъ горнило ихъ творчества. Если художникъ-беллетристъ вноситъ въ свое произведеніе, не запутывая въ туманныя облака, свои личныя симпатіи и антипа-

тій, если онъ навязываетъ выводимымъ имъ образамъ свои идеи, ему говорятъ, что онъ тенденціозенъ, и эту тенденціозность ставятъ ему въ укоръ. Да что ставятъ! Самъ художникъ горячо защищается противъ тенденціозности, точно противъ какого-то постыднаго порока; объективность онъ считаетъ самымъ драгоцѣннымъ камнемъ своего литературнаго вѣнца. Писатель-художникъ, это—зритель, больше—великій судья, но не боецъ, бросающійся въ борьбу общественной жизни, со всѣми своими симпатіями и антипатіями, съ открытымъ забраломъ, со всею своею личною, ему присущею субъективною силой. Писатель-художникъ своими образами, воспроизводимыми фигурами произноситъ какъ бы приговоръ надъ общественною жизнью, ея явленіями, ея дѣйствующими лицами. Неизбѣжная объективность заставляетъ его держаться на извѣстномъ разстояніи отъ того кипучаго боя между людьми, тянущими назадъ и рвущимися впередъ, безъ котораго общественная жизнь является какъ бы заживо схороненною. Совсѣмъ въ другомъ положеніи является сатирикъ. Онъ—на половину художникъ, на половину публицистъ. Онъ не спеленатъ объективностью; онъ не скрываетъ своихъ субъективныхъ воззрѣній; его произведенія не требуютъ томовъ комментарія для разъясненія вопроса, какъ въ дѣйствительности относится самъ авторъ къ тому или другому общественному явленію. Онъ не зритель, не судья; онъ боецъ, первый бросающійся въ бой; если онъ не смѣшивается съ толпою, то только для того, чтобы руководить ею; онъ громко заявляетъ, на чьей сторонѣ его симпатіи и антипатіи; онъ не скрываетъ того, что онъ любитъ, какъ не скрываетъ и того, что ненавидитъ. И вотъ именно своею-то любовью и своею ненавистью и дорогъ для русскаго общества Салтыковъ. Тутъ—главный ключъ его общественнаго вліянія и значенія.

Мы не станемъ спорить противъ того, что самая сильная сторона Салтыкова заключается не въ мастерскихъ художественныхъ образахъ, хотя, говоря это, мы вовсе не думаемъ сказать, что такихъ образовъ нельзя встрѣтить въ произведеніяхъ нашего сатирика. Достаточно напомнить читателю такія, точно изъ бронзы отлитыя фигуры, какъ Іудушка и Арина Петровна въ „Семействѣ Головлевыхъ", чтобы признать, что и въ этомъ отношеніи Салтыковъ можетъ помѣриться съ лучшими изъ нашихъ художниковъ-беллетристовъ. Но если и нужно допустить, что въ созданіи яркихъ, неувядаемыхъ образовъ Салтыковъ уступаетъ, напримѣръ, своему непосредственному предшественнику, великому художнику Гоголю, зато Салтыковъ во всей исторіи русской литературы не знаетъ себѣ равнаго, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы схватить типическія черты переживаемаго обществомъ времени, чтобы живо подмѣтить тотъ или другой новый народившійся типъ и освѣтить его со всею яркостью своего мощнаго таланта. Никогда до Салтыкова ни одинъ писатель не былъ еще такимъ вѣрнымъ выразителемъ думъ и настроенія лучшей части русскаго общества, и вотъ почему если для современниковъ произведенія этого писателя представляются въ высшей степени цѣнными, то для будущаго историка русскаго общества, когда онъ подойдетъ къ переживаемой нами эпохѣ, не будетъ болѣе драгоцѣннаго клада, какъ сочиненія Салтыкова, въ которыхъ онъ найдетъ живую и вѣрную картину современнаго общественнаго строя. Люди, нравы, а главное условія жизни—все для него станетъ понятнымъ и яснымъ.

Необычайно чуткій ко всякой злобѣ дня, онъ всегда умѣетъ освѣтить ее своеобразно и каждый разъ заставляетъ задумываться читателя надъ тѣми общими условіями, которыми обставлена наша общественная жизнь. Условія эти не создались сегодня или вчера, времена-

ми только они болѣе обостряются, но для того, чтобы ясно отдавать себѣ въ нихъ отчетъ, нужно постоянно помнить о той тѣсной, преемственной связи, которая существуетъ между ними и всѣмъ прошлымъ русскаго общества. Салтыковъ знаетъ это лучше, чѣмъ кто-либо другой, и потому мастерски рисуетъ тотъ хроническій недугъ, ту наслѣдственную болѣзнь русскаго общества, которая такъ часто порождаетъ чуть не сказочныя уродливости въ его жизни и создаетъ ту нравственную испорченную атмосферу, въ которой сплошь и рядомъ задыхаются самыя благія начинанія. Характеры, типы, событія являются продуктами этой атмосферы, и потому въ сочиненіяхъ нашего сатирика они такъ тѣсно переплетаются между собой. Вотъ почему всѣ его произведенія отзываются только горькою правдою. Иной разъ можетъ казаться, что нѣкоторыя черты являются у автора преувеличенными, изображаемыя лица какъ бы отзываются шаржемъ, но, вдумавшись въ то, что онъ описываетъ, вы придете къ убѣжденію, что, въ сущности, и нѣтъ никакого преувеличенія. Впечатлѣніе преувеличенности выносится только потому, что сатирикъ схватываетъ самыя рѣзкія, рельефныя черты, отбрасывая детали, ихъ окружающія, а эти-то подробности и скрадываютъ отъ неособенно проницательнаго взгляда всю уродливость воспроизводимыхъ имъ чертъ общественной жизни.

Е. Утинъ.

Сатира Салтыкова и ея общественное значеніе *).

Мы не имѣемъ особаго пристрастія къ сатирѣ вообще.

Поэтому мы никогда не имѣли пристрастія къ высокоталантливому представителю нашей современной сатиры. Правда, еще въ концѣ пятидесятыхъ годовъ мы уже привыкли цѣнить, какъ одного изъ главныхъ литературныхъ вождей нашего преобразовательнаго движенія, автора „Губернскихъ очерковъ", „Исторіи одного города", „Ташкентцевъ" и проч.; съ тѣхъ поръ мы постоянно поучались у него многому и наслаждались въ немъ многимъ.

Поразительная сила рѣчи, поразительно оригинальные и мѣткіе взгляды на явленія современной жизни, въ союзѣ съ уничтожающею насмѣшкой, дѣлаютъ нашего отечественнаго сатирика могучимъ бичомъ общественной немощи во всѣхъ ея многообразныхъ проявленіяхъ. Если бы Щедринъ писалъ на языкѣ болѣе европейскомъ, чѣмъ русскій языкъ, онъ, конечно, былъ бы признанъ Европою за одного изъ самыхъ блестящихъ сатириковъ современности. Но для Европы онъ

*) *Е. Л. Марковъ.* „Русская Рѣчь" 1879 г., № 12. Критическая литература о произведеніяхъ Салтыкова-Щедрина. Съ біограф. оч., изд. Н. Денисюкъ. Вып. III. Москва. 1905.

непереводимъ не только съ точки зрѣнія крайней своеобытности и фамильярности своего языка, но еще и съ точки зрѣнія чисто мѣстныхъ интересовъ, требующихъ самаго близкаго знакомства съ тончайшими оттѣнками нашей общественной жизни.

Далѣе, можно сказать, что и въ нашемъ читающемъ мірѣ Щедринъ имѣетъ свой особый кружокъ читателей и доступенъ далеко не всей массѣ читающей публики. Если его читаютъ очень многіе, то понимаютъ настоящимъ образомъ, конечно, далеко не всѣ. На многихъ сатира Щедрина дѣйствуетъ только своею наиболѣе рѣзкою и осязательною стороною, между тѣмъ какъ главная сила ея заключается не въ пріемахъ грубой насмѣшки, а въ трудно уловимыхъ оттѣнкахъ тонкой ироніи, остающихся для большинства бѣлымъ мѣстомъ между строками или загадочнымъ наборомъ словъ...

Къ Щедрину-сатирику мы относились всегда, даже въ эпохи, наименѣе вопіявшія къ сатирѣ, какъ къ одному изъ лучшихъ украшеній нашей литературы и какъ къ очень полезной общественной силѣ. Но никогда не привѣтствовали мы его такъ горячо, никогда съ большимъ нетерпѣніемъ не дожидались его отрезвляющаго и посрамляющаго слова, какъ въ настоящіе грустные дни нашего литературнаго и общественнаго застоя. Надо сказать, что никогда въ другое время насмѣшливый голосъ сатирика и не могъ быть такимъ подвигомъ чести и мужества, какимъ онъ является теперь.

Язвительный смѣхъ невольника Езопа надъ жалкими слабостями той среды, которая надѣвала цѣпи на его руки и его мысль, былъ во всѣ времена искупленіемъ поруганнаго достоинства человѣка. Все мыслящее, все обязанное молчать и терпѣть съ отрадою вслушивалось даже въ иносказательные намеки баснописца, которыми плѣнный разумъ человѣка, по природѣ своей неспособный подчиняться духовному плѣну, какъ бы мститъ

своимъ утѣснителямъ, бравируя ихъ гнѣвъ неуловимостью своихъ уколовъ, ускользая своею тонкостью отъ ихъ грубости, торжествуя остроуміемъ своего духа надъ ихъ матеріальною властью. Это—высшее проявленіе внутренней свободы человѣка, это—тотъ самый непобѣдимый принципъ человѣчности, который побуждалъ Спасителя міра безразлично созидать свое царство не отъ міра сего въ душѣ раба и язычника, эллина и іудея, признавая выше всѣхъ этихъ внѣшнихъ случайностей земного существованія одну общую всѣмъ ни отъ кого неотъемлемую сущность, т.-е. человѣчность.

Сатирическая трилогія Шедрина—*Тревоги и радости Монрепо, Монрепо-Усыпальница* и *Finis Монрепо*—представляетъ собой одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній талантливаго сатирика за послѣднее время.

Что такое *Монрепо* само по себѣ?

Строго говоря, это есть только одно изъ обычнѣйшихъ прихотливыхъ названій дворянскаго помѣстья дореформеннаго времени.

Конечно, названій тогда было много: и русскихъ и французскихъ. Но ни одно изъ нихъ, кажется, не было бы въ состояніи съ такимъ мѣткимъ лаконизмомъ выразить всю внутреннюю суть старой дворянской жизни, старыхъ деревенскихъ идеаловъ; ни одно не было бы до такой степени способно стать нарицательнымъ именемъ для цѣлаго обширнаго круга общественныхъ явленій, какъ это, повидимому, случайное, но, въ сущности, весьма ядовитое имя, выкопанное сатирикомъ изъ груды стараго хлама.

Да, именно Монрепо и Монплезиры вѣрнѣе всего олицетворяютъ собою хозяйственное и соціальное міровоззрѣніе когда-то ликовавшей дворянской жизни. Въ этомъ словѣ заключалось все: и поверхностная игривость *отношеній* къ такому серьезному предмету, какъ

монополія землевладѣнія; и маниловская буколика, навѣянная плохими французскими книжками и еще болѣе плохими гувернантками; и самообажающій эгоизмъ, наивно воображающій всѣхъ счастливыми, когда счастливъ онъ самъ, не подозрѣвающій предъ собой никакого серьезнаго долга, никакой возможности серьезнаго будущаго, добродушно мечтающій только о своихъ радостяхъ, только о своемъ покоѣ... Мон-репо, Мон-плезиръ—*мой* покой, *мое* удовольствіе!

Главное—*мой!* Кромѣ *меня* и *мое* — ничего кругомъ нѣтъ.

Сатирикъ не изображаетъ намъ въ своихъ очеркахъ живыхъ индивидуальныхъ типовъ прошлаго въ ихъ трагическихъ или комическихъ столкновеніяхъ съ новыми стихіями жизни, при которыхъ они дѣлаются вдругъ невозможны, немыслимы, какъ невозможно и немыслимо, напр., существованіе животныхъ въ воздухѣ, внезапно потерявшемъ свой кислородъ. У Щедрина нѣтъ объективнаго творчества Гоголя и его пластической силы. Его типы гораздо болѣе общи и аллегоричны, какъ это чаще всего свойственно сатирѣ.

Его владѣтель Монрепо не Маниловъ и не Чичиковъ, вообще не отдѣланный психическій организмъ. Это только наглядная аллегорія цѣлаго сословія, интеллигенціи цѣлаго вѣка. Всѣ его особенности и свойства родовыя, а не личныя. Всѣ его дѣйствія гораздо болѣе иносказанія, чѣмъ реальные факты.

Таковъ же и его несравненный Граціановъ. Это необыкновенно выразительная и остроумная общая формула новѣйшаго, такъ сказать, усовершенствованнаго, тщательно смазаннаго лакомъ цивилизаціи поколѣнія старинныхъ Держиморд'ъ.

Таковъ же его совѣтолюбивый „батюшка", а также и его Разуваевы и К., эти современные представители гоголевскихъ „аршинниковъ" и „протоканалій".

Если не имѣть въ виду этого аллегорическаго значенія Щедринскихъ типовъ, если оцѣнивать ихъ не какъ общую художественную формулу, а какъ непосредственные художественные типы, претендующіе на буквальную вѣрность дѣйствительности, то, конечно, очерки Щедрина могутъ показаться грубымъ преувеличеніемъ, неестественностью, несообразностью, чѣмъ-то вообще слишкомъ аляповатымъ и насилованнымъ. Съ этой точки зрѣнія все глупое въ нихъ уже слишкомъ глупо, все наивное—наивно до невѣроятія, все грубое—грубо до невозможности, все наглое — нагло выше всякихъ предѣловъ.

Такой жизни въ дѣйствительности не бываетъ; въ такихъ людей, въ такія положенія вѣрить нельзя.

Но зато какая глубокая, проникающая душу правда потрясаетъ васъ, когда, не придираясь педантически къ отдѣльнымъ подробностямъ, не пробуя каждую изъ нихъ на оселкѣ дѣйствительности, вы наполняетесь мало-по-малу общимъ смысломъ той горькой аллегоріи, которая развивается всякимъ словомъ и всякимъ образомъ сатирика.

Если вдуматься въ основную мысль послѣдней трилогіи Щедрина, то можно замѣтить въ ней два главныхъ теченія, уже давно знакомыя намъ изъ другихъ произведеній талантливаго автора, но здѣсь обновленныя до яркости новыми явленіями жизни. Сатирикъ рисуетъ намъ, такъ сказать, прирожденную немощь нашего прежняго культурнаго слоя, роковое вымираніе его худосочнаго, неспособнаго къ борьбѣ организма, подъ давленіемъ непривычныхъ ему условій новаго общественнаго климата. Сатирикъ прослѣживаетъ это постепенное уничтоженіе, какъ натуралистъ прослѣживаетъ исчезаніе какой-нибудь отсталой и отжившей свой вѣкъ низшей расы человѣчества. Она таетъ, словно безъ всякихъ причинъ подчиняясь своему внутрен-

нему безсилію, будучи неспособна переносить то, что могутъ переносить другія, нуждаясь въ томъ, чего не можетъ быть у нея, не умѣя пользоваться тѣмъ, что у нея есть, что другимъ нужно и полезно. Стрѣлы сатиры, хотя окутанныя не злобою, а презрѣніемъ, сыплются на этотъ жалкій плодъ стараго безсилія и старой неумѣлости. Но онѣ кажутся ласковыми толчками пробуждающаго друга, рядомъ съ другими стрѣлами сатирика, неумолимо направляемыми въ иного, болѣе сильнаго, болѣе опаснаго и болѣе новаго врага. Сравнительно съ нимъ, отжитой міръ наивнаго эгоизма, безсилія и бездѣльничанья кажется заманчивымъ пріютомъ гуманности и свободы.

Самыя лучшія страницы очерковъ Щедрина — это именно тѣ, гдѣ онъ своею мастерскою кистью рисуетъ картину того невыносимаго нравственнаго кошмара, который придавилъ въ послѣднее время все, что было въ нашемъ обществѣ прикосновеннаго къ области сколько-нибудь человѣчной мысли, сколько-нибудь человѣчныхъ идеаловъ.

Безраздѣльнымъ властителемъ современной минуты являются у сатирика Граціановы и Разуваевы. Ихъ міръ наглаго тупоумія и наглаго хищничества задавилъ все: и старое и новое. Они одни ликуютъ и гогочутъ, и развязно размахиваютъ руками, куда имъ вздумается, и ведутъ услаждающія бесѣды другъ съ другомъ въ то время, какъ все остальное лежитъ, не смѣя пошевельнуться, приниженное, застращенное, лишенное довѣрія даже въ своихъ собственныхъ глазахъ.

Дѣлается жутко до боли, вчитываясь въ безжалостную правду, въ неумолимую послѣдовательность разсужденій сатирика, прикрытыхъ именами его аллегорическихъ героевъ.

Дѣлается стыдно за человѣчество, что въ немъ можетъ не только существовать, но еще временами и по-

давлять собою все остальное, какъ торжествующая, непобѣдимая сила, та нравственная тьма, которая олицетворена сатирикомъ въ образахъ разныхъ Граціановыхъ и Разуваевыхъ.

Въ этомъ трусливо присмирѣвшемъ передъ жизнью, вздрагивающемъ отъ каждаго шороха жизни, жалкомъ обитателѣ Монрепо съ чувствомъ горькаго униженія читатель вынужденъ признать самого себя, свой собственный нравственный портретъ, вѣрную картину своего сословія, своего отечества.

Сатирикъ трижды правъ въ своей злой сатирѣ. Это—мы, дѣйствительно мы; мы, на всякомъ шагу малодушно спускающіе флагъ передъ натискомъ перваго попавшагося Граціанова; мы, ежеминутно отдающіеся въ жертву первому разворовавшемуся кабатчику. Наглость ихъ—это не ихъ наглость, это только наша трусость; удача ихъ—это не ихъ удача, это только наша собственная неумѣлость. Человѣкъ Монрепо не только заслуживаетъ,—онъ порождаетъ, онъ самъ вызываетъ на свѣтъ Граціанова и его друзей-кабатчиковъ. Въ широкомъ смыслѣ Монрепо—это унаслѣдованная отъ крѣпостническаго дворянства наша всесословная духовная вялость, наше ничтожество труда и воли, наше отсутствіе твердыхъ общественныхъ идеаловъ, наше малодушное запираніе себя въ раковину пустыхъ личныхъ интересовъ.

Судьба Монрепо давно намъ показываетъ, что даже и эти личные интересы не защитятся своею узенькою раковиной, что во всѣхъ отношеніяхъ, со всѣхъ точекъ зрѣнія необходима способность борьбы съ жизнью, рѣшимость этой борьбы.

Если тупоуміе и животность могутъ существовать въ мірѣ, то еще легче можетъ восторжествовать въ немъ разумъ человѣчества, если только онъ сознаетъ обязанность борьбы и необходимость побѣды. Но гдѣ, съ

какой стороны видимъ мы теперь эту спасительную нравственную борьбу, откуда можемъ ждать ее?

Вездѣ малодушіе, рознь и одиночество Монрепо; вездѣ сознаніе, что за насъ живетъ и думаетъ Граціановъ; вездѣ увѣренность, что насъ завтра, со всѣмъ нашимъ корнемъ, купитъ съ аукціона Разуваевъ.

Монрепо лежитъ въ основѣ нашей домашней жизни; Монрепо проникаетъ наши земскія и общественныя дѣла; Монрепо—это вся наша культурная Русь.

Никогда еще идеи Монрепо не торжествовали такъ точно, какъ теперь, когда почва очистилась отъ всякихъ другихъ идей, когда остались на сценѣ только разъяренные инстинкты хищничества.

Ужасно положеніе общества, въ которомъ лучшее, что есть въ человѣкѣ, ищетъ отрады и спасенія въ „умираньи". „Въ первый разъ въ жизни,—передаетъ намъ сатирикъ ощущенія обитателя Монрепо,—я наслаждался сознаніемъ, *что ничто не нарушитъ моего вольнаго умиранья*, что никто не призоветъ меня къ отвѣту и не напомнитъ о какихъ-то обязанностяхъ..."

„Монрепо—усыпальница"—вотъ что дѣлается невольнымъ и законнымъ идеаломъ всего того, чему не дается мѣста въ торжествующемъ мірѣ Граціанова и Разуваева, всего, что не можетъ, что не умѣетъ перестать быть человѣкомъ и обратиться въ содержателя кабаковъ.

„Усыпальница", „умираньe", — могутъ сказать, что это неуклюжее преувеличеніе, что это сатирическій фарсъ. Да, какъ матеріальный и конкретный фактъ — это преувеличеніе, это неправда. Въ сущности, никто тамъ не умираетъ, въ сущности, Монрепо—не усыпальница, а имѣніе, гдѣ живутъ, изъ котораго извлекаютъ доходы. Но какъ нравственный фактъ переживаемой нами исторической минуты, какъ явленіе нашего современнаго духовнаго міра, — въ этомъ „умираньи" нѣтъ и тѣни преувеличенія, и никакое другое слово не въ си-

лахъ выразить правдивѣе и мѣтче этотъ несомнѣнный, хотя и неосязаемый фактъ нашей общественной стихіи. „Finis Монрепо“ уже болѣе посвященъ спеціальной темѣ отживанія старыхъ экономическихъ элементовъ, ихъ органической невозможности существовать на ряду съ новорожденными кабацкими и полицейскими элементами, чѣмъ изображенію общаго нравственнаго состоянія нашихъ злополучныхъ культурныхъ людей, нарисованнаго сатирикомъ въ его первыхъ очеркахъ. „Finis Монрепо“—это послѣдній крикъ отчаянія уходящаго въ тьму вѣковъ, отжившаго свой собственный вѣкъ стараго нашего помѣщичества, которое въ то же время является, однако, чуть ли не единственною культурною силою въ глазахъ сатирика.

Какъ ни безпощаденъ сатирикъ относительно этого обанкрутившагося культурнаго слоя, какъ ни рѣзки и ни больны его насмѣшки, вы все-таки не можете не чуять въ каждомъ словѣ его, во всемъ тонѣ его отношеній, что именно въ станѣ побѣжденныхъ нынѣшняго дня, этихъ теперешнихъ жалкихъ неудачниковъ, живетъ тайное сочувствіе сатирика и его инстинктивное ощущеніе своего кровнаго родства съ нимъ. Сатирикъ видитъ грѣхи и язвы этого стана съ прозорливостью ясновидца, съ негодованіемъ оскорбленнаго собрата; сатирикъ съ безжалостнымъ мужествомъ Брута тащитъ на казнь свою плоть и кровь... Но, тѣмъ не менѣе, въ этихъ грѣхахъ, въ этомъ несчастіи, въ этомъ безсиліи онъ видитъ все-таки хоть какое-нибудь помазаніе духомъ Божіимъ, все-таки видитъ нѣчто, стоящее надъ психіей скота, надъ обычаями звѣря, нѣчто такое, чего не разглядишь въ Разуваевѣ и его патронѣ и создателѣ Грацiановѣ. „Finis Монрепо“—это смертный приговоръ цѣлой исторической стихіи, задавленной другими новѣйшими, сильнѣйшими.

Наступленіе этого „конца Монрепо“ разсказано сати-

рикомъ съ такимъ художественнымъ мастерствомъ, съ такою глубиною и вѣрностью смысла, съ такимъ неподражаемымъ комизмомъ, что этотъ послѣдній очеркъ его можетъ смѣло стать на ряду съ самыми лучшими его созданіями.

„Конецъ Монрепо" наступаетъ самъ собою естественнымъ теченіемъ вещей, по роковой необходимости. Его никто не подготовляетъ, о немъ никто не заботится, но въ него всѣ непоколебимо вѣруютъ, его всѣ съ увѣренностью ждутъ, и онъ, дѣйствительно, настаетъ.

Онъ не можетъ не быть, и онъ есть...

Его не замѣчаетъ и не предчувствуетъ долѣе другихъ только самъ наивный культурный обитатель Монрепо, все еще по старинѣ надѣющійся на него, не умѣющій мыслить безъ него ни себя ни міра.

Все же, что живетъ кругомъ его, все, что внутри и внѣ Монрепо,—все это давнымъ-давно прониклось единодушнымъ сознаніемъ, что Монрепо кончается, что Монрепо кончится, что Монрепо не можетъ не кончиться.

Для всѣхъ весь вопросъ только въ часѣ: нынче или завтра. Другихъ сомнѣній ни у кого нѣтъ, словно всѣ своими глазами видятъ, что старый дубъ подрубленъ и началъ уже тихо падать на сторону. Упадетъ онъ минутою позже или минутою раньше, аршиномъ правѣе, аршиномъ лѣвѣе—ожиданія разнообразятся только въ этомъ.

И странно, что все происходитъ не только помимо воли владѣтеля Монрепо, но даже положительно вопреки его волѣ и его усиліямъ.

Что касается до него, то онъ вовсе не желаетъ конца Монрепо; онъ готовъ сдѣлать многое, чтобы этого конца вовсе не было; ему самому очень хорошо въ Монрепо, и онъ ни разу даже въ мысляхъ своихъ не думалъ ни уѣзжать изъ него ни продавать его.

А между тѣмъ онъ съ недоумѣніемъ и ужасомъ убѣ-

ждается, что всѣ вокругъ только и ждутъ, когда же это онъ, наконецъ, продастъ Монрепо Разуваеву, на котораго всѣ и во всемъ уповаютъ, за которымъ однимъ признаютъ законное право на всякое владѣніе и на всякія распоряженія. Разуваевъ совсѣмъ не то, что безпомощный и никому ненужный обитатель Монрепо.

„Ѣдетъ онъ по селу улицей—всѣ шапки снимаютъ; пріѣдетъ въ церковь къ обѣднѣ—станетъ съ супругой впереди у клироса, подтягиваетъ дьячку и любуется на пожертвованное имъ паникадило; послѣ обѣдни подойдетъ къ кресту первымъ послѣ Граціанова и получитъ отъ батюшки заздравную просфору".

„Всѣмъ съ нимъ повадно, всѣмъ по себѣ, потому что онъ на всѣ руки: и выпить не дуракъ, и пошутить охочъ, и сплясать можетъ. Поставитъ на голову стаканъ съ пивомъ и спляшетъ. Батюшка сколько разъ мнѣ говорилъ: „Вотъ у Разуваева икру, такъ икру подаютъ,—бѣлужью, настоящую. А однажды изъ города копченую стерлядь привезъ,—даже и до сего часа забыть не могу!" А матушка, вздохнувъ, прибавляла: „По здѣшнему мѣсту только и полакомиться что у Разуваевыхъ!" Даже такъ называемая чернядь и та какъ полоумная сбѣгалась со всѣхъ сторонъ, когда на село пріѣзжалъ Разуваевъ. Потому что онъ вдругъ, того гляди, велитъ пѣсни пѣть и начнетъ въ народъ гривенники на драку бросать!"

„Однимъ словомъ, всѣми онъ былъ любимъ, для всѣхъ желателенъ".

Разуваевъ вмѣстѣ со всѣми другими былъ проникнутъ вѣрою, что Монрепо должно быть его и что оно будетъ его.

„Разуваевъ имѣетъ простодушно-наглое убѣжденіе, что стоитъ только помахать у помѣщика подъ носомъ ассигнаціей, чтобы онъ сейчасъ же, отъ одного ассигнаціоннаго запаха, впалъ въ изнеможеніе".

При такой твердой постановкѣ вопроса, конечно, не долго нужно было ждать бѣдному обитателю Монрепо.

„Въ одно прекрасное утро,— признается онъ,— я увидѣлъ, что по одной изъ расчищенныхъ для моихъ прогулокъ аллей ходятъ двое мужчинъ, посматриваютъ кругомъ хозяйскимъ глазомъ, мѣряютъ шагами пространство и даже деревья пересчитываютъ. Вглядѣвшись пристальнѣе, я узналъ въ посѣтителяхъ Разуваева и Граціанова".

Наступленіе началось...

На другое утро Разуваевъ является къ барину, уже не сомнѣваясь, что дѣло кончено. Онъ ждалъ только собственнаго рѣшенія и ни минуты не задумывался, чтобы его рѣшеніе могло не быть рѣшеніемъ барина. Онъ даже не хочетъ тратить излишнихъ словъ, — до такой степени знаетъ, что значитъ для барина одинъ безмолвный видъ денегъ; онъ, просто, вынимаетъ изъ кармана туго набитый бумажникъ и лаконически говоритъ барину:

— Вотъ!

Однако баринъ на этотъ разъ обижается и прогоняетъ его.

„Разуваевъ, взглянувъ на меня, слегка подбоченился и грустно покачалъ головой.

—Ахъ, баринъ, вы, баринъ! Погляжу я на васъ, на баръ, все-то вы артачитесь!"

Разуваевъ, какъ и вообще простой народъ, относится къ барину почти какъ къ малолѣтнему ребенку: немного словно жалѣя, немного дивясь, немного даже потакая его дѣтскимъ вздорамъ, непоколебимо вѣруя притомъ въ природное неумѣніе барина сдѣлать что-нибудь и, понятно, что нибудь настоящее, а не пустяки.

Однако обидчивость и упрямство не помогаютъ барину. Разуваевъ не одинъ. Разуваевыхъ— легіонъ. Куда

ни обратится, съ кѣмъ ни заговоритъ баринъ, онъ тотчасъ же натыкается на непоколебимую вѣру въ Разуваева, на всеобщее убѣжденіе въ собственной негодности „барина".

Является, напримѣръ, старый крѣпостной слуга, приказчикъ Лукьянычъ, другъ и совѣтникъ.

— Разуваева-то вы вчера прогнали?

— Я его къ себѣ не приглашалъ, а, стало-быть, и отъ себя не прогонялъ. А такъ какъ онъ ворвался ко мнѣ нахаломъ, то, разумѣется, я...

— Про то-то я и говорю, что прогнали.

У Лукьяныча одинъ совѣтъ: продать Разуваеву, уйти куда подальше, «выстроить домокъ въ препорцію".

Онъ еще при папенькѣ при вашемъ говорилъ: „Не покупайте, зачѣмъ вамъ!"—нѣтъ, купили.

Заглянетъ баринъ на парники, тамъ садовникъ самымъ откровеннымъ образомъ готовится показать Разуваеву товаръ лицомъ.

Пойдетъ на скотный дворъ,—Матрена скотница серьезно совѣщается съ нимъ, не зарѣзать ли повую телочку, потому „неужто жъ Разуваеву отдавать? будетъ съ него, толстомясаго, и старыхъ коровъ".

Вотъ работники на сѣновалѣ сѣно переваливаютъ; Лукьянычъ велѣлъ, чтобы гнилое назадъ, а хорошее впередъ.— Да зачѣмъ же?— спрашиваетъ баринъ.—А на случай, ежели, примѣрно, покупатель! — отвѣчаютъ работники.

Въ лѣсу опять то же самое.

— У насъ въ прошломъ году за рѣкой порубочка была, такъ хворостку пошелъ на мѣсто покидать, чтобы покупатель, значитъ...—говорятъ барину его люди.

„Рѣшительно, даже кругомъ меня, и въ домѣ и во дворѣ, все въ заговорѣ. Положимъ, это не злостный заговоръ. Никто въ меня не вѣритъ, никто отъ меня ничего солиднаго не ждетъ. Вотъ Разуваевъ — другое

дѣло! Этотъ подтянетъ! Онъ свиной навозъ въ конскій обратитъ! Онъ заставитъ коровъ доиться! Онъ такого пѣтуха предоставитъ, что только куры ахнутъ!"

„Всѣ боятся Разуваева, никто не любитъ его, и въ то же время всѣ сознаютъ, что Разуваева имъ не миновать. Вотъ ужъ полгода, какъ рабочіе мои предчувствуютъ это и въ моихъ глазахъ самымъ заискивающимъ образомъ снимаютъ шапки передъ нимъ".

Что всего обиднѣе, всѣ, отъ Лукьяныча до батюшки, Граціанова и самого Разуваева,—всѣ самымъ ласковымъ и сочувствующимъ тономъ совѣтуютъ „барину продать Монрепо, купить такъ десятинки двѣ-три, не болѣе; домочекъ небольшой, садикъ при немъ, аллейка для прохладности... чисто, аккуратно! А изъ живности курочекъ съ пятокъ... ну, коровка, чтобъ молочко свое было"...

„А то гдѣ жъ вамъ, въ самомъ дѣлѣ, за такой угодой самимъ вездѣ усмотрѣть!"

Всѣ, съ кѣмъ ни встрѣтится, съ кѣмъ ни заговоритъ баринъ, всѣ твердятъ одно: „Десятинки двѣ-три, аллейку для прохладности, курочекъ пяточекъ, — мило, благородно! А то гдѣ же вамъ, въ самомъ дѣлѣ".

„Неужели же я, въ самомъ дѣлѣ, продаю?— спрашивалъ я себя.—Ежели продаю, то какимъ же образомъ я, какъ будто, не сознаю этого?"

„Уныло бродилъ я по комнатамъ и отъ времени до времени посматривалъ въ окно, словно желая удостовѣриться, все ли стоитъ на старомъ мѣстѣ и не бѣжало ли къ Разуваеву".

Между тѣмъ всеобщая вѣра, что Монрепо уже не принадлежитъ своему владѣльцу, распространяется до того, что всякій посторонній считаетъ себя въ правѣ нѣкоторымъ образомъ наблюдать, не укрываетъ ли, или не расхищаетъ владѣлецъ Монрепо какихъ-либо имуществъ.

На Свѣтлый праздникъ всѣ сельскіе нотабли посѣтили Монрепо.

„И, какъ мнѣ показалось, съ какимъ-то напряженнымъ любопытствомъ вглядывались въ обстановку моего дома, точно старались запомнить, гдѣ что стоитъ. Колупаевъ даже провелъ рукой по обоямъ залы и сказалъ:

— Обои-то, кажется, новенькіе поставить сбирались?

— Сбирался.

— И купили, сударь?

— Купилъ.

— Такъ-съ. Въ сохранности, стало быть, лежатъ?

— Лежатъ.

Однимъ словомъ, повидимому начали уже подозрѣвать, не замышляю ли я, чего добраго, что-нибудь утаить или въ другое мѣсто потихоньку перевезти".

Подъ напоромъ этого всеобщаго убѣжденія въ сознаніи неизбѣжнаго рока баринъ, наконецъ, и самъ понялъ, что „артачиться" и „хорохориться" долго нельзя, что Монрепо, дѣйствительно, не можетъ принадлежать ему, барину, что оно все равно будетъ принадлежать Разуваеву, и покорно протянулъ руку за его бумажникомъ.

Монрепо кончилось. Баринъ обрѣлъ то давно указываемое ему тихое мѣсто, гдѣ былъ домикъ, аллейка, пять курочекъ, противъ котораго онъ такъ долго и напрасно „артачился"; но и тамъ, однако, первое время было не безъ опасностей и не безъ волненій...

Тамошній начальникъ пріѣхалъ къ нему на новоселье.

„Посидѣлъ, побесѣдовалъ и вдругъ задумался.

— Такъ вы, говоритъ, къ намъ... совсѣмъ?

— Совсѣмъ, говорю.

— Аттестатъ у васъ есть?

— Вотъ онъ.

Посмотрѣлъ, перелистовалъ: служилъ тамъ-то и тамъ-

то, аттестовался способнымъ и достойнымъ, въ походахъ не бывалъ, подъ судомъ и слѣдствіемъ не состоялъ... Вздохнулъ.

— А знаете ли, говоритъ, я, воля ваша, этого не понимаю: къ намъ... совсѣмъ... что такое значитъ?

— Да, просто, значитъ, что къ вамъ совсѣмъ — и больше ничего.

— Помилуйте... что же такое у насъ?.. никто къ намъ... никто никогда... и вдругъ...

— Да, вѣдь, надо же гдѣ-нибудь жить.

— Такъ-то такъ!.. а все-таки... ну, какую вы здѣсь прелесть нашли... городишко самый пустой, бѣлаго хлѣба не сыщешь... никто къ намъ никогда... и вдругъ вздумалось!

Это было такъ мило, что я не выдержалъ и расцѣловалъ его. И вотъ съ тѣхъ поръ мы друзья.

Чтобы окончательно его успокоить, я отвелъ въ домѣ квартиру для полицейскаго чина, истребилъ всѣ книги, вмѣсто газетъ выписалъ „Московскія Вѣдомости“ и купилъ гитару. Все прошлое лѣто, днемъ и ночью, я держалъ окно настежь. Приди и вижды!“

Сатира Щедрина, въ настоящемъ положеніи вещей, представляетъ собою своего рода удовлетвореніе и необходимый выходъ никогда несмолкающей потребности въ самостоятельной мысли, сдавленной гнетомъ исключительныхъ обстоятельствъ.

Е. Марковъ.

Размѣры и свойства таланта Салтыкова *).

I.

Задача сатиры состоитъ въ бичеваніи или осмѣяваніи уклоненій дѣйствительности отъ идеала. Понятно, что не только характеръ и, такъ сказать, объемъ сатиры, но и объекты и направленіе должны измѣняться соотвѣтственно личному элементу, вносимому писателемъ въ тѣ идеалы, съ высоты которыхъ онъ расцѣниваетъ явленія дѣйствительной жизни. Исторія сатиры знаетъ сатириковъ, метавшихъ въ своихъ современниковъ громы съ точки зрѣнія общихъ моральныхъ истинъ, знаетъ и такихъ, которые были людьми вполнѣ опредѣленныхъ политическихъ партій, самыхъ крайнихъ въ обѣ стороны. Аристофанъ и Салтыковъ могли бы жить въ одно и то же время, но ихъ сатирическіе удары обрушивались бы на совершенно разные предметы. Есть однако область, въ отношеніяхъ къ которой сходятся сатирики всѣхъ временъ и народовъ, всѣхъ темпераментовъ и оттѣнковъ мысли. Это—область уклоненій дѣйствительности отъ того, что *сама она* признаетъ на словахъ идеаломъ, область розни между словомъ и дѣломъ, между благонамѣренными рѣчами и предосудительными поступками. Тутъ уже поистинѣ difficile est satiram non scribere, каковъ бы ни былъ образъ

*) *Н. К. Михайловскій.* Критическіе опыты. II. Щедринъ. Москва. 1890 г.

мыслей сатирика. Конечно, повинную голову не сѣчетъ и сатирическій мечъ, откровенное покаянное признаніе въ слабости характера, не дозволяющей уравнять дѣло съ словомъ, обезоруживаетъ сатирика. Но едва ли найдется во всей исторіи литературы хоть одинъ какой-нибудь сатирикъ, который равнодушно прошелъ мимо обычной психологической связи между нравственной теоріей и безнравственной практикой,—мимо лицемѣрія. Если моралистъ, въ родѣ Ларошфуко, можетъ щегольнуть утѣшительнымъ парадоксомъ, по которому лицемѣріе есть свидѣтельство уваженія къ добродѣтели, въ тайнѣ питаемаго порокомъ, то для сатирика не можетъ быть ничего ненавистнѣе лицемѣрія. Оно есть по преимуществу объектъ сатиры. Ему нѣтъ оправданія въ какой-нибудь ошибкѣ мысли, въ какомъ-нибудь заблужденіи, которое можетъ разсѣяться передъ свѣточемъ истины. Вѣрно или невѣрно понимаетъ лицемѣръ вещи, это вопросъ особый, но онъ во всякомъ случаѣ расходится съ своимъ собственнымъ пониманіемъ вещей и практикуетъ какъ разъ противное тому, что самъ исповѣдуетъ и чего отъ другихъ требуетъ. Лицемѣръ ненавистенъ или, по крайней мѣрѣ, долженъ быть ненавистенъ не только тѣмъ, кто не согласенъ съ его образомъ мыслей, но и своимъ собственнымъ единомышленникамъ, если, конечно, они сами не лицемѣры: онъ вѣдь компрометируетъ ихъ знамя и приноситъ ему подчасъ больше вреда и позора, чѣмъ самые лютые враги. Открытое такимъ образомъ для сатирическихъ ударовъ со всѣхъ сторонъ, лицемѣріе манитъ къ себѣ сатирика еще сверхъ того чрезвычайнымъ разнообразіемъ своихъ формъ и проявленій. Маску лицемѣрія способны надѣвать и злоба, и развратъ, и предательство, и продажность, и клевета, и насильничество, всяческая низость и гнусность, облекаясь въ такія именно формы соотвѣтственныхъ добродѣтелей, которыя, на

словахъ по крайней мѣрѣ, особенно цѣнятся въ данномъ обществѣ. Поэтому, сосредоточивъ свое вниманіе даже исключительно на лицемѣріи, сатирикъ можетъ предъявить очень полную картину современныхъ ему нравовъ, держась въ то же время почвы тонкаго психологическаго анализа. Такая многосторонняя заманчивость задачи всегда привлекала къ этому пункту крупныя сатирическія силы, и всякій вновь выступающій сатирикъ рискуетъ впасть въ подражаніе, либо создать нѣчто очень слабое по сравненію съ высокими образцами, раньше вложенными въ сокровищницу всемірной литературы. Салтыковъ съ честью вышелъ изъ этой трудности. Его коллекція лицемѣровъ вполнѣ оригинальна и не блѣднѣетъ отъ сопоставленія съ лучшими произведеніями этого рода европейскихъ писателей...

Безсознательное лицемѣріе и „благонамѣренныя рѣчи", понятыя во всей ихъ широтѣ, исчерпываютъ собою добрую половину сатиры Салтыкова. Онъ преслѣдовалъ ихъ и смѣхомъ и паѳосомъ, и художественными и публицистическими средствами. Онъ былъ поистинѣ неистощимъ въ варіаціяхъ на эту тему, въ чемъ ему, конечно, помогала сама жизнь, въ изобиліи предоставляя подходящіе сюжеты. Кузина Машенька, капитанъ Терпибѣдовъ, отецъ Арсеній, семья Головлевыхъ, Деруновъ, Разуваевъ, Груздевъ, Николай Батищевъ и мать его, Проказнинъ и мать его, Удодовъ и проч. и проч.,—въ этой длинной галлереѣ не знаешь чему удивляться: выдержанности ли той духовной черты, которая ставитъ всѣ эти фигуры за одну скобку, или художественной индивидуализаціи каждой изъ нихъ, искусству ли, съ которымъ комбинируются факты безсознательнаго лицемѣрія и благонамѣренныя рѣчи, или проницательности сатирика, техникѣ или мысли? Вы видите, что безсознательное лицемѣріе положительно *не даетъ покоя* сатирику, мучитъ его и какъ психо-

логическая загадка, и какъ художественная задача, и какъ общественный вопросъ. Техническая ловкость, съ которою, напримѣръ, въ небольшомъ очеркѣ „Переписка“ собрана цѣлая коллекція разнообразныхъ проявленій безсознательнаго лицемѣрія, можетъ навести на мысль о виртуозности. Но это не виртуозность, не та увѣренность и почти механичность, съ какими виртуозъ комбинируетъ звуки, краски, слова для достиженія эффекта. Салтыковъ относится къ своимъ лицемѣрамъ вопросительно и почти съ недоумѣніемъ: можетъ ли этакое быть? Какъ объяснить такое чудовищное явленіе? Каковы его причины и слѣдствія? Эти-то вопросы и заставляли его вновь и вновь приниматься за ту же задачу и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщали его работѣ характеръ необыкновенной жизненности. Нѣтъ возможности, да едва ли есть и надобность, перебирать здѣсь весь длинный рядъ Щедринскихъ лицемѣровъ. Мы ограничимся немногимъ. Но сперва напомнимъ ту общую черту, которая ихъ объединяетъ.

Въ „Перепискѣ“ Батищевъ сообщаетъ матери рѣчь, съ которою къ нему обратился одинъ подлежащій его воздѣйствію преступный человѣкъ.

„Вы фарисеи и лицемѣры! Вы, какъ Исавъ, готовы за горшокъ чечевицы продать всѣ такъ называемыя основы ваши! Вы говорите о святости вашего суда, а сами между тѣмъ на каждомъ шагу дѣлаете изъ него или львиный ровъ, или сиренскую прелесть! Вы указываете на бракъ, какъ на основу вашего гнилого общества, а сами прелюбодѣйствуете! Вы распинаетесь за собственность, а сами крадете! Вы со слезами на глазахъ разглагольствуете о любви къ отечеству, а сами сапоги съ бумажными подметками ратникамъ ставите! И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу“.

„Милая маменька! — прибавляетъ отъ себя Бати-

щевъ,—какъ хотите; а тутъ есть доля правды". Въ свою очередь и милая маменька готова согласиться съ этимъ; однако, пишетъ она, „хорошо по воскресеньямъ въ церкви проповѣди на этотъ счетъ слушать (да и то не каждое воскресенье, мой другъ!), но ежели каждый день будутъ тебя костить, то подъ конецъ оно и многонько покажется".

Этою перепискою хорошо подчеркивается та наивность, съ которою истинные потрясатели основъ возстаютъ на защиту этихъ самыхъ основъ. Они готовы при случаѣ даже признать справедливость упрека въ лицемѣріи, но тотчасъ же вновь погружаются въ пучину благонамѣренныхъ рѣчей и плаваютъ тамъ, какъ рыба въ водѣ...

Владиміръ Онуфріевичъ Удодовъ („Тяжелый годъ"), управляющій палатой государственныхъ имуществъ, при счастливой внѣшности обладаетъ еще краснорѣчіемъ; краснорѣчіе же свое, равно какъ и свою дѣятельность вообще, направляетъ ко благу народа. Миссію свою онъ видитъ въ посредничествѣ между государствомъ и народомъ: „Надобно, чтобы народъ безпрестанно былъ лицомъ къ лицу съ государствомъ, чтобы послѣднее, такъ сказать, проникло въ самое сердце его". Народъ—дитя, доброе и смышленое, но все-таки дитя, неспособное подняться въ своихъ обобщеніяхъ выше волости или уѣзда; идея государства для него слишкомъ отвлеченна, и его надо еще пріучать къ ней. Съ особеннымъ краснорѣчіемъ говорилъ Удодовъ объ отечествѣ: „Отечество, это что-то таинственное, необъяснимое, но въ то же время затрогивающее всѣ фибры человѣческаго сердца". Трепака онъ не можетъ равнодушно видѣть, а слушая „Не бѣлы снѣги", плачетъ. Дѣло было во время крымской войны. Явился манифестъ объ ополченіи; съ губернскаго захолустья, гдѣ происходитъ дѣйствіе разсказа, требова-

лось до 20-ти тысячъ ратниковъ. Передъ губернскими людьми развернулась обширная перспектива дѣятельности по части сукна, холста, кожи, полушубковъ, обозныхъ лошадей, провіанта и проч. Все заволновалось. Говорились пламенныя рѣчи на тему о любви къ отечеству и народной гордости и въ то же время „безсознательно, но тѣмъ не менѣе безпощадно отечество продавалось всюду и за всякую цѣну. Продавалось и за грошъ и за болѣе крупный кушъ; продавалось и за карточнымъ столомъ и за пьяными тостами подписныхъ обѣдовъ; продавалось и въ домашнихъ кружкахъ, устроенныхъ съ цѣлью наилучшей организаціи ополченія, и при звонѣ колоколовъ, при возгласахъ, призывавшихъ побѣду и одолѣніе". Надъ всѣмъ этимъ гамомъ какъ бы господствуетъ пріятная фигура Удодова. „Тяжкія испытанія, мой другъ, наступаютъ для Россіи!" съ грустью восклицаетъ онъ. „За вѣру! помнить, ребята! Съ желѣзомъ въ рукѣ... Съ Богомъ", напутствуетъ онъ партію ополченцевъ. „Держится голубчикъ-то нашъ (то-есть Севастополь), не сдается! Нахимовъ! Лазаревъ! Тотлебенъ! Герои! Урра!" кричитъ онъ, съ лихорадочною поспѣшностью распечатывая газеты. Вмѣстѣ съ тѣмъ Удодовъ, послѣ упорной борьбы, добился того, что вся хозяйственная часть по устройству ополченія возложена на него. Сообщая объ этомъ пріятелю, онъ шутливо прибавляетъ: „ну, вы, конечно, увѣрены, что я своего кармана не забуду". Пріятель, конечно, увѣренъ, что это шутка, а Удодовъ между тѣмъ и въ самомъ дѣлѣ своего кармана не забылъ, безъ всякихъ шутокъ, да такъ не забылъ, что даже испытанные въ дѣлѣ грабежа ахнули. „Да,—разсуждаетъ по этому случаю пѣкій Погудинъ,—*какая-нибудь тайна тутъ есть:* „Не бѣлы снѣги" запоютъ—слушать безъ слезъ не можетъ, а обдирать народъ—это вольнымъ духомъ, сейчасъ"...

„Господами Головлевыми“ резюмируется вся психологическая сторона „Благопамѣренныхъ рѣчей“ и сродныхъ имъ произведеній Салтыкова.

Я не буду говорить о превосходныхъ портретахъ, размѣщенныхъ вокругъ центральной фигуры Іудушки,— объ Аринѣ Петровнѣ, ея мужѣ, братьяхъ Іудушки, его племянницахъ, объ Евпраксеюшкѣ. Не буду припоминать и всю исторію самого Іудушки. Съ насъ достаточно одного какого-нибудь яркаго эпизода.

Евпраксеюшка беременна. Въ душѣ Іудушки поднимается нѣчто похожее на угрызенія совѣсти: на лицо фактъ, слишкомъ уже явно изобличающій внутреннюю ложь всей его жизни. Были, правда, и прежде факты, довольно-таки въ этомъ смыслѣ выразительные, какъ, напримѣръ, погибель обоихъ его сыновей,—погибель, которую онъ могъ легко предотвратить, но не предотвратилъ, а даже пріуготовилъ. Тамъ онъ вышелъ сухъ изъ воды, то-есть не дрогнулъ сердцемъ, благодаря своему умѣнію нанизывать одно благопамѣренное, но совершенно праздное слово на другое, столь же благонамѣренное и столь же праздное. А теперь какъ быть? Получивъ первое извѣстіе, онъ сгоряча успѣлъ даже солгать, такъ что въ непріятномъ фактѣ никто сомнѣваться не можетъ. Онъ, такъ аккуратно зажигающій лампадки передъ образами, такъ преданный посту и молитвѣ, наконецъ такъ всѣмъ надоѣвшій благочестивыми размышленіями,—прелюбодѣй! Да еще, по точному расчету милаго друга-маменьки, „подъ постный день“! Не слѣдуетъ, однако, думать, чтобы Іудушка въ самомъ дѣлѣ мучился настоящими угрызеніями совѣсти. Нѣтъ, застигнутый врасплохъ и въ виду уличающей непререкаемости факта, онъ только не сразу находитъ тѣ сочетанія словъ, которыя въ предыдущихъ щекотливыхъ случаяхъ его жизни счастливо затуманивали всякую разницу между добромъ и зломъ. Только

бы ему эти слова найти, эти благонамѣренныя рѣчи, а тамъ уже все пойдетъ какъ по маслу,—онъ и самъ успокоится, и людямъ будетъ прямо въ глаза, не смущаясь, смотрѣть, и Богу на молитвѣ скажетъ, что онъ, Іудушка, „не яко же сей мытарь". Онъ, наконецъ, находитъ искомое, и вся тревога сбѣгаетъ съ него, какъ съ гуся вода. Быстро одна за другой слѣдующія сцены появленія новорожденнаго на свѣтъ, а потомъ и въ кабинетѣ Іудушки, разговоръ Іудушки съ Улитой, потомъ со священниками, потомъ опять съ Улитой, отправки младенца въ Воспитательный домъ—принадлежатъ къ числу перловъ Щедринскаго творчества; едва ли найдется во всемірной литературѣ много равныхъ имъ по глубинѣ, яркости и страшному, но здоровому реализму.

То явленіе, которое Салтыковъ называетъ безсознательнымъ лицемѣріемъ, исчерпано здѣсь вполнѣ. Іудушка Головлевъ—близкій духовный родственникъ той гулящей бабенки, что произноситъ благонамѣренныя рѣчи даже не въ антрактѣ между двумя адюльтерами, а прямо во время адюльтера. Временами онъ не менѣе ея забавенъ комическою несуразностью и неумѣстностью своихъ рѣчей. Но вмѣстѣ съ тѣмъ съ нимъ попстинѣ страшно, какъ въ упоръ объявляетъ ему Анненька и повторяетъ за ней Евпраксеюшка, какъ чувствуетъ и читатель, и, очевидно, самъ авторъ. Страшенъ этотъ человѣкъ не какою-нибудь своей силой, какъ страшенъ, напримѣръ, тотъ же Тартюфъ своею практическою ловкостью, умѣніемъ приноравливаться, краснорѣчіемъ: Іудушка просто пустомеля и бездѣльникъ, всѣмъ надоѣвшій, всѣмъ противный, и никакого Оргона, никакой г-жи Пернель ему никогда обворожить не удастся. Онъ страшенъ именно своею слабостью,—слабостью сознанія, цѣпляющагося за слова безъ всякаго пониманія ихъ смысла. Сосредоточенный исключительно

на своихъ непосредственныхъ ощущеніяхъ, которыя не умѣетъ комбинировать въ идеи и понятія, онъ дѣлитъ всѣ явленія жизни на пріятныя и непріятныя ему, и другихъ рубрикъ не знаетъ...

Послѣ Іудушки Головлева „столпъ“ Деруновъ—самая значительная фигура во всей серіи „Благонамѣренныхъ рѣчей“. Кромѣ присущаго обоимъ безсознательнаго лицемѣрія, общаго между этими двумя крупными образами мало. Іудушка—мрачный, одинокій бездѣльникъ, постепенно покрывающійся плѣсенью въ своей мурьѣ; Деруновъ—спокойный, веселый дѣлецъ, все шире и шире раздвигающій кругъ своей жизни. Этому различію соотвѣтствуетъ и различіе общественнаго положенія: Іудушка представляетъ собою послѣдній отпрыскъ выродившейся помѣщичьей семьи, а Деруновъ, напротивъ, есть одинъ изъ родоначальниковъ новаго общественнаго наслоенія, такъ что заплѣсневѣлость Іудушки и жизнерадостность Дерунова являются какъ бы эмблемами. Іудушка только въ праздныхъ мечтаніяхъ на бумагѣ высчитываетъ, какъ, кого и насколько могъ бы онъ ограбить при помощи купли и продажи, штрафовъ и процентовъ, а у Дерунова все это въявь кипитъ. Любопытно замѣтить, что образъ Дерунова и родственныхъ ему Антошки Стрѣлова, Разуваева и прочихъ „чумазыхъ“ намѣченъ еще въ „Признакахъ времени“, въ главѣ „Нашъ savoir vivre“. Этотъ нашъ savoir vivre есть, собственно говоря, просто мошенничество, болѣе или менѣе закутанное благонамѣренными рѣчами. Сатирикъ замѣчаетъ, что принципъ savoir vivre очень туго прививается къ меньшей братіи, но зато если ужъ выдается изъ этой среды подходящій субъектъ, такъ всякаго за поясъ заткнетъ. Помаленьку да полегоньку онъ сначала ближайшую округу объегориваетъ, а потомъ распространяетъ свои сѣти все дальше и становится, наконецъ, знаменитымъ

въ качествѣ „мужичка-финансиста", съ исключительною ловкостью и жестокостью осуществляющаго планы всеобщаго ограбленія. Такова именно исторія Дерунова. Его первые шаги къ лестному титулу мужичка-финансиста неизвѣстны. Разуваевъ—тотъ въ основу своего благополучія благосклонность корнетши Отлетаевой положилъ. Антошка, впослѣдствіи Антонъ Валерьяновичъ Стрѣловъ, сначала стрѣлой по базару носился, а потомъ поднялся при помощи плутовства, благосклонности любовницы генерала Утробина младшаго. Трактирщикъ въ „Охранителяхъ" соблазнилъ жену купца, вмѣстѣ съ ней его дурманомъ опоилъ и съ того въ гору пошелъ и т. д. Что же касается Дерунова, то о его первыхъ шагахъ къ „засилію" имѣется только одно его собственное показаніе: почиталъ онъ своего родителя, а братъ его родителя не почиталъ, за что и былъ лишенъ наслѣдства, цѣликомъ доставшагося почтительному сыну. Въ дѣтскихъ воспоминаніяхъ автора Деруновъ фигурируетъ удачливымъ и ловкимъ прасоломъ и хозяиномъ постоялаго двора. Но собственно разсказъ застаетъ его уже на гораздо высшей ступени: у него уже четверть уѣзда земли въ рукахъ, скотъ онъ скупаетъ цѣлыми табунами, фабрику миткалевую завелъ, винокуренные заводы арендуетъ, палаты каменныя себѣ выстроилъ. Слава его настолько гремитъ, что его уже въ акціонерныя предпріятія втягиваютъ, но этого онъ еще опасается. Живетъ Деруновъ съ большой семьей: жена, два сына, сноха, четверо внучатъ, да еще дочь есть,—да на сторонѣ живетъ съ мужемъ, съ полковникомъ. Однимъ изъ сыновей, женатымъ, Деруновъ очень недоволенъ, даже въ смирительный домъ его за непочтеніе сажалъ; зато снохой не нахвалится, да и вообще въ семьѣ счастливъ. „Теперича мнѣ хоть какую угодно принцессу предоставь,—развѣ я ее на мою Анну Ивановну промѣняю? Спаси Господи! Въ

семью-то придешь,—ровно въ раю очутишься. Право! Благодать, тишина, всякій при своемъ мѣстѣ,—истинный рай земной!" Деруновъ—человѣкъ и по внѣшности благообразный и благодушный, всѣми почитаемый. Однако кое-какія подробности его бесѣды смущаютъ автора. Авторъ хочетъ продать свое имѣніе, и Деруновъ, пользуясь обстоятельствами, тѣснитъ его несообразно малой цѣной. Это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, про свои коммерческія операціи Деруновъ разсказываетъ, между прочимъ, такъ: „Хлѣбомъ нонче за первый сортъ торговать. На счетъ податей строго стало, выкупныя требуютъ, ну, и везутъ. Иному и самому нужно, а онъ отъ нужды везетъ. Очень эта операція нынче выгодная. И скотъ скупать хорошо, коли ко времю. Вотъ въ мартѣ кормы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнутъ,—тутъ только не плошай! За безцѣнокъ цѣлые табуны покупаемъ, да на винокуренныхъ заводахъ на барду ставимъ. Хорошій барышъ бываетъ. Во время этихъ наивно или наглооткровенныхъ разсказовъ благолѣпнаго старца является его сынъ, ѣздившій скупать хлѣбъ у крестьянъ. Онъ разсказываетъ, что давалъ мужикамъ шесть гривенъ за пудъ, а они заупрямились и повезли хлѣбъ въ другое мѣсто, а въ этомъ другомъ мѣстѣ опять же никого, кромѣ Деруновскихъ приказчиковъ, нѣтъ,—ну, и пришлось отдать еще дешевле, по полтиннику. Деруновъ одобряетъ, что мужиковъ проучили за упрямство, но прибавляетъ:

— Однако это, братъ, въ нашихъ мѣстахъ новость. Скажи, пожалуй, стачку затѣяли! Да за стачки-то нынче знаешь какъ! Что же ты исправнику не шепнулъ?

— Ничего, папенька, покамѣстъ еще своими мѣрами справляемся-съ.

— Ну, ладно. И то сказать, окромя насъ, и покуп-

щиковъ-то здѣсь солидныхъ нѣтъ. Испугать вздумали! Нѣтъ, братъ, ростомъ не вышли! Бунтовать не позволено!

— Истинный, папенька, бунтъ былъ. Просто, какъ есть стали всѣ заодно—и шабашъ. Вы, говорятъ, изъ всего уѣзда кровь пьете. Даже смѣшно-съ.

— Никогда прежде бунтовъ не бывало, а нынче, смотри-ко, бунты начались.

— Да, какой же это бунтъ, Осипъ Ивановичъ?—вступился я.

— А по-твоему, баринъ, не бунтъ? Мнѣ для чего хлѣбъ-то нуженъ? самъ что ли экую махину съѣмъ? въ амбарѣ что ли его гноить буду? Въ казну, сударь, въ казну я его ставлю! Армію, сударь, хлѣбомъ продовольствую! А ну какъ у меня изъ-за нихъ, курицыныхъ сыновъ, хлѣба-то не будетъ? Помирать что ли арміи-то? По-твоему это не бунтъ?“

Этотъ неожиданный оборотъ разговора, въ связи съ другими подобными же благонамѣренными рѣчами Дерунова, заставляетъ автора призадуматься: есть ли Деруновъ дѣйствительно „столпъ“, или онъ, напротивъ, принадлежитъ къ числу „самыхъ злыхъ и отъявленныхъ отрицателей собственности, семейнаго союза и другихъ основъ“? Повидимому, здѣсь нѣтъ мѣста никакимъ такимъ сомнѣніямъ. Деруновъ—богатый собственникъ и уже по одному этому чтитъ собственность; онъ держитъ въ порядкѣ семью и слѣдовательно чтитъ семейный союзъ; онъ заботится объ арміи, жертвуетъ на „общеполезное устройство“, его грудь украшена медалями,—значитъ онъ чтитъ союзъ государственный. *„Но понимаетъ ли онъ самъ, что онъ „поборникъ“? Не говоритъ ли въ этомъ случаѣ одно его нутро, безъ всякаго участія въ томъ его сознанія?“* Будь это сознаніе налицо, Дерунову пришлось бы, можетъ-быть, одно изъ двухъ: либо прекратить свои благонамѣренныя

рѣчи, либо измѣнить характеръ своей дѣятельности. Потому что какъ связать уваженіе къ принципу собственности съ желаніемъ даже при помощи исправника получить чужую собственность за несообразную цѣну? По крайней мѣрѣ автору, послѣ его свиданія съ благолѣпнымъ старцемъ, приснился такой сонъ. Видитъ онъ станового пристава, получившаго высшее образованіе и имѣющаго дипломъ доктора философіи. Сидитъ будто этотъ становой и пишетъ: „Проявился въ моемъ станѣ купецъ 1-й гильдіи Оспнъ Ивановъ Деруновъ, который собственности не чтитъ и въ дѣйствіяхъ своихъ по сему предмету представляется небезопаснымъ. Искусственными мѣрами понижаетъ онъ на базарахъ цѣну на хлѣбъ и тѣмъ вынуждаетъ мѣстныхъ крестьянъ сбывать свои продукты за безцѣнокъ. И даже надняхъ, встрѣтивъ чемезовскаго помѣщика (имя рекъ), наглыми и безстыжими способами вынуждалъ онаго продать ему свое имѣніе за самую ничтожную цѣну. А потому благоволитъ вышнее начальство онаго Дерунова изъ подвѣдомственнаго мнѣ стана извлечь и поступить съ нимъ по законамъ, водворивъ въ мѣста болѣе отдаленныя и безопасныя". Это былъ сонъ, а проснувшись, авторъ съ достовѣрностью узнаетъ, что Деруновъ сверхъ того и снохачъ. Благолѣпный старецъ, такъ краснорѣчиво говорившій о прелестяхъ семейной жизни, отнялъ жену у собственнаго сына...

Очеркъ „Превращеніе" рисуетъ Дерунова на еще высшей степени великолѣпія. Онъ уже бросилъ непосредственное кровопійство, предоставивъ эту черную работу сыну и приказчикамъ, а самъ занялся „отвлеченнымъ" грабежомъ, высшими финансовыми операціями, при которыхъ не слышать протестовъ въ видѣ стоновъ, охапій, проклятій, „бунтовъ", и которыя, однако, даютъ рубль и два рубля на рубль въ такіе сроки, въ какіе непосредственное кровопійство даетъ на рубль гривен-

никъ. Сверхъ того, Деруновъ, еще бодрый и крѣпкій старикъ, рветъ цвѣты наслажденія: ѣздитъ въ Петербургъ, задаетъ лукулловскіе пиры, носитъ брильянтовыя запонки и открыто живетъ съ красавицей спохой...

Умѣренность и аккуратность сами по себѣ отнюдь не постыдныя какія-нибудь качества. Притомъ же есть такія сферы жизни и такія положенія, въ которыхъ онѣ рѣшительно необходимы. Но имъ приличествуетъ скромность. Грибоѣдовскій Молчалинъ боится „свое сужденіе имѣть“. Его и Софья-то полюбила за то, что онъ „врагъ дерзости, всегда застѣнчивъ и не смѣлъ“. Да и не одна Софья. Самъ Щедринъ оцѣнилъ скромность Молчалина и сообразно этому внесъ въ грибоѣдовскій образъ нѣкоторыя любопытныя поправки. Щедринскій Молчалинъ рѣшительно отрицаетъ приписанныя ему Грибоѣдовымъ амурныя шашни съ Софьей. Онъ разсказываетъ дѣло такъ: „Я въ ту пору на флейтѣ игрывалъ,—ну, Софья Павловна и приглашала меня, собственно, на предметъ аккомпанемента... Однажды точно что послѣ игры ручку изволила дать мнѣ поцѣловать, однако я такъ благороденъ на этотъ счетъ былъ, что тогда же имъ доложилъ, что въ нхнемъ званіи и милости слѣдуетъ расточать съ разсужденіемъ“. Съ Лизой у него шашни дѣйствительно были,—ну, Софья Павловна и разсердилась, что „такой пассажъ—и возлѣ самыхъ ея аппартаментовъ“. Этимъ объясняется знаменитая сцена послѣ бала. Чацкій впослѣдствіи самъ сознался, что погорячился; онъ-таки женился на Софьѣ Павловнѣ, и оба они всегда благоволили къ Молчалину, а Софья кромѣ того и дѣтей у него всѣхъ крестила. На зубокъ новорожденному она всегда двадцать пять полуимперіаловъ даритъ. „А я, — разсказываетъ Молчалинъ,—не будь простъ, сейчасъ къ Юнкеру да внутренняго займа съ выигрышами билетецъ-съ. Можетъ-быть, когда-нибудь на наше счастье тысченокъ

двадцать пять—объ двухстахъ-то ужъ мы не думаемъ—и выпадетъ!" („Въ средѣ умѣренности и аккуратности"). Въ этой Щедринской передѣлкѣ Молчалинъ выходитъ гораздо симпатичнѣе, чѣмъ у Грибоѣдова; а эта сравнительная привлекательность зависитъ отъ того, что передѣланный Молчалинъ искреннѣе и послѣдовательнѣе въ своей умѣренности и аккуратности: онъ скроменъ, онъ знаетъ свой шестокъ.

Своей передѣлкой Молчалина Салтыковъ показалъ, что онъ можетъ очень мягко относиться къ умѣренности и аккуратности, когда онѣ украшаются скромностью. Какъ всякій истинно большой человѣкъ, Щедринъ не презиралъ ни маленькихъ людей ни маленькихъ дѣлъ, но подъ тѣмъ условіемъ, чтобы они не маскировались большими людьми и большими дѣлами. Съ этой точки зрѣнія надо смотрѣть и на статью „Новый Нарцисъ или влюбленный въ себя", надѣлавшую въ свое время много шума и вызвавшую много нареканій на автора. Либеральные критики негодовали на сатирика за нападки на „наши молодыя земскія учрежденія". Что Салтыковъ раздѣлялъ надежды всѣхъ благомыслящихъ русскихъ людей на земское самоуправленіе, это, не говоря о прочемъ, видно уже изъ „Писемъ о провинціи" (въ особенности седьмого и восьмого письма). Но, говорилъ онъ, „чтобы отвѣтить на эти ожиданія мало-мальски достойнымъ образомъ, надлежало, чтобы земство съ самаго начала поняло свои задачи въ самомъ широкомъ смыслѣ. Суженіе задачъ—вообще плохая школа для вновь выступающихъ учрежденій". Изъ этого, какъ и вообще изъ „Писемъ о провинціи", явствуетъ, что Салтыковъ понималъ роль земскихъ учрежденій много выше и шире, чѣмъ тѣ, кто напустился на „Нарциса". Онъ очень хорошо понималъ настоятельность задачъ, волнующихъ умы героевъ „Нарциса": вопроса о заготовленіи нижняго бѣлья

для больныхъ гражданскаго вѣдомства, вопроса о полудѣ рукомойниковъ, вопроса о становомъ приставѣ, дозволяющемъ себѣ ѣздить на трехъ лошадяхъ вмѣсто двухъ, и т. д. Все это безспорно важно и нужно уладить. Но вѣдь не въ этомъ же все дѣло, и во всякомъ случаѣ все это еще не составляетъ резона для великолѣпныхъ разговоровъ о „новыхъ путяхъ“, „твердыхъ упованіяхъ“, „свѣтлыхъ надеждахъ“, „великомъ будущемъ“ и проч. Будьте умѣренны и аккуратны, поскольку это дѣйствительно необходимо, но не погружайтесь исключительно въ мелочи и подробности; если же вы только умѣренностью и аккуратностью блистать хотите и никакой обширности вмѣстить не можете, такъ будьте по крайней мѣрѣ скромны, не сотрясайте воздуха трубными звуками, своею громогласностью отнюдь не соотвѣтствующими дѣламъ вашимъ. Вотъ, собственно говоря, вся мораль „Нарциса“.

Читатель видитъ, что мораль эта, въ своемъ общемъ выраженіи, вполнѣ примыкаетъ къ морали „Благонамѣренныхъ рѣчей“. Тамъ вездѣ тоже требовалось уравненіе слова съ дѣломъ: не воруй, а ежели ты воръ, такъ не изображай собою столпа, поддерживающаго принципъ собственности; не развратничай, а ежели ты развратникъ, такъ не разглагольствуй о святости семейнаго начала; не грабь казну и народъ, а ежели ты казнокрадъ, такъ не блистай патріотизмомъ. И тамъ и тутъ сатирикъ преслѣдуетъ маскарадное поведеніе. Разница, однако, въ томъ, что ораторы благонамѣренныхъ рѣчей замаскированы „столпами“ и, въ случаѣ грамотности, охотно говорятъ о себѣ: мы консерваторы. Ораторы же умѣренности и аккуратности склонны, напротивъ, называть себя либералами. Положеніе сатирика среди этихъ двухъ маскарадовъ было необыкновенно трудное. Съ одной стороны, „столпы“ говорятъ такъ много и такихъ азартныхъ благонамѣренныхъ рѣчей,

что около нихъ сгустилась атмосфера относительной неприкосновенности. Всякую попытку совлечь съ нихъ маскарадный костюмъ они истолковываютъ въ смыслѣ посягательства на тѣ принципы, которымъ они якобы служатъ, и этотъ фортель имъ слишкомъ часто удается. Съ другой стороны, рыцари умѣренности и аккуратности столь же ни къ селу ни къ городу вопіютъ объ оскорбленіяхъ, якобы наносимыхъ принципамъ свободы, просвѣщенія, „нашимъ молодымъ учрежденіямъ", когда рѣчь идетъ вовсе не объ этихъ прекрасныхъ вещахъ, а только о томъ, что умѣренность и аккуратность на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній живутъ...

II.

Завѣтную „мечту" Салтыкова, въ ея общемъ выраженіи, составляетъ вольный и сознательный союзъ, споспѣшествующій широкому и всестороннему развитію личности, пробужденію всѣхъ ея силъ и способностей, удовлетворенію всѣхъ ея потребностей. По своей спеціальности сатирика Салтыковъ не могъ отдаваться прямому, положительному развитію этого идеала, но тѣмъ сильнѣе и значительнѣе была его *облеченная въ художественную форму критика общественныхъ явленій съ точки зрѣнія идеальнаго союза.* Подчеркиваю эти слова, потому что ими, мнѣ кажется, резюмируется вся дѣятельность Салтыкова.

Идеалъ Салтыкова былъ слишкомъ возвышенъ, чтобы можно было думать о немедленномъ и полномъ его осуществленіи. Это далекій и въ подробностяхъ не совсѣмъ даже ясный пунктъ, достиженіе котораго будетъ стоить многаго труда, борьбы, жертвъ, но который можетъ и долженъ сейчасъ руководить нами, освѣщая нашъ трудъ, борьбу и жертвы. Это свѣтлая точка, маякъ, опредѣляющій направленіе нашей дѣятельности, а затѣмъ возникаетъ вопросъ о ближайшихъ станціяхъ

въ этомъ направленіи. Салтыковъ началъ свою литературную дѣятельность въ одинъ изъ самыхъ глухихъ періодовъ русской исторіи, но возобновилъ ее, напротивъ, въ пору вящшей напряженности общественной жизни, когда страшный урокъ крымской войны воочію показалъ, чего стоятъ союзы, которые камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать *). „Губернскіе очерки“ оканчиваются видѣніемъ; передъ авторомъ проходитъ похоронная процессія: то „прошлыя времена хоронятъ!“ Это восклицаніе хорошо характеризуетъ тогдашнее настроеніе сатирика. Понятно, что онъ, самъ видавшій „покойничка“, и дѣвчонку Наташку, привязанную къ столбу на навозной кучѣ, и всю прочую пошехонскую старину, долженъ былъ встрѣтить великій день 19 февраля 1861 г. какъ праздникамъ праздникъ и торжество изъ торжествъ. Вспоминая объ этомъ днѣ въ „Письмахъ о провинціи“, онъ говоритъ: „Всему этому безпутному, безсознательному и ненужному злодѣйству, всѣмъ этимъ подвигамъ тьмы и безсмысленнаго варварства положило безповоротный конецъ 19 февраля. Какъ бы ни были обширны наши притязанія къ жизни, мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна египетскаго цѣлыя массы людей, разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбные стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи—такое дѣло способно вдохнуть энтузіазмъ безпредѣльный!“ Энтузіазмъ этотъ, столь естественный для человѣка, лично видѣвшаго ужасы крѣпостного права, въ Салтыковѣ осложнялся еще тою вѣрою въ будущее, которою онъ былъ окрыленъ отъ природы.

*) Есть анекдотъ объ испанцѣ, который попалъ въ какую-то сѣверную, очень холодную страну. На него напали собаки; онъ схватилъ камень, чтобы швырнуть имъ въ собакъ, но камень примерзъ, такъ что его нельзя было отодрать. Тогда испанецъ сказалъ: „о, удивительная страна, гдѣ камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать!».

Если рухнулъ вѣковой порядокъ, казавшійся неизбѣжнымъ, если оказалось возможнымъ то, что считалось невозможной и преступной мечтой, такъ законны и дальнѣйшія перспективы. Салтыковъ спрашивалъ: „Давно ли называлось мальчишествомъ, карбонарствомъ, вольтерьянствомъ все то добро, которое нынѣ воочію совершается? И нельзя ли отсюда притти къ заключенію, что и то, что нынѣ называется мальчишествомъ, нигилизмомъ и другими болѣе или менѣе поносительными именами, будетъ когда-нибудь называться добромъ?“ („Сеничкинъ ядъ“).

Уже самые эти вопросы показываютъ, что не всѣ были въ ту пору единодушны на Руси. Дѣйствительно, всяческія подкапыванія подъ дѣло реформъ начались очень рано и многаго достигли. Съ точки зрѣнія Салтыкова дѣло реформъ состояло въ устраненіи подневольныхъ и безсознательныхъ союзовъ. Не о томъ шла рѣчь, чтобы на землѣ, отягченной вѣковою наслѣдственностью грѣха, немедленно же водворилась райская жизнь, миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе, а только о томъ, чтобы эта грѣшная земля поотаяла, чтобы хоть камни-то, нужные для обороны, не были прикованы морозомъ. Земскія учрежденія, гласный судъ, народная школа, свобода печати составляли естественное дополненіе къ основной, крестьянской реформѣ. Необходимость этихъ шаговъ была заявлена самимъ правительствомъ и сознана всею благомыслящею частью русскаго общества, въ томъ числѣ и Салтыковымъ. Всѣ эти реформы имѣли цѣлью пріобщить жизнь личности къ жизни общественной, дать русскому человѣку возможность сознательнаго и вольнаго участія въ общественныхъ дѣлахъ; тѣмъ самымъ вносилось живое содержаніе во всякаго рода „союзы“, за исключеніемъ тѣхъ, конечно, которые такового и выдержать не могли. Несмотря однако на это, энтузіазмъ, о которомъ

говоритъ Салтыковъ, покинулъ его. Мудрено было спокойно смотрѣть на то, какъ дѣло реформы, при самомъ даже своемъ возникновеніи, подтачивалось руками, заматорѣлыми въ практикѣ подневольныхъ и безсознательныхъ союзовъ. Критика всѣхъ относящихся сюда явленій нашей общественной жизни и составила задачу Салтыкова.

Разбираясь въ огромной массѣ не только образовъ и картинъ, а и мыслей, пущенныхъ Салтыковымъ въ обращеніе, мы увидимъ, что элементы, противоборствующіе поступательному ходу русской исторіи, какъ онъ рисовался самому Щедрину, распредѣляются по двумъ большимъ отдѣламъ: о благонамѣренныхъ рѣчахъ и объ умѣренности и аккуратности.

Деруновъ есть „рьяный и упорный поборникъ всевозможныхъ союзовъ", но именно подневольныхъ и безсознательныхъ союзовъ, которые бы ему, Дерунову, развязывали руки, а прочимъ—связывали. Его экономическая программа, конечно, не его языкомъ выраженная, гласитъ такъ: „Необходимо дать пошехонскому поту такое примѣненіе, благодаря которому онъ лился бы столь же обильно, какъ при крѣпостномъ правѣ, и въ то же время назывался бы „вольнымъ" пошехонскимъ „потомъ" („Пошехонскіе разсказы"). Семейный союзъ Деруновъ чтитъ, но самъ—снохачъ. Союзъ государственный онъ тоже чтитъ, но съ тѣмъ, чтобы исправникъ признавалъ бунтовщиками крестьянъ, которые не отдаютъ хлѣба по шести гривенъ. И однако Деруновъ—„сголпъ". Не одинъ Деруновъ такъ устроился, даже не одни „чумазые", потому что вотъ и кузина Машенька и другіе нечумазаго чина люди то же самое практикуютъ. Есть у нихъ и пособники, во-первыхъ, среди „озорниковъ" и „помпадуровъ", которые, впрочемъ, видя въ себѣ персонификацію „союзовъ", практикуютъ и за свой собственный счетъ. Сатирикъ отказывается признать

ихъ „поборниками государственнаго союза за то только, что они видятъ въ государствѣ пирогъ, къ которому ловкіе люди могутъ во всякое время подходить и закусывать“ („Круглый годъ“). Есть пособники и въ литературѣ. Эти, можетъ-быть, самые страшные. Беря подъ свою защиту всякіе подневольные и безсознательные союзы и практикуя въ дѣлѣ этой защиты полную свободу, они требуютъ, чтобы всѣ, съ ними несогласно мыслящіе, были поставлены въ положеніе тѣхъ примерзшихъ камней, которыми несчастный испанецъ такъ и не могъ воспользоваться для самообороны. Вся эта разношерстная стая, пополняемая при случаѣ переметными сумами въ родѣ адвокатовъ Балалайкиныхъ и газетчиковъ Ивановъ Непомнящихъ, набрасывается на всякое дѣло и на всякаго человѣка, имѣющихъ въ виду настоящій союзъ, заслуживающій дѣйствительно этого названія. Будущій историкъ русскаго общества найдетъ у Салтыкова драгоцѣннѣйшія указанія по этой части, и не только указанія, но и готовые выводы.

Но хоромъ благонамѣренныхъ рѣчей не исчерпываются элементы, тормозящіе исторію. Уже въ „Литераторахъ обывателяхъ“ Щедринъ, можетъ-быть, даже съ чрезмѣрною жестокостью отнесся къ тѣмъ крохоборамъ, которые носятся со всякою мелочью, какъ съ писаной торбой. Жестокость была въ этомъ случаѣ потому чрезмѣрна, что литераторы-обыватели во всякомъ случаѣ свидѣтельствовали своимъ существованіемъ о нѣкоторомъ оживленіи провинціи. Сатирикъ самъ замѣтилъ: „Времена созрѣли, и какъ бы ни была мало искусна пѣсня Корытникова, онъ не можетъ не пѣть. Выдьте весною на улицу, прислушайтесь, какой концертъ задаютъ тамъ воробьи!.. Подобно сему и Корытниковъ, объятый весеннимъ чувствомъ, поетъ возрожденіе природы, поетъ красоту гласности и самоуправленія, поетъ взволнованность своихъ собственныхъ чувствъ“.

Справедливая сторона насмѣшки, обращенная къ литераторамъ-обывателямъ, состояла въ указаніи на самодовольную узкость ихъ кругозора, фальшиво раздуваемую фразами въ родѣ: „въ наше время, когда, казалось бы, воровство преслѣдуется повсюду", „въ наше время, когда привычки законности мало-по-малу проникаютъ во всѣ административныя трущобы" и т. п. Но если литераторы-обыватели ликовали по пустякамъ, то они все-таки не возводили крохоборства въ принципъ. Это суждено было сдѣлать гораздо позже пѣнкоснимателямъ, провозгласившимъ, что „наше время не время широкихъ задачъ". Пѣнкоснимателю не то, что ораторъ благонамѣренныхъ рѣчей,—онъ „никогда не промолвится, что крѣпостной трудъ лучше свободнаго, или что гласное судопроизводство хуже судопроизводства при закрытыхъ дверяхъ; нѣтъ, никогда, ибо склады либерализма извѣстны ему въ точности". На дѣлѣ же „вамъ говорятъ о благодѣяніяхъ свободнаго труда, но въ то же время пріурочиваютъ его дѣйствіе къ такой безконечно малой сферѣ, что въ сущности выходитъ лишь замаскированный крѣпостной трудъ; вамъ повѣствуютъ о выгодахъ гласнаго суда, а на повѣрку выходитъ, что рѣчь сводится къ рекламамъ въ пользу такого-то адвоката или судьи" („Дневникъ провинціала"). Можетъ быть даже не кто иной, какъ именно пѣнкоснимателъ, помогъ Дерунову формулировать вышеприведенную экономическую программу на счетъ „вольнаго пошехонскаго пота". По крайней мѣрѣ на это имѣются указанія въ параллели между хищникомъ и пѣнкоснимателемъ, которою заканчивается „Дневникъ провинціала": „Хищникъ проводитъ принципъ хищничества въ жизни, пѣнкоснимателъ возводитъ его въ догматъ и сочиняетъ правила на предметъ наилучшаго производства хищничества". Благодаря возвышенности той точки, на которой стоялъ Салтыковъ въ своей ли-

тикѣ явленій общественной жизни, его нельзя было ни подкупить ни испугать какими бы то ни было ходячими формулами, кличками, словами, „жупелами“. Къ числу такихъ жупеловъ принадлежитъ либерализмъ, къ которому Салтыковъ естественно тяготѣлъ многими своими сторонами; но онъ понималъ, что бываютъ случаи, когда „либерализмъ есть своего рода дойная корова“ („Дневникъ провинціала“), и съ искусствомъ опытнаго анатома-практика вскрывалъ эту корову. Такъ и поступилъ онъ съ пѣнкоснимателями, щеголявшими либерализмомъ. Пѣнкоснимательство уже по самому существу своей умѣренности и аккуратности понижало или стремилось понизить уровень требованій жизни и тѣмъ самымъ задержать жизнь въ смыслѣ приближенія къ щедринскому идеалу.

Трудно обнять всю огромность Щедринскаго дѣла, всю ту критическую энциклопедію русской жизни, которая заключена въ его произведеніяхъ. Читатель, я полагаю, однако и самъ оріентируется во многомъ, если будетъ помнить тотъ идеалъ вольнаго и сознательнаго союза, который всегда руководилъ сатирикомъ.

III.

Основная черта всей литературной физіономіи Салтыкова состоитъ въ необыкновенно счастливомъ сочетаніи могучей непосредственности и силы неусыпно бодрствующаго сознанія. Талантъ Салтыкова былъ громаденъ, но онъ не довѣрялъ этой громадной стихійной силѣ и держалъ ее подъ строгимъ контролемъ сознанія. Онъ склоненъ былъ даже умалять размѣры своего таланта, приписывая свой успѣхъ и значеніе въ литературѣ исключительно упорному труду. Надо замѣтить, что и вообще таланту Салтыковъ не давалъ той цѣны, какая ему обыкновенно дается. Лучше чѣмъ кто-нибудь понималъ онъ, что талантъ есть великая

сила, и былъ очень тонкимъ цѣнителемъ въ этомъ отношеніи. Но работникъ, человѣкъ сознанія и воли, возмущался въ немъ противъ какихъ бы то ни было привилегій таланта, противъ поклоненія этому случайному подарку природы или капризной судьбы. Иногда слово „талантливый“ было у него чуть-чуть что не браннымъ или по крайней мѣрѣ ничего лестнаго въ себѣ не заключающимъ. Въ „Губернскихъ очеркахъ“ есть четыре портрета, собранныхъ подъ одно общее заглавіе „Талантливыя натуры“. Заглавіе это отнюдь не ироническое: Корепановъ, Лузгинъ, Буеракинъ и Горехвостовъ дѣйствительно талантливыя натуры, но не въ хвалу имъ написаны эти портреты. Господамъ ташкентцамъ сатирикъ усваиваетъ, въ числѣ прочихъ качествъ, „талантливость“. Не разъ и при другихъ случаяхъ онъ столь же пренебрежительно отзывался о талантливости. Въ „Письмахъ къ тетенькѣ“ онъ, устами дяди Григорія Семеновича, даетъ такое опредѣленіе: „талантливость все равно, что пустая бутылка,—какое содержаніе въ нее вольешь, то она и вмѣститъ“. Сила таланта, какъ всякая другая стихійная сила, получала для Салтыкова значеніе только по тому направленію, которое она принимала подъ вліяніемъ человѣческаго сознанія и воли. Этой печати сознанія и воли Салтыковъ требовалъ отъ всѣхъ проявленій жизни. Честь и совѣсть, пробужденія которыхъ онъ такъ страстно желалъ, суть формы сознанія, притомъ формы, обязывающія къ дѣйствію, то-есть къ напряженію воли. Общественный союзъ, составлявшій его идеалъ, отмѣченъ тою же печатью сознанія и воли. Сознаніе и воля, высшія способности человѣческаго духа, должны царить надъ всѣмъ міромъ, надъ всѣми силами природы и исторіи, подчиняя ихъ себѣ въ качествѣ служебныхъ орудій, обрабатывая ихъ какъ сырой матеріалъ, наконецъ, если нельзя иначе, претерпѣвая ихъ гнетъ, но такъ, какъ терпитъ гордый

плѣнникъ тюрьму, какъ носилъ свои цѣпи Прометей, то-есть все-таки не подчиняясь. Мнѣ чтить тебя? за что? спрашиваетъ гётевскій Прометей. Съ такимъ вопросомъ обратился бы Салтыковъ къ любой стихійной силѣ, въ томъ числѣ и къ таланту, если бы онъ потребовалъ почтенія къ себѣ. Талантъ, случайная комбинація наслѣдственности и приспособленія въ моментъ зачатія, не есть заслуга. Продуктъ слѣпыхъ силъ, онъ и самъ есть только даровой, незаработанный придатокъ личной силы, получающій свое значеніе, великое или презрѣнное, только отъ того направленія, которое ему даютъ сознаніе и воля. Не талантъ долженъ владѣть человѣкомъ, увлекая его помимо воли и сознанія, а, наоборотъ, человѣкъ долженъ владѣть своимъ талантомъ. Къ такъ называемому „вдохновенію" Салтыковъ относился очень скептически. Онъ не сказалъ бы, подобно Гёте, что геній есть терпѣніе,—чему, мимоходомъ сказать, и самъ Гёте едва-ли вѣрилъ,—но во всякомъ случаѣ талантъ самъ по себѣ былъ для него только пустая бутылка, которую надо еще наполнить, и смотря по тому, чѣмъ она наполнена, такая ей и цѣна.

Когда плебей презрительно отзывается о знатности происхожденія и негодуетъ на преимущества, связанныя съ такимъ происхожденіемъ, то всегда найдутся дешевые скептики, которые объяснятъ этотъ протестъ завистью: дескать, самъ не можетъ щегольнуть родословнымъ древомъ, ну, и ворчитъ. Мудрено было бы пустить въ ходъ это подозрѣніе примѣнительно къ взглядамъ Салтыкова на талантливость. Огромный талантъ Салтыкова стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній, кажется, для самыхъ отъявленныхъ его враговъ. Съ той стороны слышатся даже иногда фарисейскія сожалѣнія, что такое значительное дарованіе тратилось на дѣло, господамъ критикамъ неугодное. Едва ли не самый злостный критикъ, и тотъ нашелся вынужденнымъ

признать за Салтыковымъ по крайней мѣрѣ „несомнѣнный талантъ глумленія и нахальства".

Талантъ Салтыкова представляетъ собою сумму очень многихъ и очень разнородныхъ слагаемыхъ. Бываютъ таланты яркіе, сильные, но, такъ сказать, одноцвѣтные. Талантъ Салтыкова я бы назвалъ радужнымъ, и переливы этой блистательной радуги составляютъ столько же прекрасное, сколько и рѣдкое въ литературѣ зрѣлище. Что касается формы, въ смыслѣ рубрикъ, на которыя теорія дѣлитъ художественныя произведенія, то Салтыковъ обращался съ ними вполнѣ безцеремонно, подчиняя ихъ основной струѣ своего творчества. Можно бы было, напримѣръ, сказать, судя по „Драматическимъ сценамъ" въ „Губернскихъ очеркахъ" и „Недавнимъ комедіямъ" въ „Сатирахъ въ прозѣ", что драматическая форма не давалась Щедрину. Можетъ-быть, оно такъ и есть въ самомъ дѣлѣ. Можетъ-быть, Щедринъ органически не могъ настолько отодвинуть свое личное чувство за кулисы, насколько это требуется самыми условіями драмы. Но онъ и не смотрѣлъ никогда на „сцены" „Губернскихъ очерковъ" и „комедіи" „Сатиръ въ прозѣ", какъ на драматическія произведенія; да и никто на нихъ такъ не смотритъ. Еще бы къ діалогу „мальчика въ штанахъ" и „мальчика безъ штановъ", или къ разговору Свиньи съ Правдой, или къ „Драмѣ въ кашинскомъ окружномъ судѣ" (въ „Современной идилліи") предъявлять требованія, какимъ должно удовлетворять драматическое произведеніе! Эти quasi-драматическіе наброски удовлетворяютъ совсѣмъ другимъ требованіямъ, художественнымъ же, по стоящимъ внѣ всякой связи съ дѣленіемъ словесности на роды и виды. Салтыковъ утилизировалъ всѣ эти роды и виды, но тасовалъ ихъ, какъ колоду картъ, то, напримѣръ, въ „Современной идилліи", перебивая комическій разсказъ страстнымъ стихотвореніемъ въ прозѣ

„Властитель думъ", то иллюстрируя публицистику діалогомъ „Свиньи съ правдой", то, наоборотъ, обрывая художественный разсказъ публицистической экскурсіей, то неожиданно вводя струю сказочной фантастики въ реальнѣйшее изъ реальныхъ описаній. Припомнимъ для образчика маленькую, всего въ нѣсколько строкъ, но истинно поразительную сцену. Молчалинъ, возвратившись съ обагреннымъ безсознательнымъ преступленіемъ руками домой, этими самыми руками спокойно рѣжетъ пирогъ съ капустой; авторъ указываетъ ему на руки; „я вымылъ-съ", отвѣчаетъ Молчалинъ. Это смѣлое, до дерзости, сочетаніе аллегорической и страшной крови на рукахъ Молчалина съ реальнымъ и будничнымъ пирогомъ съ капустой даже, можетъ-быть, не останавливаетъ на себѣ съ перваго раза вниманія читателя. Мысль не запинается объ эту наглядную несообразность, такъ ярко и сжато характеризующую Молчалина. Передъ нами результатъ—живой портретъ, болѣе того—живой типъ, и мы не спрашиваемъ себя въ тотъ моментъ о пріемахъ и способахъ, которыми этотъ результатъ достигнутъ. А если, анализируя свое впечатлѣніе, оглянемся на нихъ, на эти способы и пріемы, то уже, конечно, не попрекнемъ автора за ихъ наглядную несообразность. Нельзя, напротивъ, не залюбоваться этими мощными скачками отъ дѣйствительности, вмѣщающейся въ пирогѣ съ капустой, къ фантазіи, обагряющей руки Молчалина, отъ комическихъ подробностей житія Молчалина къ несознаваемому имъ самимъ ужасу его обычныхъ занятій. Въ этомъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ изумительна въ особенности легкость, съ которою талантъ Салтыкова, презирая преподы отвержденныхъ формъ словесности, переходитъ отъ одной изъ нихъ къ другой, отъ безпощаднаго реализма къ вершинамъ фантазіи, отъ ядовитой насмѣшки къ страстной лирикѣ. Вы не видите при этомъ ника-

кихъ усилій автора, никакихъ слѣдовъ натуги, старанія; это—чисто стихійное, самопроизвольное радужное сверканіе таланта, рѣзко выдѣляющее Салтыкова изъ среды нашихъ большихъ писателей. При всѣхъ своихъ разнообразныхъ достоинствахъ, ни одинъ изъ нихъ не обладаетъ тою спеціальною силою и гибкостью таланта, которою обусловливается эта черта. Формалисты назовутъ ее, можетъ-быть, распущенностью, безпорядочностью, невыдержанностью стиля. Ну и Богъ съ ними.

Есть во всякомъ случаѣ у Салтыкова и такія произведенія, которыя даже самый узколобый изъ формалистовъ найдетъ безупречными въ смыслѣ выдержанности стиля. Таковы, скажемъ для примѣра, очерки, вошедшіе въ составъ „Мелочей жизни", таково „Больное мѣсто", почти всѣ сказки, такова, за вычетомъ нѣкоторыхъ отступленій, Головлевская хроника.

Все это—перлы въ своемъ родѣ, поражающіе яркою жизненностью образовъ, смѣлостью и спокойною увѣренностью общихъ очертаній и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкостью отдѣлки подробностей. Что касается послѣднихъ, то я напомню только пейзажи въ „Конягѣ" и въ „Христовой ночи". По основнымъ задачамъ всей своей дѣятельности, цѣликомъ посвященной общественной жизни, Салтыковъ не могъ придавать пейзажу того значенія, которое онъ имѣетъ для романистовъ и поэтовъ. И тѣмъ не менѣе перечтите „Конягу" и „Христову ночь", и вы увидите, что имѣющіеся тамъ пейзажи должны быть поставлены рядомъ съ лучшими произведеніями этого рода. Перехожу къ перлу изъ перловъ—къ „Господамъ Головлевымъ".

Фигура Іудушки, совмѣщающая въ себѣ столько комическихъ чертъ и въ то же время полная глубокаго трагизма, принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя живутъ вѣка. Вы ясно видите этого словоточиваго „кровопивушку", слышите его голосъ, ощущаете непріятность

его прикосновенія и, вмѣстѣ съ его сыномъ, племянницей, Евпраксеюшкой, милымъ другомъ-маменькой, брезгливо и страшливо содрогаетесь. Но удивительное дѣло: вы понимаете, что Анненька должна была бѣжать отъ той невыносимой скуки и страха, которые распространяетъ вокругъ себя Іудушка, и могла вернуться подъ его постылый кровъ только въ конецъ одуренная пьяною жизнью; вы понимаете, что и сынъ Іудушки, и Евпраксеюшка, и милый другъ-маменька должны сторониться отъ общенія съ нимъ; вы чувствуете наконецъ, что и сами вы, встрѣтившись съ этой фигурой въ жизни, ни на единую минуту не пожелали бы продолжить эту встрѣчу. А вотъ въ художественномъ воспроизведеніи вы отъ Іудушки оторваться не можете, хотя и переживаете съ другими дѣйствующими лицами ихъ тоску и страхъ. Въ этомъ и состоитъ чудесная тайна истинно-художественнаго произведенія: властная воля великаго художника плѣнила васъ, приковала ваше вниманіе къ явленію, мимо котораго вы, свободный отъ чаръ геніальнаго творчества, постарались бы пробѣжать какъ можно скорѣе. Эффектъ этотъ достигается иногда и совершенно заурядными писателями, но во-первыхъ, въ совсѣмъ другомъ кругѣ читателей, а во-вторыхъ, не силою таланта, а чисто внѣшнимъ образомъ, нагроможденіемъ кричащихъ подробностей въ самой фабулѣ. Тутъ мы имѣемъ дѣло не съ чарованіемъ искусства, а съ тою странною притягательною силою, которую для многихъ людей имѣютъ кровь, опасность, уголовщина, съ тою странною силою, которая сгоняетъ толпы зрителей на головоломныя представленія акробатовъ, бой быковъ, на уличныя драки и площадные скандалы. Любители этого рода зрѣлищъ найдутъ „Господъ Головлевыхъ“ слишкомъ прѣснымъ произведеніемъ. Тутъ и фабулы *то почти* никакой нѣтъ. Пожалуй, есть она въ видѣ

матеріала, зародыша, и заурядный писатель могъ бы извлечь много головокружительныхъ эффектовъ, напримѣръ, изъ трагической развязки жизни обоихъ сыновей Іудушки, но у Щедрина обѣ эти развязки происходятъ за кулисами. Съ другой стороны, самыя потрясающія страницы Головлевской хроники посвящены необыкновенно простымъ, въ смыслѣ обыденности, вещамъ. Рожденіе незаконнаго сына и отправка его въ воспитательный домъ,—Господи! да вѣдь это каждый день совершается, не попадая даже въ полицейскую хронику наравнѣ съ кражей, пожаромъ, паденіемъ изъ третьяго этажа и проч. Дрянной старикашка пьетъ съ племянницей, изъ ярмарочныхъ пѣвицъ, водку, — что можетъ быть ничтожнѣе такого сюжета? Многіе изъ нашихъ чрезвычайно бойкихъ романистовъ пройдутъ мимо этихъ темъ съ полнѣйшимъ презрѣніемъ, и они будутъ до извѣстной степени правы, потому что имъ въ самомъ дѣлѣ ничего не сдѣлать изъ такихъ заурядныхъ явленій. Можно, кажется, установить такую общую формулу, допускающую, конечно, исключенія: заурядному таланту нужна исключительная фабула, исключительный талантъ довольствуется заурядной фабулой.

Говоря о свойственномъ Салтыкову радужномъ сверканіи таланта, я называлъ это сверканіе чисто стихійнымъ, самопроизвольнымъ. Но самопроизвольный не значитъ самодовлѣющій. Дозволяя себѣ художественныя дерзости въ родѣ перетасовки отвержденныхъ формъ словесности и полнаго смѣшенія фантазіи и дѣйствительности, Салтыковъ зналъ, что онъ дѣлаетъ, и въ каждой своей строчкѣ могъ бы дать отчетъ и себѣ и другимъ. Все свое высокое дарованіе отдавалъ онъ на службу дѣлу свѣта и правды и зорко слѣдилъ за этой своей стихійной силой, чтобы она какъ-нибудь не уклонилась отъ намѣченной цѣли. Ему такъ легко

было бы нарисовать, напримѣръ (одинъ примѣръ изъ сотни), картину изувѣченнаго трупа Гришки-портного, плавающаго въ лужѣ крови. Его творческая сила нашла бы здѣсь себѣ работу, удовлетвореніе. Но эта страшная картина слишкомъ сосредоточила бы на себѣ вниманіе читателя, слишкомъ взволновала бы его, въ ущербъ сочувствію къ несчастному Гришкѣ и негодованію на загубившія его подлости. И великій писатель обошелъ эту картину. Ему, можетъ-быть, еще легче было бы смѣшить насъ безъ-удержу, смѣшить до упаду, но великій писатель не пожелалъ этого, онъ обуздалъ свой смѣхъ систематической программой. Менѣе могучій талантъ едва ли могъ бы даже выдержать такое неустанно зоркое самонаблюденіе и самообузданіе, такой контроль сознанія и воли. Салтыковъ выдержалъ.

Н. Михайловскій.

„Человѣчное“ въ литературной дѣятельности Салтыкова *).

Однимъ изъ самыхъ красивыхъ, привлекательныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неопредѣленныхъ словъ сороковыхъ годовъ было слово „человѣкъ“ и происходящее отъ него „человѣчное“. Щедринъ привязался къ нему со всею страстностью, на которую только была способна его, вся состоявшая изъ нервовъ, натура, и на развитіе его истиннаго смысла посвятилъ всю свою литературную дѣятельность, при чемъ „публицистика“ являлась простымъ подспорьемъ художественнаго творчества. Насколько такое-то явленіе „человѣчно“ — вотъ вопросъ, который интересовалъ его прежде всего. Его нельзя было ни обмануть ни обойти словами, или что-нибудь подобное. Въ этомъ отношеніи онъ былъ безусловно неуступчивъ, и если мы посмотримъ на него съ этой стороны, то увидимъ, какая огромная доза моралиста скрывалась въ этомъ большомъ русскомъ человѣкѣ,—какъ, впрочемъ, и вообще въ большихъ русскихъ людяхъ, близко принимавшихъ къ сердцу жизненные интересы своего отечества, а не ограничивавшихся тѣмъ только, чтобы наблюдать за коловращеніями его судебъ, регистрируя ихъ то въ статисти-

*) *Е. А. Соловьевъ.* Очерки по исторіи русской литературы. Спб. 1902.

ческихъ таблицахъ, то въ художественныхъ образахъ... Очень вѣроятно, и даже навѣрно, что по сочиненіямъ Щедрина трудно отвѣтить на вопросъ о сущности красоты и истины, но сущность „человѣческаго" разъяснена имъ полностью. Впрочемъ, „человѣческое" было тѣмъ верховнымъ понятіемъ, которому онъ охотно подчинялъ всѣ остальныя. Только человѣческое могло быть дѣйствительно прекраснымъ, только оно могло быть истиннымъ. Замѣчу, впрочемъ, что, по свойству своего ума и дарованія, онъ останавливался не столько на положительныхъ опредѣленіяхъ человѣческаго, сколько на уклоненіяхъ отъ него, на его извращенностяхъ. Если онъ мало говоритъ о психологіи настоящаго человѣка, который у него обыкновенно за сценой, зато о психологіи не-человѣка,—раба, куклы и злодѣя онъ говоритъ очень и очень много. Рабъ, кукла и злодѣй—это для него главныя разновидности не-людей, все равно какъ и служители формальной правды.

Больше всего онъ говоритъ о психологіи раба. Чувствовалъ ли онъ, что здѣсь заключается главнѣйшій слабый пунктъ русскихъ преуспѣяній, или по какой-нибудь другой причинѣ— судить не берусь, но мнѣ кажется, что нѣсколько строкъ объ этой другой причинѣ не помѣшаютъ ясности дѣла. Рабство и его разновидности, хамство, холопство, это непониманіе своего достоинства, это отрицаніе достоинства въ другихъ, эта жестокость сильнаго, переходящая въ человѣконенавистничество, издѣвательство надъ слабымъ,— вотъ наслѣдіе крѣпостного права. И, конечно, корни вдохновенія Щедрина, какъ вдохновенія Тургенева, Гончарова и т. д., находятся здѣсь. Несомнѣнно, что высшее изъ созданнаго имъ относится именно ко времени крѣпостного права. Онъ зналъ его и даже больше чѣмъ зналъ: по его собственному признанію, оно преслѣдовало его „по пятамъ" въ теченіе всей жизни.

Въ воспоминаніи Щедрина о временахъ крѣпостного „быта“ есть что-то страшное,—вплоть до самоубійства дѣтей.

„Я,—говоритъ онъ,—слишкомъ близко видѣлъ крѣпостное право, чтобы имѣть возможность забыть его... Я видѣлъ глаза, которые ничего не могли выражать, кромѣ испуга; я слышалъ вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кромѣ физической боли; я былъ свидѣтелемъ звѣрскихъ вожделѣній, которыя разгорались исключительно по поводу куска хлѣба... Въ царствѣ испуга, физическаго страданія и желудочнаго деспотизма нѣтъ ни одной подробности, которая бы минула меня, которая въ свое время не причинила бы мнѣ боли...“

Можно привести массу подобныхъ выписокъ, но это совершенно напрасно. Дѣло ясно само по себѣ, и смѣшно даже сомнѣваться въ томъ, что впечатлѣнія дореформенной эпохи были, вѣроятно, самыми сильными въ жизни Щедрина: великолѣпная эпопея крѣпостного быта —„Пошехонская старина“—создана имъ на склонѣ дней, а „Господа Головлевы“ написаны въ теченіе 1872—1876 гг., т.-е. 11—15 лѣтъ послѣ реформы... Создавая рабовъ, холоповъ и хамовъ, общую атмосферу лести, подхалимства, жестокости и напуганности, поддерживаемой вѣчной пыткой, крѣпостное право вырабатывало основной элементъ такихъ страстныхъ натуръ, какъ у Щедрина — негодованіе и тоску о здоровой, человѣчной жизни.

Крѣпостное право не знало людей собственно, а знало господъ и холоповъ. Первые командовали, вторые слушались, и обѣ стороны взаимно и незамѣтно развращали другъ друга. Когда крѣпостное право было уничтожено, оно исчезло только изъ свода законовъ. Жизнь такъ освоилась съ нимъ, ея уклады примѣнились къ нему, оно пустило такіе глубокіе корни во

всѣхъ ея областяхъ и прежде всего въ области нравственности и общественности, что и долгое время спустя можно было видѣть не только „слѣды“ его, но и цѣлый кодексъ морали и общественныхъ отношеній, оставленный имъ на пользованіе и поученіе потомства. Еще Добролюбовъ, говоря о неизбѣжномъ и неминуемомъ паденіи крѣпостного права, строго прибавляетъ, что этимъ задача далеко не исчерпывается, и что всероссійскій гражданинъ отнюдь не имѣетъ полнаго права почить на лаврахъ, что, напротивъ того, ему предстоитъ еще труднѣйшая задача бороться съ послѣдствіями крѣпостничества, не только забравшагося во всѣ щели, но и растворившагося, такъ сказать, въ атмосферѣ общественной жизни. Задача была огромная и, чтобы выполнить ее, нужны были огромныя силы. Щедринъ взялся за нее, начиная съ „Губернскихъ очерковъ“.

Въ основѣ этого духовнаго рабства и всепоглощающаго самосохраненія лежитъ трусость. Ей въ чистомъ ея видѣ Щедринъ посвятилъ двѣ превосходныхъ сказки: „Премудрый пескарь“ и „Самоотверженный заяцъ“, слишкомъ извѣстныя, чтобы на нихъ останавливаться, и вообще его сочиненія—это галлерея рабовъ, при чемъ обыкновенно рабами оказываются и тѣ, кто считаетъ себя за господъ. Разное рабство и разнообразное. Рабство прямое, юридическое, какъ крѣпостныя отношенія; рабство духа, съ дѣтства запуганнаго; рабство въ видѣ матеріальной зависимости; рабство подчиненныхъ въ отношеніи къ начальникамъ. „Бѣдная страна эта Россія: ее надо жалѣть“, говоритъ Щедринъ; бѣдная, потому что страна рабовъ...

Премудрые пескари, самоотверженные зайцы, гордыя помѣщицы, какъ Арина Петровна, Іудушка — все это не люди, способные воспринять „истину, добро и красоту“ *жизни*, а лишь получеловѣка, четверть человѣка,

вообще какія-то дроби людей. Одни запуганы, какъ премудрый пескарь, и страхъ выѣлъ ихъ душу, у другихъ холопство стало второй натурой и преобразилось въ беззавѣтную преданность, у третьихъ умерло все, кромѣ злобной наклонности къ пакостничеству и негодяйству. „Господи, да куда же настоящіе-то люди попрятались?"—съ ужасомъ спрашиваетъ себя художникъ, и снова беретъ въ руки свой діогеновскій фонарь и днемъ съ огнемъ ищетъ человѣка. Но кукольныхъ дѣлъ мастеръ Изувѣровъ объясняетъ ему, что человѣка нѣтъ. „Взглянешь, — говоритъ онъ, — кругомъ—все-то куклы, вездѣ-то куклы. Не есть конца этимъ кукламъ. Мучатъ, тиранятъ, въ отчаянность, въ преступленіе вводятъ. Вѣрите ли, иногда думается: Господи, кабы не куклы, вѣдь десятой бы доли злыхъ дѣлъ не было противъ того, что теперь есть".

Въ тоску привелъ Изувѣровъ Щедрина, показывая ему своихъ деревянныхъ людишекъ: слишкомъ близки они къ жизни, чтобы отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что настоящая фабрика ихъ тамъ, въ этой путанной сѣти человѣческихъ отношеній, себялюбивыхъ и недовѣрчивыхъ, гдѣ человѣкъ человѣку врагъ, гдѣ гибель одного вызываетъ торжество другого, а торжество другого — зависть третьяго и желаніе видѣть гибель удачника...

Куклы—порожденіе столько же дореформеннаго, сколько и пореформеннаго времени, когда процессъ обездушиванія человѣка происходитъ не сразу, а постепенно и систематически, путемъ непрестаннаго воздѣйствія мелочей жизни. Въ добрые старые дни обрядъ оглушенія производился болѣе энергично, сразу: самый фактъ рожденія въ курной избѣ или барскихъ хоромахъ предопредѣлялъ судьбу человѣка отъ колыбели до могилы.

Кромѣ того, въ распоряженіи бурмистровъ и другихъ начальствующихъ лицъ находились сильно дѣйствую-

щія средства, быстро приводившія къ общему знаменателю забывшагося человѣка. Экономическая зависимость—тоже рабство, но дѣйствуетъ не казацкими набѣгами, не неожиданными натисками, а гораздо деликатнѣе, хотя результаты, въ концѣ концовъ, тѣ же самые, да и жизнь, въ сущности говоря, та же самая,—проходящая въ вѣчномъ страхѣ передъ завтрашнимъ днемъ, въ вѣчномъ трепетѣ за свое существованіе. Быть-можетъ, горечь такой зависимости усиливается еще близкимъ къ иллюзіи сознаніемъ, что, по дѣйствующимъ законамъ, циркулярамъ и постановленіямъ, возможность добиться довольства и, такъ сказать, „матеріальной" свободы предоставлена рѣшительно каждому. Могій вмѣстити пусть вмѣститъ, говорятъ эти законы, циркуляры и постановленія человѣку, лукаво подмигивая въ сторону счастливцевъ и удачниковъ. Правда, нѣсколько напряженныхъ попытокъ быстро убѣждаютъ любого изъ нетерпѣливыхъ, что довольство и обезпеченность—удѣлъ лишь очень и очень немногихъ, и онъ всѣ свои вожделѣнія сводитъ къ скромной формулѣ: „хоть бы какъ-нибудь свести концы съ концами"; но это дѣло очень затруднительно: скудный кусокъ достается лишь подъ условіемъ постояннаго страха утерять его. Этотъ-то страхъ гораздо болѣе, чѣмъ самый трудъ, и есть то иго, которое несетъ современное человѣчество подъ разными широтами, на разныхъ меридіанахъ, представляющее изъ себя паскудное зрѣлище твари дрожащей. Эту грандіозную картину оскудѣнія духа, полнаго забвенія имъ не только уже божественнаго, но и просто человѣческаго своего существованія, сатирикъ изобразилъ въ одной изъ лучшихъ и позднихъ своихъ вещей, названной имъ „Мелочами жизни"...

И вдругъ просыпается душа и, среди окутавшей все существо человѣческое тьмы мелочей, властно и не-

умолимо раздается ея голосъ: „что ты дѣлалъ? зачѣмъ жилъ?.. Много ухищреній изобрѣтено человѣкомъ, чтобы не слышать этого призыва къ покаянію и раскаянію, но все же, рано или поздно, долженъ наступить этотъ страшный моментъ, и „человѣческое“ предъявитъ свои права.

На этой простой мысли Щедринъ строилъ свои драмы. „Господа Головлевы“ кончаются тѣмъ, что даже Іудушка задаетъ себѣ страшный вопросъ, зачѣмъ онъ жилъ и зачѣмъ кровопійствовалъ. Герой эпопеи „Въ средѣ умѣренности и аккуратности“, Молчалинъ въ ужасѣ видитъ, какъ почва уходитъ у него изъ-подъ ногъ, какъ онъ послѣ катастрофы съ сыномъ покатится въ какую-то зіяющую пропасть, и отъ всей его жизни, усилій, кровопійства, человѣконенавистничества не останется ничего, кромѣ отчаянія и мрака.

Щедринъ вѣрилъ въ человѣка, вѣрилъ въ то, что въ основѣ нашей жизни и нашей природы лежатъ всемогущія нравственныя силы, совершенно устранить которыя изъ своего бытія человѣкъ не въ состояніи. Только давая просторъ этимъ именно силамъ, не заслоняя ихъ ни мелочами ни ложью, можно разсчитывать на истинное счастье. Иначе вся жизнь окажется не только суетой суетъ, но и грѣхомъ. Правда, иначе грѣшитъ покорный рабъ Черезовъ, чѣмъ злодѣй Іудушка, иначе губитъ людей бездушная кукла, чѣмъ кровожадный волкъ, но и здѣсь и тамъ все грѣхъ, грѣхъ и грѣхъ. Это точка зрѣнія моралиста? Да, конечно, и, какъ художникъ, Щедринъ обыкновенно стоялъ на ней. Мало того, онъ былъ проникнутъ ею и постигалъ ее во всей ея глубинѣ. Высшимъ верховнымъ судьею человѣка онъ признавалъ его собственную совѣсть, которая надъ собой не знаетъ уже никакого судьи. Ей отмщеніе, и она воздастъ... а мы можемъ только вѣрить въ необходимое торжество этого

верховнаго начала. Только поэтому Щедринъ примирилъ насъ съ Іудушкой и съ кровожаднымъ волкомъ, который, замученной совѣстью, самъ, учуявъ облаву, спокойно вышелъ навстрѣчу охотникамъ со словами: „вотъ она смерть-избавительница". И кто же броситъ камень въ лежащій невдалекѣ отъ погоста холодный трупъ Іудушки или въ этого волка, почти — героя? „Будьте людьми, не давайте мелочамъ жизни заполнить духа своего, не давайте злодѣйству загрязнить его"—вотъ завѣтъ Щедрина... Но что же дѣлаетъ изъ человѣка Іудушку, куклу, Молчалина, кровопійцу, служителя формальной и жестокой правды? Что заставляетъ людей радоваться горю ближнихъ, издѣваться надъ ними, бить лежачаго? Какъ въ „Запутанномъ дѣлѣ", такъ и вообще во всѣхъ своихъ произведеніяхъ Щедринъ давалъ на это одинъ отвѣтъ: причина такого униженія человѣка кроется въ общественныхъ условіяхъ. Они-то создаютъ изъ человѣка раба. А рабъ есть рабъ. Онъ не можетъ быть правдивъ и честенъ, смѣлость и порывъ недоступны ему, онъ выросъ въ затхлой атмосферѣ обиды и униженія и умѣетъ только обижать и унижать. Жизнь сдѣлала его бездушнымъ, его счастье и спасеніе только въ этомъ бездушіи, и самое страшное, самое трагическое — это пробужденіе въ рабѣ человѣка...

Е. Соловьевъ.

Разносторонность таланта Салтыкова *).

Сатирическіе очерки Щедрина „Пошехонская старина", „Жизнь и приключенія Никанора Затрапезнаго" представляютъ собою новое доказательство необыкновенной разносторонности таланта знаменитаго русскаго сатирика. Помнится, въ концѣ шестидесятыхъ или въ началѣ семидесятыхъ годовъ, по поводу сатиръ Щедрина, появилась статья, озаглавленная словами: „Свѣжая струя въ русской литературѣ". Съ тѣхъ поръ прошли долгіе годы, и въ теченіе этихъ долгихъ лѣтъ почти каждое новое произведеніе знаменитаго сатирика вносило новую, все новую струю. Несказанно было почти удивленіе многихъ, когда появилась въ печати знаменитая исторія „Господъ Головлевыхъ", съ точно изъ бронзы вылитою статуею Іудушки,—исторія, столь несходная по манерѣ изложенія съ предшествовавшими произведеніями ея автора. И тогда говорилось, что Щедринъ—истинный художникъ, не укладывающійся въ рамки опредѣленія „сатирика", что Іудушка Головлевъ—изумительный художественно-созданный типъ, который одинъ способенъ былъ бы дать автору мѣсто и вѣчное значеніе въ русской литературѣ, если бы Щедринъ больше ничего въ своей жизни не написалъ. Появленіе „Сказокъ" вновь дало поводъ къ толкамъ о

*) *А. И. Введенскій.* Литературныя характеристики. Спб. 1903.

томъ, что знаменитый сатирикъ обнаруживаетъ все новыя и новыя стороны таланта, которому остается присущею вся свѣжесть и сила молодости. И враги и недруги автора, наравнѣ съ друзьями и поклонниками его, единогласно признали за „Сказками“ столь большое значеніе, что сравнивали ихъ съ вѣчно знаменитыми произведеніями Свифта. Проходятъ новые годы, а новыя произведенія Щедрина вновь вызываютъ представленіе о еще нетронутыхъ силахъ авторскаго вдохновенія, способныхъ дать оригинальнѣйшія произведенія, которыхъ ни формы ни содержанія предугадать невозможно.

„Пошехонская старина“ принадлежитъ именно къ такимъ произведеніямъ автора, которыя, при всей своей связи съ предшествовавшими, вмѣстѣ съ тѣмъ отличаются оригинальнѣйшими сторонами и особенностями. Между сатирами, написанными Щедринымъ, есть и такія, которыя бичуютъ исключительно смѣхомъ, и такія, которыя налагаютъ клеймо позора; есть и чисто лирическіе негодующіе порывы, и слезы даже не сквозь смѣхъ, и смѣхъ совсѣмъ не сквозь слезы; есть сатиры, запечатлѣнныя такою субъективностью, что автора невозможно бы, кажется, и представить себѣ съ большей или меньшей объективностью описывающаго явленія окружающей жизни. А между тѣмъ „Пошехонская старина“ съ перваго же взгляда поражаетъ такимъ почти объективнымъ описаніемъ ушедшаго въ вѣчность помѣщичьяго быта, что это описаніе возможно сопоставлять съ картиной помѣщичьей жизни въ „Снѣ Обломова“ Гончарова,—писателя, какъ извѣстно, зачисляемаго въ разрядъ по преимуществу объективныхъ.

Въ первыхъ главахъ „Пошехонской старины“ Щедринъ рисуетъ важнѣйшія стороны семейной жизни нашего, еще далеко не давнопрошедшаго времени. Полны

и рѣзки эти характеристики, авторъ дѣлаетъ ихъ не съ тѣмъ спокойствіемъ, съ которымъ онѣ сдѣланы, напримѣръ, въ „Снѣ Обломова", а съ сдержаннымъ негодованіемъ. Изображая бытъ, создавшійся на почвѣ крѣпостного права, авторъ говоритъ: „Съ недоумѣніемъ спрашиваешь себя: какъ могли жить люди, не имѣя ни въ настоящемъ ни въ будущемъ иныхъ воспоминаній и перспективъ, кромѣ мучительнаго безправія, безконечныхъ терзаній поруганнаго и ниоткуда не защищеннаго существованія? и, къ удивленію, отвѣчаешь: однако жъ жили! И что всего удивительнѣе, объ руку съ этимъ сплошнымъ мучительствомъ шло и такъ называемое пошехонское „раздолье", къ которому и понынѣ не безъ тихой грусти обращаютъ свои взоры старички". Но, характеризуя такъ прошлое, авторъ не преминулъ замѣтить, что хотя крѣпостное право и снесли на погостъ, но что на могилѣ для нашихъ временъ „выросло нѣчто—не особенно важное". „Ибо,—говоритъ авторъ,—хотя старая злоба дня и исчезла, но нѣкоторые признаки убѣждаютъ, что, издыхая, она отравила своимъ ядомъ новую злобу дня, и что, несмотря на измѣнившіяся формы общественныхъ отношеній, сущность ихъ остается нетронутою".

Но—Боже мой!—какія печальныя картины жизни встаютъ передъ читателемъ въ изображеніи этого прошлаго, отравившаго своимъ ядомъ и настоящее. Даже чисто физическое воспитаніе, кормленіе, вошедшее въ славу задолго до олицетворенія настоящей русской дворянской маменьки въ госпожѣ Простаковой,—даже физическое воспитаніе, какъ оно изображается авторомъ, должно было дѣйствовать убивающимъ образомъ на развитіе и физическое и нравственное. Описаніе выходитъ до такой степени поражающе, что самъ же авторъ предвидитъ возможность, естественность возраженія. „Но вы описываете не дѣйствительность, а ка-

кой-то вымышленный адъ!—могутъ сказать мнѣ (говоритъ авторъ). Что описываемое мною похоже на адъ—объ этомъ я не спорю; но въ то же время утверждаю, что этотъ адъ не вымышленъ мною. Это „пошехонская старина"—и ничего больше. И, воспроизводя ее, я могу, положа руку на сердце, подписаться: съ подлиннымъ вѣрно".

Картины воспитанія „нравственнаго" производятъ еще болѣе удручающее впечатлѣніе. Семейная разладица, раздѣленіе дѣтей на любимыхъ и постылыхъ, раннія мечты дѣтей о томъ, кому что останется отъ маменьки,—все это въ зловѣщихъ очертаніяхъ проходитъ передъ читателемъ. И невольно встаетъ передъ нимъ вопросъ: да какъ же въ самомъ дѣлѣ возможно жить, не имѣя въ воспоминаніяхъ даже о дѣтствѣ, объ этой наиболѣе безгрѣшной и чистой порѣ существованія, ничего, кромѣ ужасовъ безчеловѣчія? Неужели же, наконецъ, мать-природа, чувство которой прирождено человѣку, не смягчала, не скрашивала этихъ гнетущихъ впечатлѣній? Но сатирикъ предусмотрѣлъ и этотъ вопросъ; и вотъ что онъ пишетъ о вліяніи на душу ребенка природы въ „Пошехонской старинѣ". „Бываютъ счастливыя дѣти,—говоритъ онъ,—которыя съ пеленокъ ощущаютъ на себѣ прикосновеніе тѣхъ безконечно разнообразныхъ сокровищъ, которыя мать-природа на всякомъ мѣстѣ расточаетъ передъ каждымъ, имѣющимъ очи, чтобы видѣть, и уши, чтобы слышать... Что касается до насъ, то мы знакомились съ природой случайно и урывками,—только во время переѣздовъ на долгихъ въ Москву или изъ одного имѣнія въ другое. Остальное время все кругомъ насъ было темно и безмолвно"... И это дѣйствительно ужасное, ненормальное и бѣдное впечатлѣніями существованіе авторъ признаетъ типическимъ общимъ для „пошехонской старины".

Въ примѣчаніи къ самому началу очерковъ онъ го-

воритъ: „Прошу читателя не принимать Пошехонья буквально. Я разумѣю подъ этимъ названіемъ вообще мѣстность, аборигены которой, по мѣткому выраженію русскихъ присловій, въ трехъ соснахъ заблудиться способны. Прошу также не смѣшивать мою личность съ личностью Затрапезнаго, отъ имени котораго ведется разсказъ,—автобіографическаго элемента въ моемъ настоящемъ трудѣ очень мало; онъ представляетъ собой просто-напросто сводъ жизненныхъ наблюденій, гдѣ чужое перемѣшано съ своимъ, а въ то же время дано мѣсто и вымыслу". Это примѣчаніе даетъ опредѣленныя границы для времени и мѣста пошехонской старины; и тѣмъ не менѣе, такъ какъ Пошехонье сатирика есть отраженіе дѣлъ и порядковъ прошлаго, общихъ для всѣхъ мѣстъ нашей родины, такъ какъ повсюду въ ней, въ большей или меньшей степени, примѣнялись пошехонскіе уставы и обычаи, то и характеристики автора, характеристики сатирическія, т.-е. имѣющія въ виду отрицательныя стороны жизни, примѣнимы также повсюду, но въ большей или меньшей степени. И тамъ, гдѣ кичились своимъ европейскимъ просвѣщеніемъ, гдѣ-нибудь въ домѣ Ласунской (въ „Рудинѣ" Тургенева), торжествовало все то же Пошехонье, лишь подъ другой окраской.

„Пошехонская старина", эта послѣдняя „сатира" Щедрина, въ сущности не представляетъ собою того, что разумѣется подъ словомъ „сатира". Авторъ не глазами сатирика смотритъ на явленія быта, изображаемаго имъ, и это тѣмъ болѣе понятно и законно, что бытъ этотъ, если и оставилъ еще въ наслѣдство нашему времени нѣчто, то во всякомъ случаѣ принадлежитъ невозвратному прошлому. Не глазами сатирика смотритъ онъ, и во всемъ его произведеніи разлитъ тотъ юморъ, что поистинѣ представляетъ собою „незримыя слезы", то чувство глубокаго сожалѣнія къ попранію въ человѣкѣ

образа и подобія Божія, которое исключаетъ одностороннее обличеніе и дѣлаетъ изображеніе жизни многостороннѣе и объективнѣе.

Въ огромной картинѣ, нарисованной авторомъ, передъ нами униженные и унижающіе, оскорбленные и оскорбляющіе, лишенные права на человѣческое существованіе и вооруженные не только правомъ, но и произволомъ; но любопытно то обстоятельство, что счастливыхъ, истинно человѣчески живущихъ и чувствующихъ нѣтъ между тѣми и другими,—и это глубоко вѣрно. Крѣпостническій произволъ одинаково гнетомъ ложился, долженъ былъ ложиться какъ на угнетаемыхъ, такъ и на угнетающихъ, потому что разъ сила являлась рѣшающимъ моментомъ въ жизни, вытѣсняя право, то на каждаго сильнаго находились еще болѣе сильные, и возникала круговая порука насилія и произвола. Знаменитый „сатирикъ“ ставитъ передъ нами цѣлый безбрежный океанъ безсмысленнаго несчастія, обыкновенно не сознаваемаго, но несомнѣннаго. Какая жалкая роль достается на долю, напр., теткамъ Затрапезнаго, когда онѣ, послѣ гнета на мать его, въ свою очередь попадаютъ подъ ея гнетъ; какъ удивительно мучительны для всѣхъ участниковъ эти интриги и борьба изъ-за ожидаемаго наслѣдства, которое, однако, проходитъ мимо всѣхъ рукъ, протягивающихся къ нему. Картину жизни, нарисованную авторомъ, можно назвать картиною добровольнаго самомученія людей, жертвъ предразсудковъ и дикихъ понятій, рядомъ съ мученіемъ другъ друга. И потому, повторяемъ, напрасно было бы искать въ послѣдней сатирѣ Щедрина какое-нибудь обличеніе; въ ней—скорбное чувство, вызванное въ авторѣ воспоминаніями о печальномъ складѣ жизни, приносившемъ столько несчастія людямъ, такъ развращающе дѣйствовавшемъ на нихъ.

А. Введенскій.

Трагическій элементъ въ сатирахъ Салтыкова*).

Въ первые два періода дѣятельности Салтыкова **) смѣхъ преобладалъ въ его сатирахъ надъ слезами. Съ одной стороны время, крайне оживленное, располагало болѣе къ смѣху, чѣмъ къ плачу. Съ другой стороны и сатирикъ былъ моложе. Понятно, что чѣмъ долѣе живетъ человѣкъ, глубже всматривается въ жизнь и болѣе выноситъ изъ нея горькихъ опытовъ, тѣмъ болѣе является у него наклонности къ трагизму. Поэтому и у Салтыкова въ позднѣйшихъ сатирахъ, относящихся къ семидесятымъ и восьмидесятымъ годамъ, мы видимъ болѣе трагическаго элемента, чѣмъ въ „Губернскихъ очеркахъ“ или „Дневникѣ провинціала“.

Этому соотвѣтствовалъ и характеръ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ. Можно было осмѣивать Прокоповъ, пока они обжирались и проѣдали послѣднія выкупныя свидѣтельства, ташкентцевъ, пока они были болѣе смѣшны, чѣмъ страшны, и Молчалиныхъ, пока разладъ словъ и дѣлъ приводилъ ихъ лишь къ смѣшному искаженію образа и подобія Божія. Но въ семидесятые годы стало уже не до смѣху: мрачные тоны жизни сгустились. Передъ Прокопами, успѣвшими все проѣсть, разверзлись грозныя пропасти. Ташкентцы на-

*) *А. М. Скабичевскій.* Исторія новѣйшей русской литературы. Изд. 2-е, Спб. 1893 Стр. 268.

**) Въ пятидесятые и шестидесятые годы.

чали возбуждать не одинъ смѣхъ, но и ужасъ. Молчалины же познали грозныхъ и нелицепріятныхъ судей въ лицѣ своихъ подросшихъ дѣтей. И вотъ изъподъ пера Салтыкова начали выступать безутѣшныя слезы, появился рядъ очерковъ, въ которыхъ черная, какъ ночь, хандра доходитъ мѣстами до безнадежнаго отчаянія. Это не байроновское разочарованіе, не скептическій пессимизмъ современной французской беллетристики. Салтыковъ никогда не доходилъ до потери вѣры въ человѣческую природу вообще; онъ лишь оплакивалъ печальную судьбу своихъ современниковъ, которые влачили жалкое существованіе, ничѣмъ не отличающееся отъ одиночнаго заключенія въ сыромъ, вонючемъ подвалѣ, и, куда ни обертывались, всюду находили подъ ногами разверзавшіяся бездны, грозившія безславною и позорною гибелью. Это не трагизмъ высокихъ, титаническихъ страстей и экстраординарныхъ сцѣпленій враждебныхъ обстоятельствъ, который читатели созерцаютъ съ спокойнымъ духомъ, радуясь за свою участь и соображая, что мало ли чего не бываетъ на свѣтѣ, но они въ своей скромной и незамѣтной жизни, со своею умѣренностью и аккуратностью застрахованы отъ подобныхъ ужасовъ. Салтыковъ раскрываетъ трагическое въ повседневной будничной жизни, сплошь сотканной изъ мелочей и дрязгъ, и читатель съ ужасомъ убѣждается, что никто отъ этого трагическаго не застрахованъ. Такова, напримѣръ, сатира „Похороны“, въ которой раскрывается передъ нами трагизмъ жизни современнаго русскаго писателя. Мало того, что все хватающее васъ за сердце описаніе литературныхъ похоронъ въ цѣломъ исполнено мрачнаго трагизма, — въ рѣдкой фразѣ, взятой въ отдѣльности, не таится особенная трагедія, не раскрываются передъ *вами* надрывающіе душу факты, примелькавшіеся намъ *въ жизни*. Возьмите для примѣра хотя бы такой

фактъ, что хоронили Коршунова „на счетъ семидесяти пяти рублей, которые ассигновалъ литературный фондъ, предварительно, впрочемъ, удостовѣрившись, что покойный пилъ водку только передъ обѣдомъ и „не предаваясь". Обратите вниманіе на хмурое октябрьское небо, на горсть провожавшихъ сотрудниковъ, которымъ „всѣмъ было не по себѣ, всѣ шли понуривши голову, какъ будто каждый думалъ: вотъ скоро надорвусь и я... да и надъ чѣмъ надорвусь!"

„Чувство безконечной отчужденности и наготы,—читаемъ мы, — овладѣвало всякимъ при взглядѣ на эту бѣдную обстановку. Думалось, что везутъ какого-то отщепенца, до котораго никому „изъ публики" дѣла нѣтъ (а онъ именно для „публики"—то и жилъ и ради „публики" безвременно зачахъ и сошелъ въ могилу). Да и своихъ-то не особенно поражала эта потеря, потому что „свои" ужъ давно освоились съ могилами. Даже больше чѣмъ просто „отщепенство" тутъ видѣлось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердію допущена эта бѣдная церемонія, предметомъ которой служила совершенно особенная и притомъ не вполнѣ безопасная человѣческая разновидность, именуемая русскимъ писателемъ".

А далѣе затѣмъ сколько надрывающаго душу заключается въ мартирологѣ Коршунова. Каждый средней руки писатель увидитъ здѣсь свою собственную жизнь и вслѣдъ съ безсмертнымъ сатирикомъ воскликнетъ въ горькомъ отчаяніи: „Читатель, русскій читатель! Защити!.."

Не менѣе трагиченъ разсказъ „Дворянская хандра", въ которомъ мы имѣемъ дѣло съ трагедіей современнаго интеллигентнаго культурнаго человѣка. Всю жизнь онъ питался надеждами и всюду „совался".

„Къ чему я не примазывался!—говоритъ онъ,—въ какомъ „хорошемъ" дѣлѣ не предлагалъ своихъ услугъ.

Всѣ тогдашніе вопросы были моими личными кровными вопросами!.. Наконецъ, однако, мы надоѣли. Года два сряду мы любовались другъ другомъ, на третій — любоваться было уже нечѣмъ. Мы весь свой багажъ разбросали разомъ и ничего не сумѣли подобрать, такъ что очутились совсѣмъ съ пустыми руками. Все измѣнилось кругомъ насъ: спросъ на наши услуги вдругъ понизился до минимума, снисходительныя улыбки превратились въ откровенно-кислосладкія; одни мы не измѣнились и продолжали высказывать назойливѣйшую готовность итти въ огонь и въ воду. Тогда, чтобы отдѣлаться отъ насъ, потребовалось употребить насильство... Что было потомъ, лучше не вспоминать... замѣна вчерашняго лихорадочнаго „сованія“ сегодняшнимъ оцѣпенѣніемъ, это—болѣе нежели неожиданность: это полный переворотъ. Нить жизни порвана, привычки нарушены, всѣ планы, стремленія, все, чѣмъ жилъ человѣкъ,—все разомъ упразднено. Сколько могучаго презрѣнія долженъ почувствовать человѣкъ къ самому себѣ въ минуту совершенія этого переворота. Вѣдь онъ все тотъ же: дѣятельный, преданный, одушевленный, и вдругъ... За что?.. за что? поймите, какая масса безпомощности, самоуничиженія, напрасныхъ укоровъ, безсильнаго ропота слышится въ одномъ этомъ вопросѣ!..“

И вотъ культурному человѣку осталось лишь возвратиться въ дѣдовскую усадьбу и поселиться въ ней навсегда, но не затѣмъ, чтобы просвѣщать, распространять здравыя понятія о платежѣ недоимокъ или хозяйничать, — просто чувствовалась потребность заживо имѣть гробъ. И современная усадьба своимъ разрушеніемъ, заброшенностью и безжизненнымъ уединеніемъ вполнѣ соотвѣтствовала понятію о гробѣ.

Замуравливаніе себя заживо въ гробъ интеллигентнымъ культурнымъ человѣкомъ, познавшимъ свою не-

нужность въ жизни, и составляетъ содержаніе поистинѣ гробового разсказа. Всего ужаснѣе здѣсь та пропасть, которая отдѣляетъ подобнаго живого мертвеца отъ крестьянъ, окружающихъ гробъ его.

„Я изнываю отъ тоски,—говоритъ онъ,—отъ неудовлетворенной жажды поступковъ, наконецъ отъ стыда, а мужикъ думаетъ: „вотъ оно хорошее-то житье!“ и думаетъ правильно, потому что его-то собственное житье ужъ таково, что даже суздальскимъ богомазамъ,—этимъ присяжнымъ изобразителямъ адскихъ мученій,—и тѣмъ не найти красокъ, чтобы достойнымъ образомъ воспроизвести это житье! Собственно говоря, только это вѣчно-присущее сравненіе между его гробомъ и моимъ и напоминаетъ ему обо мнѣ. Во всемъ остальномъ—ему до меня нѣтъ дѣла. Ни совѣтовъ ему моихъ не нужно ни сочувствія. Въ томъ дѣлѣ, которое сопровождаетъ его жизненную агонію, я никакихъ поученій дать ему не могу, да и онъ самъ эти поученія встрѣтитъ съ нетерпѣніемъ, скажетъ: „уйди! не мѣшай!“ Онъ не приметъ его за иронію только потому, что вообще ничего непрямого, иносказательнаго не разумѣетъ, а просто-напросто подумаетъ, что мое сочувствіе есть обыкновенное интеллигентное „сованіе“, только на этотъ разъ ужъ совсѣмъ неумѣстно примѣненное. „И безъ тебя тошно—а ты лѣзешь!“ Да, лучше ужъ не „соваться и сидѣть смирно въ своемъ собственномъ гробу и потихоньку умирать!“

Развѣ это не самая ужасная трагедія, присущая массѣ интеллигентныхъ, культурныхъ людей? „Лишніе люди“—это вѣчная болячка русской жизни.

А вотъ вамъ и чиновничья трагедія въ разсказѣ „Больное мѣсто“. Старикъ Разумовъ, чиновникъ средней руки, всю жизнь теръ трудовую лямку, наконецъ вышелъ въ отставку съ хорошей пенсіей и чиномъ тайнаго совѣтника, но не совсѣмъ по своей охотѣ: его

сковырнулъ съ мѣста новый начальникъ Губошлеповъ безъ всякаго повода, просто такъ, чтобы показать, что онъ человѣкъ „системы“. Разумовъ вернулся на родину, купилъ домикъ на Прохожей улицѣ, устроплъ, ухитилъ себѣ гнѣздо на славу и думалъ: „Вотъ теперь-то начнется настоящій спокой!“ И дѣйствительно, „спокой“ начался, но не совсѣмъ тотъ, на который разсчитывалъ Разумовъ. Начался „спокой“ одиночнаго заключенія, подавляющій, преисполненный безразсвѣтной мглы, тотъ „спокой“, который, однажды захвативъ человѣка, окружаетъ его непроницаемой стѣной, безъ дверей, безъ оконъ. Сидитъ человѣкъ за этой стѣной и ни о чемъ другомъ не мыслитъ, какъ лишь о томъ, что и въ немъ самомъ и внѣ его все кончилось...

Но главная трагедія въ жизни Разумова заключается въ сынѣ Степанѣ, котораго онъ любилъ, лелѣялъ и тщательно воспитывалъ, потому что въ немъ видѣлъ единственную радость и счастье своей жизни. И вдругъ въ этомъ сынѣ ему пришлось найти грознаго судію всего его служебнаго поприща. Онъ былъ вполнѣ увѣренъ, что онъ „мухи не обидѣлъ“ въ продолженіе всей своей службы и всегда дѣлалъ „дѣло“ по сущей совѣсти“. Но въ массѣ „клочковъ“, которые ежедневно перебиралъ Разумовъ, было достаточно такихъ, которые для однихъ оканчивались нравственной обидой, для другихъ—матеріальными ущербами. Конечно, эти ущербы и обиды въ мнѣніи Разумова прикрывались представленіемъ о „высшемъ интересѣ“ („такъ быть должно“), но бѣда состояла въ томъ, что онъ принималъ это представленіе на вѣру и даже не пытался анализировать его составныя части. Едва ли, впрочемъ, слова эти значили что-нибудь больше простого „приказанія“.

Это раздвоеніе официальнаго и частнаго человѣка не обошлось даромъ Разумову. Оно привело сына его Степу

къ тому, что въ одинъ прекрасный день передъ юношей встала слѣдующая дилемма: прервать или съ своими кровными убѣжденіями, или съ отцомъ. Но любовь отца, ласки, которыя онъ всю жизнь разсыпалъ передъ сыномъ, его отеческія заботы и попеченія объ единственномъ дѣтищѣ,—все это дѣлало разрывъ слишкомъ жестокимъ и невозможнымъ. И чтобы вырваться изъ этого лабиринта, Степѣ открылась одна дорога: самоубійство.

Такимъ образомъ здѣсь мы видимъ уже не такую безкровную трагедію, какъ предыдущія, а настоящую, кровавую. Передъ нами раскрывается одно изъ тѣхъ многочисленныхъ юныхъ самоубійствъ, которыя въ продолженіе послѣднихъ 20 лѣтъ составляли самое заурядное явленіе жизни, и когда читаете вы эту трагедію, вамъ не до смѣха.

Мы указали лишь на три наиболѣе рѣзкіе образца трагическаго элемента въ сатирахъ Салтыкова. Но ими не исчерпывается проявленіе этого элемента, и читатель самъ безъ труда въ обиліи найдетъ ихъ въ произведеніяхъ двадцати послѣднихъ лѣтъ Салтыкова.

А. Скабичевскій.

Сатиры Салтыкова въ связи съ развитіемъ русской жизни *).

Двадцать лѣтъ сряду всѣ крупныя явленія русской общественной жизни встрѣчали отголосокъ въ сатирѣ Салтыкова, иногда предугадывавшей ихъ въ зародышѣ. Это—своего рода историческій документъ, доходящій мѣстами до полнаго сочетанія реальной и художественной правды. Занимаетъ свой постъ Салтыковъ въ то время, когда завершился главный циклъ „великихъ реформъ“ и, говоря словами Некрасова, „рановременныя мѣры“ (рановременныя, конечно, только съ точки зрѣнія ихъ противниковъ) „теряли должные размѣры и съ трескомъ пятились назадъ“. Осуществленіе реформъ, за однимъ лишь исключеніемъ, попало въ руки людей, имъ враждебныхъ. Въ обществѣ все рѣзче заявляли себя обычные результаты реакціи и застоя: мельчали учрежденія, мельчали люди, усиливался духъ хищенія и наживы, всплывало наверхъ все легковѣсное и пустое. При такихъ условіяхъ, для писателя съ дарованіемъ, Салтыкову трудно было воздержаться отъ сатиры. Орудіемъ борьбы становится, въ его рукахъ, даже экскурсія въ прошедшее: составляя „Исторію одного города“, онъ имѣетъ въ виду,—какъ видно изъ

*) Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона, полут. 56.
К. Архивъ

письма его къ А. Н. Пыпину, опубликованнаго въ 1889 г.,— исключительно настоящее. „Историческая форма разсказа,—говоритъ онъ,—была для меня удобна потому, что позволяла мнѣ свободнѣе обращаться къ извѣстнымъ явленіямъ жизни... Критикъ долженъ самъ угадать и другимъ внушить, что Парамоша совсѣмъ не Магницкій только, но вмѣстѣ съ тѣмъ и NN. И даже не NN, а всѣ вообще люди извѣстной партіи, и нынѣ не утратившей своей силы". И дѣйствительно, Бородавкинъ („Исторія одного города"), пишущій втихомолку „уставъ о нестѣсненіи градоначальниковъ законами", и помѣщикъ Поскудниковъ („Дневникъ провинціала въ Петербургѣ"), „признающій не безполезнымъ подвергнуть разстрѣлянію всѣхъ несогласно мыслящихъ",—это одного поля ягоды; бичующая ихъ сатира преслѣдуетъ одну и ту же цѣль, все равно, идетъ ли рѣчь о прошедшемъ или о настоящемъ. Все написанное Салтыковымъ въ первой половинѣ семидесятыхъ годовъ даетъ отпоръ, главнымъ образомъ, отчаяннымъ усиліямъ побѣжденныхъ — побѣжденныхъ реформами предыдущаго десятилѣтія—опять завоевать потерянныя позиціи или вознаградить себя, такъ или иначе, за понесенныя утраты. Въ „Письмахъ о провинціи" исторіографы, т.-е. тѣ, которые издавна дѣлали русскую исторію, ведутъ борьбу съ новыми сочинителями; въ „Дневникѣ провинціала" сыплются, какъ изъ рога изобилія, прожекты, выдвигающіе на первый планъ „благонадежныхъ и знающихъ обстоятельства мѣстныхъ землевладѣльцевъ"; въ „Помпадурахъ и Помпадуршахъ" крѣпкоголовые „экзаменуютъ" мировыхъ посредниковъ, признаваемыхъ отщепенцами дворянскаго лагеря. Въ „Господахъ Ташкентцахъ" мы знакомимся съ „просвѣтителями, свободными отъ наукъ", и узнаемъ, что „Ташкентъ есть страна, лежащая всюду, гдѣ бьютъ по зубамъ и гдѣ имѣетъ право гражданственности преданіе о Ма-

карѣ, телятъ не гоняющемъ". „Помпадуры"—это руководители, прошедшіе курсъ административныхъ наукъ у Бореля или у Донона, „ташкентцы" — это исполнители помпадурскихъ приказаній. Не щадитъ Салтыковъ и новыя учрежденія—земство, судъ, адвокатуру,—не щадитъ ихъ именно потому, что требуетъ отъ нихъ многаго и возмущается каждой уступкой, сдѣланной ими „мелочамъ жизни". Отсюда и строгость его къ нѣкоторымъ органамъ печати, занимавшимся, по его выраженію, „пѣнкоснимательствомъ". Въ пылу борьбы Салтыковъ могъ быть несправедливымъ къ отдѣльнымъ лицамъ, корпораціямъ и учрежденіямъ, но только потому, что передъ нимъ всегда носилось высокое представленіе о задачахъ эпохи. Литература, напримѣръ, можетъ быть названа солью русской жизни: что будетъ,—думалъ Салтыковъ,—если соль перестанетъ быть соленою, если къ ограниченіямъ, не зависящимъ отъ литературы, она прибавитъ еще добровольное самоограниченіе?..

Съ усложненіемъ русской жизни, съ появленіемъ новыхъ общественныхъ силъ и видоизмѣненіемъ старыхъ, съ умноженіемъ опасностей, грозящихъ мирному развитію народа, расширяются и рамки творчества Салтыкова. Ко второй половинѣ семидесятыхъ годовъ относится созданіе имъ такихъ типовъ, какъ Деруновъ и Стрѣловъ, Разуваевъ и Колупаевъ. Въ ихъ лицѣ хищничество, съ небывалою до тѣхъ поръ смѣлостью, предъявляетъ свои права на роль „столпа", т.-е. опоры общества, и эти права признаются за нимъ съ разныхъ сторонъ, какъ нѣчто должное (припомнимъ станового пристава Граціанова и собирателя „матеріаловъ" въ „Убѣжищѣ Монрепо"). Мы видимъ побѣдоносный походъ „чумазаго" на „дворянскія усыпальницы", слышимъ допѣваемыя „дворянскія мелодіи", присутствуемъ при гоненіи противъ Аннетовыхъ и Парначевыхъ, заподо-

зрѣнныхъ въ „пущаніи революціи промежду себя“. Еще печальнѣе картины, представляемыя разлагающеюся семьею, непримиримымъ разладомъ между „отцами“ и „дѣтьми“—между кузиной Машенькой и „непочтительнымъ Коронатомъ“, между Молчалинымъ и его Павломъ Алексѣевичемъ, между Разумовымъ и его Степой. „Больное мѣсто“, въ которомъ этотъ разладъ изображенъ съ потрясающимъ драматизмомъ,—одинъ изъ кульминаціонныхъ пунктовъ дарованія Салтыкова. „Хандрящимъ людямъ“, уставшимъ надѣяться и изнывающимъ въ своихъ углахъ, противопоставляются „люди торжествующей современности“, консерваторы въ образѣ либерала (Тебеньковъ) и консерваторы съ національнымъ оттѣнкомъ (Плѣшивцевъ), узкіе государственники, стремящіеся, въ сущности, къ совершенно аналогичнымъ результатамъ, хотя и отправляющіеся одинъ—„съ Офицерской въ столичномъ городѣ Петербургѣ, другой — съ Плющихи въ столичномъ городѣ Москвѣ“. Съ особеннымъ негодованіемъ обрушивается сатирикъ на „литературные клоповники“, избравшіе девизомъ „мыслить не полагается“, цѣлью—порабощеніе народа, средствомъ для достиженія цѣли—оклеветаніе противниковъ. „Торжествующая свинья“, выведенная на сцену въ одной изъ послѣднихъ главъ „За рубежомъ“, не только допрашиваетъ „правду“, но и издѣвается надъ нею, „сыскиваетъ ее своими средствами, гложетъ ее съ громкимъ чавканьемъ“, публично, нимало не стѣсняясь. Въ литературу, съ другой стороны, вторгается улица, „съ ея безсвязнымъ галдѣньемъ, низменною несложностью требованій, дикостью идеаловъ“,—улица, служащая главнымъ очагомъ „шкурныхъ инстинктовъ“. Нѣсколько позже наступаетъ пора „лганья“ и тѣсно связанныхъ съ нимъ „извѣщеній“. Властителемъ думъ является „негодяй, порожденный нравственною и умственною мутью, воспитанный и

карѣ, телятъ не гоняющемъ". „Помпадуры"—это руководители, прошедшіе курсъ административныхъ наукъ у Бореля или у Донона, „ташкентцы" — это исполнители помпадурскихъ приказаній. Не щадитъ Салтыковъ и новыя учрежденія—земство, судъ, адвокатуру,—не щадитъ ихъ именно потому, что требуетъ отъ нихъ многаго и возмущается каждой уступкой, сдѣланной ими „мелочамъ жизни". Отсюда и строгость его къ нѣкоторымъ органамъ печати, занимавшимся, по его выраженію, „пѣнкоснимательствомъ". Въ пылу борьбы Салтыковъ могъ быть несправедливымъ къ отдѣльнымъ лицамъ, корпораціямъ и учрежденіямъ, но только потому, что передъ нимъ всегда носилось высокое представленіе о задачахъ эпохи. Литература, напримѣръ, можетъ быть названа солью русской жизни: что будетъ,—думалъ Салтыковъ,—если соль перестанетъ быть соленою, если къ ограниченіямъ, не зависящимъ отъ литературы, она прибавитъ еще добровольное самоограниченіе?..

Съ усложненіемъ русской жизни, съ появленіемъ новыхъ общественныхъ силъ и видоизмѣненіемъ старыхъ, съ умноженіемъ опасностей, грозящихъ мирному развитію народа, расширяются и рамки творчества Салтыкова. Ко второй половинѣ семидесятыхъ годовъ относится созданіе имъ такихъ типовъ, какъ Деруновъ и Стрѣловъ, Разуваевъ и Колупаевъ. Въ ихъ лицѣ хищничество, съ небывалою до тѣхъ поръ смѣлостью, предъявляетъ свои права на роль „столпа", т.-е. опоры общества, и эти права признаются за нимъ съ разныхъ сторонъ, какъ нѣчто должное (припомнимъ станового пристава Граціанова и собирателя „матеріаловъ" въ „Убѣжищѣ Монрепо"). Мы видимъ побѣдоносный походъ „чумазаго" на „дворянскія усыпальницы", слышимъ допѣваемыя „дворянскія мелодіи", присутствуемъ при гоненіи противъ Аннетовыхъ и Парначевыхъ, заподо-

зрѣнныхъ въ „пущаніи революціи промежду себя“. Еще печальнѣе картины, представляемыя разлагающеюся семьею, непримиримымъ разладомъ между „отцами“ и „дѣтьми“—между кузиной Машенькой и „непочтительнымъ Коронатомъ“, между Молчалинымъ и его Павломъ Алексѣевичемъ, между Разумовымъ и его Степой. „Больное мѣсто“, въ которомъ этотъ разладъ изображенъ съ потрясающимъ драматизмомъ,—одинъ изъ кульминаціонныхъ пунктовъ дарованія Салтыкова. „Хандрящимъ людямъ“, уставшимъ надѣяться и изнывающимъ въ своихъ углахъ, противопоставляются „люди торжествующей современности“, консерваторы въ образѣ либерала (Тебеньковъ) и консерваторы съ національнымъ оттѣнкомъ (Плѣшивцевъ), узкіе государственники, стремящіеся, въ сущности, къ совершенно аналогичнымъ результатамъ, хотя и отправляющіеся одинъ—„съ Офицерской въ столичномъ городѣ Петербургѣ, другой — съ Плющихи въ столичномъ городѣ Москвѣ“. Съ особеннымъ негодованіемъ обрушивается сатирикъ на „литературные клоповники“, избравшіе девизомъ „мыслить не полагается“, цѣлью—порабощеніе народа, средствомъ для достиженія цѣли—оклеветаніе противниковъ. „Торжествующая свинья“, выведенная на сцену въ одной изъ послѣднихъ главъ „За рубежомъ“, не только допрашиваетъ „правду“, но и издѣвается надъ нею, „сыскиваетъ ее своими средствами, гложетъ ее съ громкимъ чавканьемъ“, публично, нимало не стѣсняясь. Въ литературу, съ другой стороны, вторгается улица, „съ ея безсвязнымъ галдѣньемъ, низменною несложностью требованій, дикостью идеаловъ“,—улица, служащая главнымъ очагомъ „шкурныхъ инстинктовъ“. Нѣсколько позже наступаетъ пора „лганья“ и тѣсно связанныхъ съ нимъ „извѣщеній“. Властителемъ думъ является „негодяй, порожденный нравственною и умственною мутью, воспитанный и

окрыленный шкурнымъ малодушіемъ". Иногда (напр., въ одномъ изъ „Писемъ къ тетенькѣ") Салтыковъ надѣется на будущее, выражая увѣренность, что русское общество „не поддастся наплыву низкопробнаго озлобленія на все выходящее за предѣлы хлѣвной атмосферы"; иногда имъ овладѣваетъ уныніе, при мысли о тѣхъ „изолированныхъ призывахъ стыда, которые прорывались среди массъ безстыжества—и канули въ вѣчность" (конецъ „Современной идилліи"). Онъ вооружается противъ новой программы: „прочь фразы, пора за дѣло взяться", справедливо находя, что и она—только фраза, и вдобавокъ „истлѣвшая подъ наслоеніями пыли и плѣсени" („Пошехонскіе разсказы"). Удручаемый „мелочами жизни", онъ видитъ въ увеличивающемся ихъ господствѣ опасность тѣмъ болѣе грозную, чѣмъ больше растутъ крупные вопросы: „забываемые, пренебрегаемые, заглушаемые шумомъ и трескомъ будничной суеты, они напрасно стучатся въ дверь, которая не можетъ, однако, вѣчно оставаться для нихъ закрытой". Наблюдая со своей сторожевой башни измѣнчивыя картины настоящаго, Салтыковъ никогда не переставалъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, глядѣть въ неясную даль будущаго. Сказочный элементъ, своеобразный, мало похожій на то, что обыкновенно понимается подъ этимъ именемъ, никогда не былъ совершенно чуждъ произведеніямъ Салтыкова: въ изображенія реальной жизни у него часто врывалось то, что онъ самъ называлъ волшебствомъ. Это—одна изъ тѣхъ формъ, которыя принимала сильно звучавшая въ немъ поэтическая жилка. Въ его сказкахъ, наоборотъ, большую роль играетъ дѣйствительность, не мѣшая лучшимъ изъ нихъ быть настоящими „стихотвореніями въ прозѣ". Таковы „Премудрый пескарь", „Бѣдный волкъ", „Карась-идеалистъ", „Баранъ непомнящій" и въ особенности „Коняга". Идея *и образъ* сливаются здѣсь въ одно нераздѣльное цѣ-

лое: сильнѣйшій эффектъ достигается самыми простыми средствами. Немного найдется въ нашей литературѣ такихъ картинъ русской природы и русской жизни, какія раскинуты въ „Конягѣ". Послѣ Некрасова ни у кого не слышалось такихъ стоновъ душевной муки, вырываемыхъ зрѣлищемъ нескончаемаго труда надъ нескончаемой задачей. Великимъ художникомъ является Салтыковъ и въ „Господахъ Головлевыхъ". Члены Головлевской семьи, этого уродливаго продукта крѣпостной эпохи,—не сумасшедшіе въ полномъ смыслѣ слова, но *поврежденные* совокупнымъ дѣйствіемъ физіологическихъ и общественныхъ условій. Внутренняя жизнь этихъ несчастныхъ, исковерканныхъ людей изображена съ такою рельефностью, какой рѣдко достигаетъ и наша и западно-европейская литература. Это особенно замѣтно при сравненіи картинъ аналогичныхъ по сюжету,—напр., картинъ пьянства у Салтыкова (Степанъ Головлевъ) и у Зола (Купо, въ „Assommoir"). Послѣдняя написана наблюдателемъ-протоколистомъ, первая—психологомъ-художникомъ. У Салтыкова нѣтъ ни клиническихъ терминовъ, ни стенографически записаннаго бреда, ни подробно воспроизведенныхъ галлюцинацій; но съ помощью нѣсколькихъ лучей свѣта, брошенныхъ въ глубокую тьму, передъ нами возстаетъ послѣдняя отчаянная вспышка безплодно погибшей жизни. Въ пьяницѣ, почти дошедшемъ до животнаго отупѣнія, мы узнаемъ человѣка. Еще ярче обрисована Арина Петровна Головлева — и въ этой черствой, скаредной старухѣ Салтыковъ также нашелъ человѣческія черты, внушающія состраданіе. Онъ открываетъ ихъ даже въ самомъ „Іудушкѣ" (Порфиріи Головлевѣ)—этомъ „лицемѣрѣ чисто русскаго пошиба, лишенномъ всякаго нравственнаго мѣрила и не знающемъ иной истины, кромѣ той, которая значится въ азбучныхъ прописяхъ". Никого не любя, ничего не уважая, замѣняя отсут-

ствующее содержаніе жизни массой мелочей, Іудушка могъ быть спокоенъ и по своему счастливъ, пока вокругъ него, не прерываясь ни на минуту, шла придуманная имъ самимъ суматоха. Внезапная ея остановка должна была его разбудить отъ сна наяву, подобно тому, какъ просыпается мельникъ, когда перестаютъ двигаться мельничныя колеса. Однажды очнувшись, Порфирій Головлевъ долженъ былъ почувствовать страшную пустоту, долженъ былъ услышать голоса, заглушавшіеся до тѣхъ поръ шумомъ искусственнаго водоворота. Совѣсть есть и у Іудушекъ; по выраженію Салтыкова, она можетъ быть только „загнана и позабыта“, можетъ только устранить до поры, до времени „ту дѣятельную чуткость, которая обязательно напоминаетъ человѣку объ ея существованіи“. Въ изображеніи кризиса, переживаемаго Іудушкой и ведущаго его къ смерти, нѣтъ поэтому ни одной фальшивой ноты, и вся фигура Іудушки принадлежитъ къ числу самыхъ крупныхъ созданій Салтыкова. Рядомъ съ „Господами Головлевыми“ должна быть поставлена „Пошехонская старина“—удивительно яркая картина тѣхъ основъ, на которыхъ держался общественный строй крѣпостной Россіи. Салтыковъ не примиренъ съ прошедшимъ, но и не озлобленъ противъ него; онъ одинаково избѣгаетъ и розовой и безусловно-черной краски. Ничего не скрашивая и не скрывая, онъ ничего не извращаетъ—и впечатлѣніе получается тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ живѣе чувствуется близость къ истинѣ. Если на всемъ и на всѣхъ лежитъ печать чего-то удручающаго, принижающаго и властителей и подвластныхъ, то вѣдь именно такова и была деревенская дореформенная Россія. Можетъ-быть, гдѣ-нибудь и разыгрывались идилліи въ родѣ той, которую мы видимъ въ „Снѣ Обломова“; но на одну Обломовку сколько приходилось Малиновцевъ и Овсецовыхъ, изображенныхъ Салтыковымъ? Под-

рывая разъ навсегда возможность идеализаціи крѣпостного быта, „Пошехонская старина“ даетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, цѣлую галлерею портретовъ, нарисованныхъ рукою истиннаго художника. Особенно разнообразны типы, взятые Салтыковымъ изъ крѣпостной массы. Смиреніе, напримѣръ, по необходимости было тогда качествомъ весьма распространеннымъ; но пассивное, тупое смиреніе Конона не походитъ ни на мечтательное смиреніе Сатира-скитальца, стоящаго на рубежѣ между юродивымъ и раскольникомъ - протестантомъ, ни на воинственное смиреніе Аннушки, мирящейся съ рабствомъ, но отнюдь не съ рабовладѣльцами. Избавленіе и Сатиръ и Аннушка видятъ только въ смерти—и это значеніе она имѣла тогда для милліоновъ людей. „Пускай вереги рабства“, восклицаетъ Салтыковъ, изображая простую, теплую вѣру простого человѣка, „съ каждымъ часомъ все глубже и глубже впиваются въ его изможденное тѣло—онъ вѣритъ, что злосчастіе его не безсрочно и что наступитъ минута, когда правда осіяетъ его, наравнѣ съ другими алчущими и жаждущими. Да! колдовство рушится, цѣпи рабства падутъ, явится свѣтъ, котораго не побѣдитъ тьма“. Смерть, освободившая его предковъ, „придетъ и къ нему, вѣрующему сыну вѣровавшихъ отцовъ, и, свободному, дастъ крылья, чтобы летѣть въ царство свободы, навстрѣчу свободнымъ отцамъ“. Не менѣе поразительна та страница „Пошехонской старины“, гдѣ Никаноръ Затрапезный, устами котораго на этотъ разъ несомнѣнно говоритъ самъ Салтыковъ, описываетъ дѣйствіе, произведенное на него чтеніемъ евангелія. „Униженные и оскорбленные встали передо мной осіянные свѣтомъ и громко вопіяли противъ прирожденной несправедливости, которая ничего не дала имъ, кромѣ оковъ“. Въ „поруганномъ образѣ раба“ Салтыковъ призналъ образъ человѣка. Протестъ противъ „крѣпостныхъ цѣпей“, вос-

питанный впечатлѣніями дѣтства, съ теченіемъ времени обратился у Салтыкова, какъ и у Некрасова, въ протестъ противъ всякихъ „иныхъ“ цѣпей, „придуманныхъ взамѣнъ крѣпостныхъ“; заступничество за раба перешло въ заступничество за человѣка и гражданина. Негодуя противъ „улицы“ и „толпы“, Салтыковъ никогда не отожествлялъ ихъ съ народной массой и всегда стоялъ на сторонѣ „человѣка, питающагося лебедою“, и „мальчика безъ штановъ“. Основываясь на нѣсколькихъ вкривь и вкось истолкованныхъ отрывкахъ изъ разныхъ сочиненій Салтыкова, его враги старались приписать ему высокомѣрное, презрительное отношеніе къ народу; „Пошехонская старина“ уничтожила возможность подобныхъ обвиненій.

К. Арсеньевъ.

Міровоззрѣніе Салтыкова *).

Міросозерцаніе Салтыкова было очень широкимъ и въ то же время очень опредѣленнымъ. Юность его приходится на сороковые годы, когда въ русской литературѣ образовалось два теченія — западническое и славянофильское. Онъ воспитывался на статьяхъ Бѣлинскаго и, будучи по природѣ русскимъ и оставаясь имъ до самой смерти, примкнулъ навсегда къ западникамъ, т.-е. сталъ желать для отечества того, что на Западѣ было выработано жизнью хорошаго. Примкнулъ онъ однако не къ большинству западниковъ, занимавшемуся популяризированіемъ нѣмецкой философіи, а къ небольшому кружку, прилѣпившемуся къ Франціи, къ Франціи не Гизо и Луи-Филиппа, а къ Франціи Фурье, Сенъ-Симона, Луи-Блана и Жоржъ-Санда. „Оттуда, — говоритъ онъ,—лилась на насъ вѣра въ человѣчество, шло все доброе, любвеобильное и желанное, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ не назади, а впереди насъ“ („За рубежомъ“). Онъ еще въ лицеѣ читалъ этихъ авторовъ и увлекался ими, и когда потомъ въ Вяткѣ собирался писать „Объ идеѣ права“ и біографію Беккаріи, когда писалъ „Краткую исторію

*) *С. Н. Кривенко.* М. Е. Салтыковъ. Его жизнь и литературная дѣятельность. Спб. 1891 г. Стр. 105–107.

Россіи" и ставилъ въ заслугу Іоанну Грозному его борьбу съ боярствомъ на почвѣ мѣстнаго управленія и учрежденіе судныхъ старостъ и цѣловальниковъ, „чтобы лишить областныхъ правителей возможности грабить народъ", когда, участвуя въ служебныхъ командировкахъ, ревизіяхъ и комиссіяхъ, высказывался даже въ офиціальныхъ бумагахъ за свободу личности, экономическое благосостояніе народа, вредъ полицейскаго всевластія и бюрократической централизаціи и стоялъ за необходимость общественнаго контроля и мѣстнаго самоуправленія, то во всемъ этомъ уже сказывались соціально-политическія идеи этихъ писателей, не просто на вѣру взятыя, а продуманныя и согласованныя съ русскою дѣйствительностью. Идеи эти какъ нельзя болѣе гармонировали съ его чисто русскими общинными склонностями. Онъ и въ послѣдніе годы, будучи уже старикомъ, много разъ вспоминалъ въ разговорѣ объ этихъ писателяхъ, хотя съ практической стороной ученій Фурье (напримѣръ, съ устройствомъ фаланстеровъ и т. п.) далеко не былъ согласенъ. Признавая и высоко цѣня общія положенія, всю практическую часть онъ ставилъ въ зависимость отъ времени, развитія и желанія людей и скептически относился къ возможности разъ навсегда придумать формы жизни. Какъ русскій народъ,—выработавъ общинный порядокъ и храня его, какъ главную основу своего быта,—остановился на извѣстномъ разстояніи отъ перехода въ коммунизмъ и отъ поглощенія общиной личности, такъ и онъ—и инстинктивно и путемъ высшаго процесса мысли — также остановился на извѣстномъ разстояніи отъ категорическихъ формъ, которыя могли бы быть придуманы на вѣчныя времена, остановился во имя той же свободы личности, предоставляя ей самой устраиваться въ подробностяхъ.

Истина несомнѣнно здѣсь, въ этой сторонѣ, говорилъ онъ, но можно ли назвать формы жизни, придуманныя хотя бы и великими людьми, окончательными? Прекрасныя, справедливыя и удобныя для данной эпохи, не превратятся ли онѣ въ прокрустово ложе для будущаго? Въ частномъ письмѣ къ одному изъ писателей, отрывокъ изъ котораго приводитъ г. Арсеньевъ въ „Матеріалахъ для біографіи Салтыкова“, онъ говоритъ:

„Мнѣ кажется, что писатель, имѣющій въ виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иныхъ идеаловъ, кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество: А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что касается до практическихъ идеаловъ, то они такъ разнообразны, что останавливаться на этихъ стадіяхъ значитъ добровольно стѣснять себя. Я положительно увѣренъ, что большее или меньшее совершенство этихъ идеаловъ зависитъ отъ большаго или меньшаго усвоенія человѣкомъ тайнъ природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ... Фурье былъ великій мыслитель, а вся прикладная часть его теоріи оказывается болѣе или менѣе несостоятельною, и остаются только неумирающія общія положенія. Это дало мнѣ поводъ задаться болѣе скромною миссіей, а именно, спасти идеалъ свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться къ тѣмъ современнымъ основамъ, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попирается“.

Чѣмъ обстоятельства, въ какихъ приходилось дѣйствовать Салтыкову, были труднѣе, тѣмъ, само собой разумѣется, приходилось дольше стоять на общихъ положеніяхъ, тратить больше силъ и времени на подготовительную работу, „на корчовку старыхъ пней“,

какъ онъ выразился однажды въ разговорѣ съ однимъ изъ сотрудниковъ, и отодвигать положительный идеалъ дальше; но тѣмъ не менѣе онъ никогда не упускалъ его изъ вида, и все его отрицаніе клонилось къ осуществленію и уясненію этого идеала, къ водворенію въ жизнь общихъ положеній, которыя самымъ тѣснымъ образомъ съ нимъ соединялись и входили въ него.

С. Кривенко.

Типы „Губернскихъ очерковъ“ *).

Авторъ взялъ предметомъ своихъ изслѣдованій одну сѣверную губернію, которую называетъ Крутогорской, и представляетъ нѣсколько типовъ изъ всѣхъ званій въ этой губерніи. Посмотримъ прежде всего, какъ онъ изображаетъ крестьянъ этой губерніи. Съ крутогорскими крестьянами знакомимся мы въ невеселомъ мѣстѣ—въ острогѣ. Любопытные типы арестантовъ этого званія выводитъ авторъ въ своихъ очеркахъ. Одинъ изъ мужиковъ убилъ женщину, которую любилъ дикой, необузданной любовью, и которая не хотѣла отвѣчать его любви. Онъ и самъ видитъ, „что у него на душѣ убивство, да вѣдь надо его сообразить, убивство-то, а коли по правдѣ-то разсудить,—говоритъ онъ,—такъ вѣдь истинно я не въ своемъ разумѣ тогда былъ“. И съ этимъ нельзя не согласиться. Предметъ его страсти, далеко не примѣрнаго поведенія, мучитъ бѣднаго крестьянина долго своимъ страннымъ деревенскимъ кокетствомъ. „Хочу—люблю,—говоритъ она,—не хочу—не люблю“, и на основаніи этого вывода безжалостно поддразниваетъ и выводитъ изъ себя неукротимаго парня. Ихъ разговоры, свиданія у колодца набросаны мастерскою кистью; и когда онъ встрѣчаетъ ее слу-

*) „Сынъ Отечества“ 1857 г., №№ 19, 20. Критическая литература о произв. Салтыкова. Вып. I. М. 1905.

чайно въ лѣсу, съ топоромъ за поясомъ, кровавая развязка этой интимной драмы становится неизбѣжна. Правда и естественность видны въ каждомъ словѣ арестанта, который самъ повинился въ преступленіи, самъ добродушно разсказываетъ о немъ, не стараясь запутать дѣло или оправдать себя; онъ понимаетъ вину свою, признаетъ справедливость готовящагося ему наказанія, и больно ему только, что „всякъ тебя убійцей зоветъ, всякъ пальцемъ на тебя указываетъ. Другой сызмалѣтства воръ, всю жизнь по чужимъ карманамъ лазилъ, а и тотъ норовитъ въ глаза тебѣ наплевать: я, дескать, только, воръ, а ты убійца". Въ противоположность этой жертвѣ дикихъ страстей авторъ вывелъ типъ другого, простоватаго, несмышленаго мужика, совершившаго преступленіе для того, чтобы заплатить подать въ волостное правленіе... Сборщикъ требовалъ настоятельно: „Я, говоритъ, тебя нагишомъ въ спѣгъ посажу, доколѣ все до копейки не заплатишь... и посадилъ бы, именно посадилъ". А податей слѣдовало всего рубль семьдесятъ копеекъ, и, какъ нарочно, повезъ бѣдняка дядя Онисимъ до правленія, располагая по дорогѣ купить себѣ полведра водки. Полведро стоило ровно рубль семьдесятъ, и лукавый соблазнилъ мужика: онъ швырнулъ въ дядю Онисима камнемъ, взялъ у него ни больше ни меньше какъ рубль семьдесятъ, и представилъ подать въ волостное правленіе. Третьяго мужика еще болѣе жалко: напротивъ его избы умеръ прохожій, и мужикъ три года просидѣлъ въ острогѣ, пока разбирали дѣло; видѣлъ онъ потомъ, какъ у его сосѣда воръ свелъ со двора корову, донесъ объ этомъ въ полицію, и вотъ бѣдняка держатъ опять нѣсколько лѣтъ въ. острогѣ „по прикосновенности". „Какое же тутъ будетъ хозяйство?" говоритъ бѣднякъ. Исторія о мертвомъ тѣлѣ повторяется съ болѣе тяжелыми подробностями въ разсказѣ Аринушки, въ кото-

ромъ много граціознаго и элегическаго. Бѣдная старуха, больная странница, идетъ во градъ Іерусалимъ, но умираетъ на дорогѣ у мужика, пріютившаго ее на ночь. Боясь становыхъ и розыска, крестьянинъ отвозитъ ночью трупъ за гумна, но объ этомъ узнаютъ, и бѣдняка сажаютъ въ острогъ. И Аринушка и мужикъ, давшій ей пріютъ, обрисованы превосходно. Вообще съ этой стороны на крестьянъ нашихъ рѣдко смотрѣли писатели, избиравшіе предметомъ своимъ простонародный бытъ, и только Григоровичъ въ своемъ „Бобылѣ“ разсказываетъ ту же неутѣшительную исторію о бѣднякѣ, котораго въ холодную осеннюю ночь гонятъ всѣ отъ своихъ избъ, боясь, чтобы больной старикъ не умеръ и не навлекъ на нихъ полицейскаго розыска. Кромѣ этихъ крестьянскихъ типовъ, авторъ выводитъ еще одного нахальнаго злодѣя, убившаго двухъ старухъ изъ-за пяти цѣлковыхъ, и инородца, удавившагося отъ того, что его мучилъ лѣкарь, который лѣчилъ его цѣлый годъ, по предписанію начальства, отъ раны, давно уже зажившей. Всѣ эти типы, какъ живые, рисуются въ памяти читателя, когда [г]онъ закрываетъ „Губернскіе очерки“.

Въ томъ же острогѣ знакомимся мы также съ типомъ преступника-мѣщанина. Здѣсь образованіе немного выше, а упадокъ нравственныхъ чувствъ еще ниже. Негодяй, утопившій купца, которому служилъ, говоритъ уже хитро-сплетенныя фразы, не сознается въ преступленіи, несмотря на явныя улики; слова его возмутительны. Гораздо выше стоитъ другой мѣщанинъ, принадлежавшій нѣкогда къ раскольникамъ, но отказавшійся отъ своихъ заблужденій и сознающійся въ нихъ, потому что, какъ говоритъ онъ, „великій монархъ просвѣтилъ насъ своимъ милосердіемъ, и нынѣ настало время, всѣхъ освѣщающее“. Разсказъ этого старца въ высшей степени замѣчате-

ленъ; въ первый разъ въ литературѣ нашей явилось описаніе нелѣпыхъ раскольничьихъ повѣрій и распутной жизни этихъ мнимыхъ ревнителей стараго благочестія. Невозможно разсказать всего, что дѣлаютъ въ своихъ скитахъ эти старцы и что съ ними дѣлаютъ становые, засѣдатели, частные и другія предержащія власти, сдирающія со старцевъ неистовыя взятки. Каждая строка этого очерка — фактъ новый, любопытный, драгоцѣнный. Не приводимъ выписокъ, какъ и вообще изъ другихъ очерковъ, убѣжденные, что ихъ прочтутъ всѣ, кому дороги успѣхи русской литературы. Съ купеческими типами мы встрѣчаемся въ одномъ драматизированномъ разсказѣ: „Что такое коммерція?“ Здѣсь выведены три художнически-очерченныя лица: молодой купчикъ Сокуровъ, порывающійся на свободу изъ-подъ власти своего родителя; Палахвостовъ, сѣдой старикъ, который крестится двумя перстами и воруетъ молча, съ чувствомъ собственнаго достоинства; третій, разбитной купчикъ Ижбурдинъ, нрава до крайности сообщительнаго, наивно высказываетъ всѣ мошенническія продѣлки купцовъ, называемыя ими „коммерческими оборотами“. Очень занимателенъ его разсказъ о томъ, какъ всего выгоднѣе надувать казну. „Намеднись,—говоритъ онъ,—вонъ я полушубки въ казну ставилъ; только развѣ что кислятиной отъ нихъ пахнетъ, а по прочему и званія-то полушубка нѣтъ — тѣсто тѣстомъ; поди-ка я съ этими полушубками не токмо что къ торговцу хорошему, а на рынокъ,—на смѣхъ бы подняли. Ну, а въ казнѣ все изойдетъ, по той причинѣ, что потребленіе тамъ большое...“ Само собой разумѣется, что это лицо понимаетъ по-своему и компаніи, и желѣзныя дороги, и даже обще-человѣческія чувства. Барка ли тонетъ на Волгѣ, онъ проходитъ мимо нея со своею баркой, потому что ему выгоднѣе, если товарищъ опоздаетъ по-

ставить къ сроку заподряженный товаръ; а если совсѣмъ потонетъ—и того лучше. „Выходитъ, что коммерція, что война — одно и то же. Называютъ это и мошенничествомъ и просто расчетомъ; какъ на что кто глядитъ". Равнодушіе торгующаго сословія къ остальнымъ классамъ общества Ижбурдинъ объясняетъ антагонизмомъ между этимъ сословіемъ, покупщиками и начальствомъ. „Ужъ чего, кажется, деньги по повѣсткѣ получать! а и тутъ измаешься, ждамши въ передней; не пускаютъ дальше, да и все тутъ; полтинникъ тебѣ стоитъ, чтобы передъ лицо-то почтмейстерское тебѣ стать; а онъ то же: не время, приходи завтра. На станціи только тебѣ и есть отвѣтъ отъ всѣхъ: подождешь, молъ, борода, не велика чина птица". Шаткость понятій въ купечествѣ и его безсовѣстные обманы происходятъ отъ того, что „старые порядки къ концу доходятъ, а новыхъ мы еще не доспѣли". Этотъ взглядъ на купечество у автора также новъ и оригиналенъ. Никто не станетъ сомнѣваться, что въ этомъ сословіи, какъ и во многихъ другихъ, теперь настала эпоха кризиса, перелома.

Міръ чиновниковъ, въ очеркахъ Салтыкова, представляетъ намъ болѣе всего самыхъ разнообразныхъ и любопытныхъ типовъ; но прежде чѣмъ перейти къ нимъ, отмѣтимъ два прекрасные разсказа, въ которыхъ описанъ Рождественскій сочельникъ и первый день Святой недѣли въ городѣ Крутогорскѣ. Въ первомъ очеркѣ, „Замѣчательный мальчикъ", выведенъ типъ ребенка, уже испорченнаго дурными примѣрами и тяжелою бѣдностью: онъ сынъ кузнеца; дома у него нѣтъ не только вина, но даже хлѣба. „Чѣмъ еще разговѣемся завтра?" говоритъ онъ, и когда авторъ беретъ его къ себѣ разговѣться, мальчикъ, въ разговорѣ, высказываетъ страшную раннюю испорченность нрава. Авторъ спрашиваетъ его: „И мать у васъ есть?"—„Какъ же!

этого добра гдѣ не водится! только, надо быть, тятенька ей скоро конецъ сдѣлаетъ... больно ужъ онъ нонѣ зашибаться зачалъ—это, пожалуй, и не ладно ужъ будетъ".—„За что жъ онъ ее бьетъ?"—„За что бьетъ! пришла—не такъ, и ушла—не такъ! вотъ и бьетъ!". Очевидно, что при такой семейной жизни не трудно сдѣлаться безнравственнымъ, но въ мальчикѣ ужъ очень рано развиваются дурныя наклонности; рано начинаетъ онъ пить и пѣть разные романсы, и грустное чувство оставляетъ весь этотъ неутѣшительный очеркъ. Совершенно другое, успокоительное чувство остается отъ разсказа „Христосъ воскресе!" Въ немъ выведена добрая купчиха, Пелагея Ивановна, которая изготовляетъ несчетное число куличей и пасхъ къ свѣтлому празднику,—для „несчастненькихъ", какъ она называетъ арестантовъ. Высокимъ, гуманнымъ лиризмомъ проникнута вся эта картина. „Для всѣхъ воскресъ Христосъ,—говоритъ авторъ:—Онъ воскресъ и для тебя, мрачный и угрюмый взяточникъ, и для тебя, бѣдный труженикъ, кроткая жертва свирѣпой бюрократіи, и для тебя, сѣрый армякъ, и для васъ, бѣдные заключенники, несчастные, неузнанные странники моря житейскаго. Христосъ, сходившій во адъ, сошелъ и въ ваши сердца и очистилъ ихъ въ горнилѣ любви Своей. Нѣтъ татей, нѣтъ душегубовъ, нѣтъ прелюбодѣевъ. Всѣ мы братья, всѣ мы невинны и чисты передъ гласомъ любви, все прощающей, все искупающей... Для всѣхъ воскресъ Христосъ; большіе и малые, іудеи и эллины, пришедшіе рано и пришедшіе поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищіе—всѣ мы равны передъ Его воскресеніемъ".

Съ чиновными „несчастненькими", о которыхъ такъ заботилась Пелагея Ивановна, мы знакомимся опять въ острогѣ. Одинъ изъ типовъ, сутуловатый, ограниченный, довольно пошлый мошенникъ: онъ „собиралъ

статистику" и, ссылаясь на предписанія начальства, приказывалъ мужику считать, сколько именно у него пчелъ, и, когда мужикъ не могъ сдѣлать этого, взялъ съ него по цѣлковому съ улья, а въ вѣдомости все-таки показалъ сдуру, что у мужика тридцать одна тысяча девятьсотъ девяносто семь пчелъ". Другой арестантъ, канцелярскій чиновникъ, посаженъ за то, что „въ одномъ мѣстѣ, гдѣ всѣ были въ подпитіи", подравшись изъ-за какой-то Аннушки, убилъ мѣщанина. Третій арестантъ, Перегоренскій, является сначала въ разсказѣ „Непріятное посѣщеніе" къ чиновнику, посланному въ Крутогорскъ ревизоромъ. Это великолѣпнѣйшій экземпляръ закоренѣлаго ябедника; являясь къ Алексѣю Дмитріевичу (ревизору) съ самымъ подлымъ доносомъ, онъ начинаетъ съ громкихъ фразъ, называя себя христіаниномъ и вѣрноподданымъ, а ревизора — „добродѣтельнымъ царедворцемъ", но когда тотъ, не видя ни связи ни доказательствъ въ доносѣ Перегоренскаго, замѣчаетъ ему это, Перегоренскій называетъ его уже „коварнымъ царедворцемъ" и грозитъ обратиться „съ покорнѣйшей просьбой къ господину министру, умолять на колѣняхъ его высокопревосходительство". Вся эта сцена ведена мастерски. Въ острогѣ Перегоренскій является уже нѣсколько измѣнившимся. Желчное состояніе духа взяло въ немъ верхъ надъ кляузничествомъ; онъ жестоко озлобленъ и ругается безъ пощады на каждомъ шагу. „Я поклонникъ правды и ненавистникъ лжи,—такъ рекомендуетъ онъ себя,—будучи еще секретаремъ въ магистратѣ, изобрѣлъ науки: правдистику и патріотистику. Тщетно я обращался ко всѣмъ властямъ земнымъ о допущеніи меня къ преподаванію наукъ сихъ, тщетно указывалъ на растлѣніе, царствующее въ сердцахъ чиновническихъ". Этотъ ябедникъ, издержавшій до тысячи рублей серебромъ на гербовую бумагу, подавая доносы,

взять, наконецъ, за то, что не представилъ доказательствъ послѣднему доносу, въ которомъ описывалъ „зрѣлище въ питейномъ домѣ, относящееся къ двумъ пунктамъ". Въ острогѣ онъ продолжаетъ также доносить: бьетъ самъ стекла и говоритъ, что начальство „оставляетъ страждущихъ заключенниковъ въ жертву лютому морозу и буйствующимъ стихіямъ"—въ жаркіе іюльскіе дни; самъ „бросаетъ сапоги въ сортиръ"—и жалуется, что онъ босъ и сыръ; требуетъ вафель—и жалуется, что его морятъ голодомъ и жаждой. Такой типъ, дѣйствительно, заслуживалъ подробнаго изученія, и обрисованъ авторомъ превосходно. Еще интереснѣе, въ разсказѣ „Первый шагъ", положеніе канцелярскаго чиновника, попавшаго за сочиненіе фальшиваго указа, съ цѣлью получить за неисполненіе его приличное вознагражденіе. Чиновникъ взятокъ не бралъ, былъ страшно бѣденъ и только изъ-за этой страшной бѣдности рѣшился на преступленіе. Получалъ онъ пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ жалованья,—жить, по его словамъ, было можно, только „сапоги очень одолѣвали": „Для насъ бы все одно и въ лаптишкахъ сбѣгать, а тутъ опять начальство не велитъ, требуетъ, чтобъ ты завсегда въ своемъ видѣ былъ. Вотъ, хошь бы, судья у насъ былъ, такъ тотъ прямо тебѣ говоритъ: мнѣ, говоритъ, наплевать, какъ ты тамъ деньги на платье себѣ достаешь, а только чтобъ былъ ты всегда въ своемъ видѣ". Только женившись, для того чтобы спасти одну дѣвушку отъ дурной жизни, на которую она рѣшилась по бѣдности, чиновникъ увидѣлъ, что жить ему съ семьей на пять цѣлковыхъ рѣшительно невозможно. А тутъ пріятели и научили его сдѣлать фальшивый указъ, чтобы содрать взятку съ богатаго раскольника. Неопытный въ мошенничествѣ бѣднякъ попался съ „перваго шага".

Переходя отъ подсудимыхъ къ судьямъ, мы встрѣ-

тамъ изъ нихъ выходитъ, до этого мнѣ дѣла нѣтъ. Моя обязанность только исчислять статьи: гоньба тамъ, что-ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter... Je suis un homme comme il faut; мнѣ необходимо, чтобы у меня въ домѣ все было комфортабельно—le gouvernement me doit tout cela. Я человѣкъ холостой, j'ai besoin d'une belle".

Этотъ же господинъ comme il faut замѣчаетъ справедливо, что „мужики еще мало развиты, что имъ дали сходы, дали свой судъ, что это почти уже Selfgouvernment, а онъ все-таки лѣзетъ ко мнѣ, потому что, благодаря моимъ административнымъ усиліямъ, моему неусыпному попечительству, хоть инстинктивно, но понимаетъ, что и онъ—ничего, что и сходъ его—ничего". Тяжелое чувство возбуждаютъ очень многія слова этого „озорника", человѣка образованнаго, великосвѣтскаго. Сказавъ, что ни одинъ мужикъ не знаетъ, для чего ему дана жизнь, что такое назначеніе человѣка, онъ прибавляетъ: „Говорятъ, что нужно распространять грамотность, заводить школы, учить ариѳметикѣ. Eh bien, je vous dirai, что если мы ихъ образуемъ, выучимъ ариѳметикѣ — конецъ нашимъ высшимъ соображеніямъ". Да; то-есть, конецъ и взяткамъ и администраціи, въ томъ смыслѣ, какъ ее понимаютъ господа.

Подъ мѣткимъ названіемъ „неумѣлыхъ" авторъ изобразилъ мастерской типъ чиновника, Михайлы Трофимыча: „Онъ, пожалуй, и не говоритъ, а такъ всей фигурой въ лицо тебѣ хлещетъ, что вотъ онъ честный да образованный, такъ ему за эти добродѣтели молебны служить слѣдуетъ. Вотъ, молъ, до чего вы, скоты, дожили, что честный-то человѣкъ у васъ словно жаръ-птица". И между тѣмъ этотъ дѣйствительно честный человѣкъ только путаетъ дѣла, отправляясь на слѣдствіе; горячность его ни къ чему не ведетъ; онъ говоритъ прямо мужикамъ: „Оттого всѣ эти мерзости, что вы сами,

тельностью, а иногда и съ невольнымъ угрызеніемъ совѣсти, а ѣдучи на обѣдъ, не ощущаетъ ничего, кромѣ удовольствія. Разсудите сами: можете ли вы отказать въ чемъ-нибудь человѣку, который оказалъ вамъ тысячу предупредительностей, тысячу маленькихъ услугъ, которыя цѣнятся не деньгами, а сердцемъ. Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ. Деньги можно назадъ отдать, если дѣло оказывается черезчуръ сомнительнымъ, а невѣдомыя моральныя взятки остаются навѣки на совѣсти чиновника и рано или поздно вылѣзутъ изъ него или подлостью или казнокрадствомъ". Со всѣмъ этимъ, конечно, нельзя не согласиться, и такой „надорванный" господинъ, несмотря на всѣ свои дурныя стороны, могъ, очевидно, разсуждать такъ благородно. Типы Салтыкова потому и производятъ сильное впечатлѣніе, что они не преувеличены, что его дурные люди не вполнѣ лишены нѣкоторыхъ хорошихъ сторонъ, или, по крайней мѣрѣ, пониманія дурной стороны своихъ поступковъ,—что, въ самомъ дѣлѣ, бываетъ въ дѣйствительности. Встрѣчаются и такого рода индивидуумы, которые открыто проповѣдуютъ о необходимости взятокъ, объясняя ихъ административными соображеніями. Такихъ людей авторъ называетъ „озорниками". Одинъ изъ такихъ людей дѣлаетъ автору очень наивныя признанія.

„Вы ошибаетесь, если думаете, что вотъ я призову мужика да начну его собственными руками обдирать... Фи! Вы забыли, что отъ него тамъ Богъ знаетъ чѣмъ пахнетъ!.. да и не хочу я совсѣмъ дѣлать себѣ этотъ трудъ. Я просто призываю писаря или тамъ другого et je lui dis: mon cher, tu me dois tant et tant et tant— ну и дѣло съ концомъ. Какъ ужъ онъ тамъ дѣлаетъ— это до меня не относится. Я самъ терпѣть не могу взяточничества—фуй, мерзость! У насъ не взятки, а администрація; я требую только должнаго, а какъ оно

тамъ изъ нихъ выходитъ, до этого мнѣ дѣла нѣтъ. Моя обязанность только исчислять статьи: гоньба тамъ, что-ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter... Je suis un homme comme il faut; мнѣ необходимо, чтобы у меня въ домѣ все было комфортабельно—le gouvernement me doit tout cela. Я человѣкъ холостой, j'ai besoin d'une belle".

Этотъ же господинъ comme il faut замѣчаетъ справедливо, что „мужики еще мало развиты, что имъ дали сходы, дали свой судъ, что это почти уже Selfgouvernment, а онъ все-таки лѣзетъ ко мнѣ, потому что, благодаря моимъ административнымъ усиліямъ, моему неусыпному попечительству, хоть инстинктивно, но понимаетъ, что и онъ—ничего, что и сходъ его—ничего". Тяжелое чувство возбуждаютъ очень многія слова этого „озорника", человѣка образованнаго, великосвѣтскаго. Сказавъ, что ни одинъ мужикъ не знаетъ, для чего ему дана жизнь, что такое назначеніе человѣка, онъ прибавляетъ: „Говорятъ, что нужно распространять грамотность, заводить школы, учить ариѳметикѣ. Eh bien, je vous dirai, что если мы ихъ образуемъ, выучимъ ариѳметикѣ — конецъ нашимъ высшимъ соображеніямъ". Да; то-есть, конецъ и взяткамъ и администраціи, въ томъ смыслѣ, какъ ее понимаютъ господа.

Подъ мѣткимъ названіемъ „неумѣлыхъ" авторъ изобразилъ мастерской типъ чиновника, Михайлы Трофимыча: „Онъ, пожалуй, и не говоритъ, а такъ всей фигурой въ лицо тебѣ хлещетъ, что вотъ онъ честный да образованный, такъ ему за эти добродѣтели молебны служить слѣдуетъ. Вотъ, молъ, до чего вы, скоты, дожили, что честный-то человѣкъ у васъ словно жаръптица". И между тѣмъ этотъ дѣйствительно честный человѣкъ только путаетъ дѣла, отправляясь на слѣдствіе; горячность его ни къ чему не ведетъ; онъ говоритъ прямо мужикамъ: „Оттого всѣ эти мерзости, что вы сами,

скоты, все это терпите; кабы вы разумѣли, что подлецъ—подлецъ и есть, что его подлецомъ и называть надо, такъ не смѣлъ бы онъ рожу-то свою мерзкую на свѣтъ Божій казать". Всѣ эти „истины", конечно, нисколько не подвигаютъ дѣла, и бѣдный Михайла Трофимычъ помнпутно попадаетъ впросакъ: про него говоритъ дѣльно мѣщанинъ, посланный вмѣстѣ съ нимъ на слѣдствіе. „Выходитъ по-ихнему, что они насъ спасать, примѣрно, пришли, а позабудь онъ хоть на минуточку, что онъ лучше всѣхъ, поменьше онъ насъ спасай,—можетъ, и могъ бы онъ дѣло дѣлать... Во всякомъ дѣлѣ мало одной честности да доброй воли: нужно тоже знаніе; грязью-то не гнушайся, а разбери ее, да разобравши хорошенько, и суй въ ту пору туда свой носъ. Ты коли хочешь служить вѣрой, такъ по верхамъ-то не лазай, а держись больше около земли, около земства-то. Ты благодѣтельствуй намъ,—слова нѣтъ,—да въ мѣру, сударь, въ мѣру, а не то, вѣдь, намъ и тошно будетъ... Ты, вотъ, лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то. Можетъ, она и пошла бы, машина".

Противъ этихъ здравыхъ, благородныхъ, глубокихъ словъ, конечно, никто не будетъ спорить, а такихъ чисто-русскихъ сужденій въ очеркахъ Щедрина разбросано множество; приводить ихъ всѣ значило бы цитировать всю книгу, а выписки наши и безъ того слишкомъ часты. Въ нашей сжатой статьѣ мы хотимъ только познакомить читателя съ новыми типами, выведенными авторомъ, и потому переходимъ къ другимъ лицамъ чиновничьяго міра, изображеннымъ въ слѣдующихъ очеркахъ. Еще ниже, въ нравственномъ отношеніи, спускаемся мы въ разсказѣ „Выгодная женитьба". Здѣсь выведены два типа: мелкаго чиновника, который хочетъ жениться на дочери своей квартирной хозяйки, потому что много задолжалъ ей за столъ и квартиру,—и его начальника, который позволяетъ же-

ниться, имѣя въ виду, что будущая жена его подчиненнаго не слишкомъ строгой нравственности. Дернова (подчиненнаго) его секретарь учитъ „эквилибристикѣ“, такой наукѣ, „чтобы передъ начальникомъ всегда въ струнѣ ходить; чтобы, когда начальство говоритъ тебѣ: „Кривляйся, Сашка!“ ну и кривляйся. Да и считай ты себя еще счастливымъ, коли тебѣ говорятъ: кривляйся! Это значитъ, вниманіе на тебя обращаютъ. Вотъ и выходитъ, что кривлякъ этихъ столько развелось, что и для того, чтобы подличать-то тебѣ позволили, нуженъ случай, протекція нужна, другой и радъ бы, да случая нѣтъ“. Не приводимъ продѣлокъ лѣкаря Ивана Петровича, городничаго Фейера и исправника Живоглота, но скажемъ, что лица эти производятъ самое сильное впечатлѣніе и болѣе всего нравятся читателямъ. Сознаемся, что намъ они нравятся меньше, потому что въ нихъ менѣе типическихъ особенностей, а гораздо болѣе частныхъ, принадлежащихъ только одному, извѣстному лицу. Такіе доктора, исправники и городничіе, конечно, существуютъ, но не какъ типы, а какъ исключенія, и потому мы не будемъ разсказывать ихъ подвиги, отдавъ полную справедливость автору въ томъ, что они у него истинно живыя лица. Къ тому же разряду принадлежитъ и Порфирій Петровичъ,—отъявленный мошенникъ, накопившій состояніе самыми гнусными поступками и пользующійся уваженіемъ въ городѣ, гдѣ, по словамъ автора: „Не только человѣка съ живымъ словомъ встрѣтить было невозможно, но даже въ хорошей говядинѣ ощущалась скудность великая“. Изъ властей этого города выведенъ ревизоръ,—о которомъ мы уже говорили, приводя типъ Перегоренскаго,—человѣкъ пустой и добродушный, съ густыми волосами, хотя по словамъ автора: „Добродѣтель представляется ему всегда не иначе, какъ въ видѣ плѣшиваго старца, съ немного телячьимъ выраженіемъ въ очахъ“. Але-

ксѣй Дмитричъ охотникъ, чтобы его угощали и уважали. Балъ городничаго, удостоенный посѣщеніемъ ревизора, описанъ мастерски. Другой начальникъ въ городѣ, князь Левъ Михайловичъ, смотритъ на всѣ правительственныя лица съ высоты своего аристократизма, и, однакоже, „въ удобное для охоты время командируетъ своего секретаря, подъ видомъ дѣлъ службы, собственно, для стрѣлянія дичи къ столу его сіятельства". Конечно, онъ горячо вступается за это, говоря: „Что же тутъ дурного? развѣ это взятка? вы мнѣ скажите: взятка ли это? Развѣ я вымогался сдѣлать какую-нибудь подлость, развѣ это деньги? Деньги ли дичь,—спрашиваю я васъ?"—И мы убѣждены въ томъ, что его сіятельство, въ глубинѣ своей аристократической совѣсти, дѣйствительно не считаетъ этого взяткой, какъ чиновникъ Прокофій Николаичъ не считаетъ взяткой денегъ, присланныхъ ему откупщикомъ, объясняя: „Нынче, пожалуй, говорятъ—и съ откупщика не бери. А я вамъ доложу, что это одно вольнодумство; это все единственно, что деньги на дорогѣ найти да не воспользоваться. Господи!" Именно: не воспользоваться найденными деньгами, по мнѣнію такихъ господъ, не только глупость, а, пожалуй, и преступленіе. То же понятіе существуетъ у нихъ о казнѣ. По словамъ автора, казна представляется чиновникамъ „чѣмъ-то отвлеченнымъ, символическимъ, невѣсомымъ, какъ паръ какой-то, нѣчто въ родѣ Ѳемиды въ воображеніи секретаря уѣзднаго суда".—„Кому отъ этого вредъ, ну скажите, кому?—восклицаетъ остепенившійся идеологъ-чиновникъ, который Великимъ постомъ въ жизнь никогда скоромнаго не ѣлъ, ни одной взятки не перекрестясь не бралъ, а о любви къ отечеству отродясь безъ слезъ не говаривалъ:—кому вредъ отъ того, что вино въ казну не по сорока, а по сорока пяти копеекъ за ведро ставится". А покамѣстъ всѣ не

поймутъ, какой, именно, вредъ происходитъ отъ обсчитыванія казны, до тѣхъ поръ не истребятся и взятки...

Военныхъ лицъ немного въ очеркахъ Щедрина. Одинъ типъ отставного армейскаго подпоручика верхъ совершенства. Онъ поминутно пьетъ водку, не пьянѣя, „служилъ въ полку, бросилъ, жилъ въ имѣніи—пропилъ, собственнымъ тѣломъ своимъ торговалъ, пускался на разныя штуки, являлся къ англійскому посланнику, услыхавъ, что англичане предлагаютъ милліонъ тому, кто цѣлый годъ однимъ сахаромъ питаться будетъ—не вывезло, шельма кривая!“ Что за натура у этого подпоручика, можно судить по тому, что „въ восемьсотъ четырнадцатомъ году, походомъ—въ мѣсяцъ по четыре ведра на брата выходило, а шли восемь мѣсяцевъ“. Хороши также гарнизонные офицеры въ разсказѣ „Пріятное семейство“: одѣты они съ иголочки оттого, что „нынѣшнимъ лѣтомъ покормились-таки: партію сводили, такъ тутъ кой-чего къ ладонямъ пристало, и мундиры новенькіе пошили; на цѣлый міръ они смотрятъ съ точки зрѣнія пайка“; на балу танцуютъ очень усердно, за чѣмъ смотритъ самъ командиръ,—но все таки остаются безъ ужина...

Прощаясь съ книгой Салтыкова, которая составитъ эпоху въ нашей литературѣ, не можемъ не упомянуть, что находятся лица, упрекающія автора въ рѣзкости и жестокости выраженій. Такимъ господамъ мы отвѣтимъ словами самого автора, начавъ и кончивъ нашу рецензію его собственными цитатами: „Знакомятъ съ какими-то мужиками, лакеями-солдатами... слова нѣтъ, что они есть въ природѣ, эти мужики, да отъ нихъ пахнетъ,—ну, и опрыскай его авторъ чѣмъ-нибудь, чтобы, знаете, въ гостиную его ввести можно. А то такъ со всѣмъ, и съ запахомъ, и ломятъ... это не только неприлично, но даже безнравственно“.

Именно, безнравственно!..

Талантливыя натуры *).

Читатели, конечно, прочли уже „Губернскіе очерки" и потому, вѣрно, знакомы съ нѣкоторыми изъ талантливыхъ натуръ, очерченными Щедринымъ. Но не всѣ, можетъ-быть, размышляли о сущности этого типа и о значеніи его въ нашемъ обществѣ. Потому мы рѣшаемся подробнѣе разсмотрѣть эти натуры, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, довольно ярко выражается господствующій характеръ нашего общества. Виды талантливыхъ натуръ чрезвычайно разнообразны, но есть у нихъ и нѣчто общее, состоящее именно въ ихъ *талантливости,* которая можетъ иногда вызвать истинное сожалѣніе и навести на очень грустныя думы. Положеніе ихъ, конечно, смѣшно, даже отвратительно, но насмѣшку надъ положеніемъ этихъ господъ не нужно переносить на самую натуру ихъ, вовсе не лишенную добрыхъ качествъ.. Занятія и свойства ихъ Щедринъ изображаетъ такимъ образомъ.

„Одни изъ нихъ занимаются тѣмъ, что ходятъ въ халатѣ по комнатѣ и отъ нечего дѣлать посвистываютъ; другіе проникаются желчью и дѣлаются губернскими мефистофелями; третьи барышничаютъ лошадьми или передергиваютъ въ карты; четвертые выпиваютъ огромное количество водки; пятые перевариваютъ на

*) Сочиненія Н. А. Добролюбова. Т. I. Губернскіе очерки. Спб. 1901.

досугѣ свое прошедшее и съ горя протестуютъ противъ настоящаго... Общее у всѣхъ этихъ господъ, во-первыхъ, „червякъ“, во-вторыхъ то, что— „на жизненномъ пирѣ“ для нихъ не случилось мѣста, и, въ-третьихъ, необыкновенная размашистость натуры. Но главное—червякъ. Этотъ глупый червякъ причиною тому, что наши Печорины слоняются изъ угла въ уголъ, не зная, куда преклонить голову; онъ познакомилъ ихъ ближайшимъ образомъ съ помѣщиками Полежаевымъ, Сопиковымъ и Храповицкимъ. Къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что Печорины водятся исключительно между молодыми людьми. Старый, заиндевѣвшій чиновникъ или помѣщикъ не можетъ сдѣлаться Печоринымъ; онъ на жизнь смотритъ съ практической стороны, а на тернія или неудобства ея — какъ на неизбѣжныя и неисправимыя. Это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сдѣлались не врагами, а скорѣе добрыми знакомыми его. Онъ не вникаетъ въ причины вещей, а принимаетъ ихъ такъ, какъ онѣ есть, не задаваясь мыслью о томъ, какими бы онѣ могли быть, если бы... и т. д. Молодой человѣкъ, напротивъ того, начинаетъ уже смутно понимать, что вокругъ него есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; онъ видитъ себя въ странномъ противорѣчіи со всѣмъ окружающимъ, онъ хочетъ протестовать противъ этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примиренія, остается при одномъ зубоскальствѣ или псевдотрагическомъ негодованіи“.

Видите ли, — при всей насмѣшливости отношеній Щедрина къ талантливымъ натурамъ, онъ самъ не можетъ не обнаружить, что въ основаніи ихъ лежитъ нѣчто хорошее. Ихъ стремленія не заключаютъ въ себѣ ничего предосудительнаго, напротивъ—стремленія эти ставятъ ихъ дѣйствительно выше тѣхъ апатиче-

ских безличностей, которыя, смотря на жизнь съ практической стороны, находятъ блаженное успокоеніе отъ всѣхъ сомнѣній и вопросовъ въ учительской указкѣ или въ подписи того, кто повыше ихъ чиномъ. Вся бѣда пропавшихъ талантливыхъ натуръ состоитъ въ томъ, что у нихъ нѣтъ никакихъ живыхъ началъ. Стоитъ дать имъ во-время эти начала, и изъ нихъ можетъ выйти что-нибудь положительно доброе. Давно уже кто-то замѣтилъ, что на свѣтѣ нѣтъ собственно неспособныхъ людей, а есть только *неумѣстные;* что плохой извозчикъ и вываленный имъ изъ саней плохой чиновникъ, выгнанный изъ службы за неспособность,— оба, быть-можетъ, не были бы плохими, если бы помѣнялись своими мѣстами: чиновникъ, можетъ-быть, имѣетъ отъ природы склонность къ управленію лошадьми, а извозчикъ въ состояніи отлично разсуждать о судебныхъ дѣлахъ... Все горе происходитъ отъ ихъ неумѣстности, въ которой опять не виноваты ни чиновникъ ни извозчикъ, а виновата ихъ судьба, эта „глупая индѣйка", по залихватскому выраженію. То же самое происходитъ со всѣми талантливыми натурами; онѣ получаютъ одностороннее развитіе, несоотвѣтственное ихъ потребностямъ, и, уступая силѣ враждебныхъ обстоятельствъ, попадаютъ на ложную дорогу. Онѣ не столько животны, слабодушны и слѣпы, чтобы уступить безъ всякаго усилія, въ простодушной увѣренности, что такъ должно быть: это ихъ достоинство. Но онѣ не имѣютъ и настолько внутренней силы, ума и благородства, чтобы выдержать до конца, чтобы не измѣнить своимъ добрымъ влеченіямъ и не впасть въ апатію, фразерство и даже мошенничество: вотъ ихъ существенный, страшный недостатокъ. Но этотъ недостатокъ, очевидно, не природный. Онъ происходитъ отъ слабости характера, соединенной съ пылкостью *стремленій.* Пылкость стремленій сама по себѣ — вещь

весьма похвальная, и притомъ составляетъ въ человѣкѣ не что иное, какъ простой признакъ живой молодости,— а характеръ, какъ всѣ согласны, не родится съ человѣкомъ, а пріобрѣтается имъ во время воспитанія, установляясь окончательно въ послѣдующихъ треволненіяхъ жизни. Слѣдовательно, по строгомъ разсужденіи, на сторонѣ самой личности остается только живая воспріимчивость натуры, признакъ вовсе не дурной; а все остальное ложится на отвѣтственность окружающей ее среды. Намъ скажутъ: отчего же эта среда не оказываетъ такого же вліянія на другихъ, отчего именно на талантливыя натуры она дѣйствуетъ такъ гибельно? Отвѣтъ простъ: эти натуры, по своей впечатлительности, забѣгаютъ дальше другихъ, часто захватываютъ больше, чѣмъ сколько могутъ вынести, и при этомъ чаще, чѣмъ другіе, встрѣчаютъ противодѣйствія, которымъ онѣ не въ силахъ противиться. Между тѣмъ какъ дѣти милыя и благонравныя наслаждаются спокойствіемъ блаженнаго невѣдѣнія, помня, что они дѣти и, слѣдовательно, должны составлять свой маленькій міръ, не вступаясь въ дѣла большихъ, — дѣти воспріимчивыя и пылкія суются безпрестанно туда, гдѣ ихъ не спрашиваютъ, рано знакомятся съ житейскими дрязгами и рано получаютъ отъ большихъ практическія опроверженія своихъ дѣтскихъ разсужденій. Въ иныхъ естественная логика и привычка къ дѣятельности беретъ верхъ: они разсматриваютъ практическіе взгляды со всѣхъ сторонъ и оцѣниваютъ ихъ очень вѣрно; они не падаютъ предъ силою обстоятельствъ, не опускаются до злобнаго фразерства и циническої лѣни—съ досады, что ничего великаго сдѣлать нельзя, — а до конца идутъ противъ враждебной силы, и если не успѣютъ ее покорить, то падаютъ, звукомъ самаго паденія созывая на трупъ свой новыхъ самоотверженныхъ дѣятелей. Но такихъ крѣпкихъ людей не много. Боль-

шая часть не выдерживаетъ враждебнаго напора и гибнетъ нравственно, безъ пользы, а часто даже съ вредомъ и для другихъ. Въ общественномъ отношеніи, разумѣется, хвалить ихъ нечего: они всегда являются въ обществѣ или тунеядцами, или мошенниками. Отъ этого мы и не думаемъ ихъ оправдывать, равно какъ не думаемъ возвеличивать ихъ бездѣйствіе на счетъ незамѣтной дѣятельности скромныхъ тружениковъ. Мы только хотимъ сказать, что въ сущности своей талантливыя натуры даютъ больше задатковъ хорошаго развитія, нежели благонравныя, милыя, послушныя и т. д. дѣти, — и что, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, ихъ развитіе принесло бы хорошіе плоды. Мы можемъ сравнить ихъ, пожалуй, съ плодородной землей. Засѣйте гдѣ-нибудь въ окрестностяхъ Петербурга хорошую почву (если таковая найдется) мансомъ, рожью и крапивой. Мансъ, разумѣется, не примется, по причинѣ разныхъ прелестей петербургскаго климата, а рожь заглушена будетъ крапивою. Вотъ поле и не годится никуда. Какъ же можно сравнить его по плодамъ съ другимъ, довольно, правда, скуднымъ полемъ, которое, однакоже, выростило рожь, хотя и очень тощенькую. А все-таки нельзя не сказать, что въ первомъ полѣ земля лучше. Брошенное и запущенное, да еще закрытое отъ солнышка какими-нибудь заборами да постройками, заваленное всякимъ мусоромъ, оно и все порастетъ крапивой. Но попадись оно въ руки хорошему хозяину, такъ тотъ не только его отъ мусора очиститъ и крапиву выполетъ, не только хорошую жатву соберетъ, а еще цѣлую оранжерею на немъ разведетъ и самыя нѣжныя растенія воспитаетъ, оградивши ихъ отъ разныхъ неблагопріятныхъ петербургскихъ вліяній.

Если нужно доказать наши слова примѣрами, то за ними ходить недалеко. У Щедрина представлены та-

лантливыя натуры трехъ разрядовъ: мефистофельская, спившаяся съ кругу и пустившаяся въ мошенничество. Нельзя не сознаться, что выборъ этихъ трехъ категорій самъ по себѣ весьма удаченъ. Неудавшаяся дѣятельность талантливыхъ натуръ обыкновенно имѣетъ одинъ изъ этихъ исходовъ. Всѣ они гадки и вредны, или, по крайней мѣрѣ, безполезны; но посмотрите на начало жизненнаго поприща этихъ господъ, вникните въ сущность ихъ натуры, и вы увидите, что всѣ ихъ увлеченія имѣютъ доброе начало, а паденіе происходитъ просто отъ безсилія противиться внѣшнимъ вліяніямъ. Отъ чего такое безсиліе происходитъ, мы уже отчасти объяснили. Прибавимъ только, что, завися отъ естественной, каждому предмету въ мірѣ присущей инерціи,—качество это усиливается отъ постоянной привычки къ пассивному воспріятію чужихъ идей, и дѣлается тѣмъ отвратительнѣе, чѣмъ больше ума и свѣжихъ силъ въ такой пассивной натурѣ. На человѣка, не умѣющаго пяти словъ сказать со смысломъ, не досадно, если онъ цѣлый вѣкъ сидитъ за переписываньемъ. Да его и не замѣтишь: онъ доволенъ своею судьбой и высоко не заносится, зная, что безъ крыльевъ опасно подниматься на воздухъ... Но человѣкъ, легко и быстро понимающій предметы, имѣющій живыя и высокія стремленія, знающій очень хорошо степень собственныхъ силъ,—такой человѣкъ вдругъ, поддаваясь лѣни, отстаетъ отъ всякаго дѣла и употребляетъ свои способности только на пересыпанье изъ пустого въ порожнее или на различныя непохвальныя продѣлки: это уже досадно и горько. Такого человѣка сейчасъ всѣ замѣтятъ, потому что онъ всѣмъ надоѣдаетъ своими жалобами на несправедливость судьбы, ко всѣмъ навязывается съ пересмѣиваньемъ своихъ ближнихъ, всѣмъ кидается въ глаза своимъ сознательнымъ, преднамѣреннымъ бездѣльничествомъ. Вотъ, напримѣръ, передъ

вами г. Корепановъ. Онъ не потому замѣченъ крутогорскимъ обществомъ, что тунеядствуетъ и въ пустякахъ всю свою жизнь проводитъ. Онъ пусть не больше другихъ; какъ другіе, онъ служитъ, — какъ другіе, является на дѣтскіе балы княжны Анны Львовны, — какъ другіе, ничѣмъ особенно не занимается. Словомъ, въ немъ ничего нѣтъ замѣчательнаго, и вы проходите мимо его, бросая на него разсѣянный взглядъ и думая: „вотъ еще одинъ изъ множества тѣхъ, которые прозябаютъ въ Крутогорскѣ, серьезно занимаясь дѣланьемъ ничего и не имѣя понятія о другихъ, лучшихъ сферахъ дѣятельности“... Но г. Корепановъ вдругъ останавливаетъ васъ восклицаніемъ: „прошу не смѣшивать меня съ этой толпой; я увѣряю васъ, что я гораздо лучше всѣхъ ихъ. Не смотрите на то, что я толкусь между ними, и такъ же, какъ они, ничего не дѣлаю... Повѣрьте, что я могъ бы сдѣлать многое, очень многое, если бы только захотѣлъ... Но я не хочу...“—„Тѣмъ хуже, — отвѣчаете вы, — значитъ, вы, мсье Корепановъ, вы сами виноваты въ своемъ ничтожествѣ. На этихъ людяхъ нечего спрашивать: они дѣлаютъ то, что могутъ; виноваты ли они, что у нихъ не хватаетъ силъ на большее? А вы гораздо хуже ихъ, потому что не дѣлаете и того, что можете. Вы просто дрянь, мсье Корепановъ“.—И что же бы вы думали? Корепановъ мгновенно съ вами соглашается и начинаетъ ругать себя. „Да,—говоритъ онъ, впрочемъ, не безъ оттѣнка тонкой иронiи, — я глупъ, я слабъ, у меня мелкая, ничтожная душонка. Я завидую даже этому пошлому довольству и безмятежію, которое написано на лицахъ моихъ сослуживцевъ: все-таки, значитъ, ихъ жизнь прошла не даромъ... А я только все сомнѣвался да метался безъ толку, изъ стороны въ сторону... А къ чему?.. Гораздо было бы спокойнѣе—добыть себѣ тепленькое мѣстечко, какъ Николай Ѳедоровичъ, жениться на Анфисѣ Ивановнѣ, которая

изъ старыхъ панталонъ шаль устраиваетъ да считаетъ себѣ денежки, какъ Семенъ Семенычъ"... Вы соглашаетесь, что это, дѣйствительно, было бы спокойнѣе, чѣмъ безъ толку цѣлый вѣкъ маяться; но Корепановъ обнаруживаетъ полное омерзѣніе къ дѣятельности Николая Ѳедорыча, Семена Семеныча и подобныхъ. Онъ даже дѣтямъ Семена Семеныча и Николая Ѳедорыча внушаетъ отвращеніе къ воровству и скаредной жизни родителей, и гордится своими заслугами въ этомъ отношеніи. Онъ называетъ Крутогорскъ помойной ямой и очень недоволенъ тѣмъ, что здѣсь всякій долженъ безсмѣнно носить однажды накинутую на себя ливрею. По выходкамъ Корепанова вы видите, что онъ былъ въ хорошей школѣ, умѣетъ зло отъ добра отличить и имѣетъ понятіе о настоящей нравственности. Онъ и самъ признается, что въ молодости своей умныхъ людей съ каѳедры слушалъ, но только ученье не пошло ему впрокъ. Онъ, видите, не хотѣлъ корпѣть надъ книжкой и клевать по крупицѣ, а ждалъ все, что ему кто-нибудь „вольетъ знаніе ковшомъ въ голову, и сдѣлается онъ послѣ того мудръ, какъ Минерва". Вотъ вамъ и первое паденіе передъ трудностями, первое торжество лѣни. Далѣе, Корепановъ затѣмъ не остался служить тамъ, гдѣ бы лучше могли развернуться его таланты, „онъ желаетъ кушать, а въ Петербургѣ или Москвѣ этого добра не найдешь сразу". А ему—видите—лѣнь добиваться чего-нибудь трудомъ, понемножку; все сразу хотѣлось бы. Вотъ онъ и ѣдетъ въ Крутогорскъ, гдѣ у него есть родные, „которыми, слѣдовательно, ужъ насижено мѣсто и для него"... Здѣсь онъ кое-какъ служитъ, какъ и всѣ, но, главнымъ образомъ, злобствуетъ противъ всѣхъ, стараясь выставить собственное превосходство и несправедливость судьбы. Если хотите, судьба точно несправедлива къ нему, но несправедлива тѣмъ, что дала ему род-

ныхъ, которые, съ грѣхомъ пополамъ насидѣвши тунеядцу мѣсто, освободили его отъ необходимости работать самому для пріобрѣтенія мѣста и хлѣба. Не будь этого, Корепановъ былъ бы славнымъ работникомъ и не погибъ бы для честной и полезной дѣятельности, обратившись въ мефистофеля средней руки.

Теперь посмотримъ на Лузгина, тоже талантливую натуру, только другого разбора. Положительно дурного въ этой натурѣ ничего нѣтъ. Припоминая прежніе годы Лузгина, Щедринъ говоритъ, что онъ былъ тогда безрасчетно добръ и великодушенъ, что въ немъ сильно кипѣла кровь, обильно и неистощимо била животворная струя молодости. Самъ Лузгинъ, въ откровенномъ разговорѣ, высказываетъ, что у него и въ пожилыхъ лѣтахъ сохранилось еще много любви, горячности, жару. Онъ сожалѣетъ, что погано провелъ свою молодость, и не столько лекціями, сколько ухарствомъ занимался. Въ жизни его есть прекрасныя явленія. Онъ женился на бѣдной гувернанткѣ своего сосѣда, которую притѣсняли сладострастный хозяинъ и капризная хозяйка. Онъ не хотѣлъ служить въ Петербургѣ затѣмъ, что тамъ „выморозки, что-то холодное, ослизлое“, бѣгаютъ цѣлый день, чтобъ имѣть счастье искривить ротъ въ улыбку при видѣ нужнаго лица. Онъ пересталъ ѣздить къ школьному товарищу, когда тотъ вздумалъ пустить ему въ глаза пыль въ видѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Стрекозы, княгини Оболдуй-Тараканової и такъ далѣе. Все это, нельзя не сознаться, обнаруживаетъ натуру добрую, симпатичную, съ наклонностями истинно благородными. Можно бы почесть его просто прекраснымъ мирнымъ помѣщикомъ, нашедшимъ, наконецъ, въ кругу семейномъ успокоеніе отъ житейскихъ треволненій. Но такое заключеніе было бы неудачно: Лузгинъ хоть и не занимался лекціями, *по его собственному* признанію, но все же кое-что изъ

высшихъ наукъ запало ему въ голову,—и онъ уже не можетъ довольствоваться своей тѣсной сферой, „размѣры насъ душатъ,—говоритъ онъ:—природа у насъ широкая, желалъ бы захватить и вдоль и поперекъ, а размѣры маленькіе. Жару и теперь еще пропасть осталось, только некуда его дѣвать: сфера-то у насъ узка, разгуляться негдѣ“... Да кто же вамъ не велѣлъ, г. Лузгинъ, захватывать именно столько, сколько ваши силы позволяютъ? Зачѣмъ вы киснете въ деревнѣ и даже не служите, хоть бы по выборамъ?—А вотъ видите,—когда Лузгинъ воротился изъ ученья, то мать стала его упрашивать: „около меня посиди“, да и сосѣди лихіе нашлись,—онъ и остался, тѣмъ болѣе, что къ лѣности съ юныхъ лѣтъ сердечное влеченіе чувствовалъ... Но въ деревнѣ его томитъ скука: образованіе его не столько полно, чтобъ онъ могъ довольствоваться самимъ собой и семейнымъ кругомъ; онъ ищетъ другихъ развлеченій и находитъ ихъ, разумѣется, безъ особенныхъ затрудненій; онъ начинаетъ каждый день напиваться допьяна, приводя въ отчаяніе свою жену и разстраивая собственное здоровье... Ну, скажите на милость, природа ли тутъ виновата? Лузгинъ всячески старается всю вину сложить на природу, хотя онъ, собственно говоря, и не думаетъ себя оправдывать. Напротивъ, онъ, какъ и всѣ талантливыя натуры, безбоязненно и безстыдно распространяется о своихъ недостаткахъ, увѣряя, что онъ свинья, что онъ опустился, что онъ гнусенъ съ верхняго волоска головы до ногтей ногъ. Но все это самообвиненіе мало помогаетъ. Подняться онъ уже не въ силахъ: я, говоритъ, до такой степени привыкъ къ праздности, такъ въѣлся въ нее, что даже ужъ и думать ни о чемъ не хочется. При всемъ томъ онъ не хочетъ принять на себя отвѣтственности за все. Чувствуя, что не въ силахъ подняться, онъ старается увѣриться, что такъ ужъ судьбой уѣ-

шено, что иначе и быть не можетъ, что такъ, видно, „и суждено этому огню перегорѣть въ груди, не высказавшись ни въ чемъ". И въ этой увѣренности принимается съ отчаяніемъ за чарочку, чтобъ утопить въ винѣ свои досадные порывы. А потомъ жалуется на природу весьма комическимъ образомъ. „Для чего,— говоритъ,—она не сдѣлала меня Зеноном, а наградила наклонностями сибарита? Для чего она не закалила мое сердце для борьбы съ терніями суровой дѣйствительности, а, напротивъ того, размягчила его и сдѣлала способнымъ откликаться только на доброе и прекрасное?.. Природа-то вѣдь дура, выходитъ"... Какая же тутъ природа, г. Лузгинъ? Природа всѣхъ людей рѣшительно выпускаетъ на Божій свѣтъ слабыми и безпомощными: никого она не калитъ и не мягчитъ нарочно, въ томъ соображеніи, что вотъ этотъ господинъ долженъ будетъ бороться, а тотъ нѣтъ, такъ—въ видахъ предусмотрительности — надобно дать имъ такія-то и такія-то свойства. Это вы все для оправданія своей лѣни выдумываете, что природа какъ-то непріязненно къ вамъ расположена и по какимъ-то интригамъ вздумала васъ размягчить. Ничего подобнаго не бывало: закаляются люди не на лонѣ природы, а въ горнилѣ житейской опытности. А этой-то закалки и нѣтъ у васъ, потому что вамъ не случилось надобности съ самаго начала преодолѣть вашу лѣнь, и вы позволили другимъ за васъ думать и дѣйствовать. Въ результатѣ и вышло, что хоть у васъ сердце и доброе, хоть оно и откликается на все прекрасное, а сами-то вы вышли не только человѣкъ плохой, но и пошлый, даже грязный. Такъ скажемъ мы Лузгину, не желая поощрять его лѣни и цинизма. Но, обращаясь къ читателямъ, мы, разумѣется, не можемъ не прибавить, что дѣйствительно судьба была довольно жестока къ Лузгину. Его вывели изъ непосредственной простоты и патріархаль-

ности деревенскихъ отношеній, дали нѣкоторое понятіе о предметахъ высшихъ, но не дали основательныхъ и твердыхъ началъ, не заинтересовали даже наукой хоть бы до такой степени, чтобы предпочитать ее разнымъ ухарскимъ развлеченіямъ. При первыхъ попыткахъ что-нибудь дѣлать ему встрѣчаются препятствія: тамъ мать и родимое гнѣздо отвлекаютъ отъ службы, тамъ *лихіе* сосѣди увлекаютъ въ отъѣзжее поле да въ буйную оргію, тамъ надменные выскочки и мягкотѣлые низкопоклонники отталкиваютъ его отъ петербургской жизни. Для него это уже слишкомъ много: его наклонность къ лѣни, привычка подчинять себя требованіямъ чужой воли и слишкомъ поверхностное образованіе не могутъ устоять противъ безпрестанныхъ искушеній. А тамъ — судьба позаботилась приготовить родимое гнѣздо, въ которомъ можно жить на чужой счетъ... Вотъ и погибъ человѣкъ, изъ котораго при другихъ обстоятельствахъ могло бы и выйти что-нибудь.

Есть еще особаго рода талантливыя натуры, повидимому, совершенно не похожія на два образца, которые нами разсмотрѣны, но въ сущности чрезвычайно къ нимъ близкія. Образчикъ такихъ натуръ представляетъ Горехвастовъ, описанный Щедринымъ. Этотъ, съ перваго раза, можетъ показаться, пожалуй, очень дѣятельнымъ. Онъ прожектеръ, мошенникъ, шулеръ; онъ и въ офиціальное платье переодѣвался, и казенныя деньги кралъ, и заставлялъ кое-кого въ окно прыгать, и самъ изъ онаго прыгивалъ, и фортуну себѣ умѣлъ составить и потерять оную. Кажется, чего больше дѣятельности — энергической, постоянной, только дурно направленной. Это, ужъ, кажется, не слабая натура, носившая въ себѣ задатки добра, но погибшая только вслѣдствіе своей лѣни и слабости; это сильная, злодѣйская душа, талантливая только на мерзости всякаго рода. Онъ совсѣмъ не похожъ на двухъ малодушныхъ,

только что нами видѣнныхъ у Щедрина. Такъ кажется съ перваго взгляда. Но если всмотрѣться пристальнѣе, то найдется, что и Горехвастовъ, въ сущности, рѣшительно то же самое, что Корепановъ и Лузгинъ. Разница между ними только въ томъ, что тѣ двое все-таки учились чему-нибудь и, при всей поверхностности своего образованія, усвоили нѣкоторыя, наиболѣе простыя внушенія, какъ, напримѣръ, что кража постыдна, шулерство гнусно и т. п. Горехвастову же и этого не внушили, а учили его имѣть только пріятныя манеры и causer обо всемъ. Какъ натура талантливая, онъ поддался этому направленію, и манеры его, дѣйствительно, казались хороши, и causeur вышелъ изъ него отличный. Товарищи его ѣздили къ француженкамъ по воскресеньямъ, и онъ ѣздилъ, потому что не въ силахъ былъ противиться искушенію, не имѣя никакой внутренней опоры, точно такъ, какъ и Лузгинъ съ Корепановымъ. Петръ Бурковъ сводитъ его съ людьми, которыхъ карьера и назначеніе жизни ограничиваются не совсѣмъ честными подвигами на зеленомъ полѣ, и онъ подвизается вмѣстѣ съ ними; затѣиваютъ эти люди штуку en grand, чтобы купца надуть,—и онъ является ревностнымъ исполнителемъ проекта; говоритъ ему Петръ Бурковъ о жизни en artiste,—онъ и en artiste жить соглашается; зоветъ его по ярмаркамъ ѣздить,—онъ и на это готовъ. Иногда какъ будто добрые инстинкты въ немъ просыпаются: ему, напримѣръ, неловко становится продать себя безобразной барынѣ, которая задумала воспользоваться его атлетическими формами. Но Бурковъ сказалъ ему, что это вздоръ, *велѣлъ* ему рѣшиться, во имя правъ дружбы,—и Горехвастовъ рѣшился. Скажите, на что же еще слабодушнѣе человѣка? Онъ гораздо слабѣе Лузгина и Корепанова, потому что еще менѣе, чѣмъ они, имѣетъ внутреннихъ убѣжденій; онъ рѣшительно не можетъ противиться окружа-

ющимъ вліяніямъ, не можетъ даже уклониться отъ нихъ въ бездѣйствіе, а прямо имъ подчиняется... А тамъ ужъ онъ идетъ дальше, по силѣ инерціи, и даже нерѣдко выказываетъ наружную твердость и храбрость, приличную обстоятельствамъ. Только эта энергія и твердость походятъ на храбрость лакея, который громогласно кричитъ съ крыльца „подавай!“ а потомъ тотчасъ же подобострастно усаживаетъ барина въ карету и смиренно стоитъ передъ нимъ, если тому вздумается намылить ему шею. Храбрость Горехвастова мгновенно исчезаетъ: онъ трясется и блѣднѣетъ, какъ только увидитъ гдѣ-нибудь около себя *кавалера* или другую полицейскую власть, или даже просто въ чужомъ обществѣ получитъ „подлеца“, съ любезнымъ обѣщаніемъ выбросить его изъ окна. Безсиліе противиться внѣшнимъ вліяніямъ обнаруживается въ немъ на каждомъ шагу еще болѣе, чѣмъ въ Корепановѣ и Лузгинѣ.

Лѣнь, отвращеніе отъ труда составляетъ одну изъ существенныхъ сторонъ его характера, несмотря на видимую неутомимую дѣятельность. Онъ не хотѣлъ служить, и сдѣлался мошенникомъ, именно потому, что не хотѣлъ „сидѣть каждый день семь часовъ въ какой-то душной конурѣ, облизываясь на мѣсто помощника столоначальника“. Онъ чувствуетъ, что „стоитъ выше общаго уровня“; что можетъ быть и поэтомъ, и литераторомъ, и прожектеромъ, и капиталистомъ. Но ему непремѣнно хочется получить какъ можно больше безъ всякаго труда, и онъ избираетъ шулерство, какъ легчайшее средство обогащенія. Разорившись, онъ живетъ въ четвертомъ этажѣ, на манеръ артиста, и тутъ всего болѣе нравится ему полная безпечность, которой онъ можетъ предаваться. Ему тошно смотрѣть даже на своего сосѣда, Дремилова, только потому, что этотъ сидитъ все за книжкой. Негодованіе разыгрывается въ

немъ при одномъ воспоминаніи о такомъ труженичествѣ. „Ну, что это за жизнь, спрашиваю я васъ,— восклицаетъ онъ,—и можетъ ли, имѣетъ ли человѣкъ право отдавать себя въ жертву геморою? И чего, наконецъ, онъ достигнетъ?“ и т. д. Горехвастову мало быть практическимъ лѣнтяемъ: онъ старается свою лѣнь возвести въ теорію. Онъ даже положительно выражается, что „геніальная натура науки не требуетъ, потому что до всего собственнымъ умомъ доходитъ. Спросите, напримѣръ, меня... Ну, о чемъ хотите!.. на все отвѣтъ дамъ, потому что это у меня русское, врожденное“. Какъ видите, и этотъ господинъ, подобно Лузгину, не прочь бы свалить свою пустоту на природу, на врожденность. Но въ его словахъ и разсказахъ нельзя не видѣть крайняго развитія лѣности, далеко превосходящей естественное и всякому человѣку дозволительное влеченіе къ покою.

„Однако онъ играетъ, мошенничаетъ, прожектируетъ,— могутъ возразить намъ.—Для этого тоже нужно много дѣятельности. Горехвастовъ работалъ и умомъ, и руками, и ногами, и всѣми членами тѣла для пріобрѣтенія фортуны. Онъ цѣлыя ночи проводилъ безъ сна, опасностямъ подвергался, странствовалъ по ярмаркамъ, путешествовалъ черезъ окна изъ второго этажа на улицу. Какъ хотите, а къ этому неспособна натура пассивная, лѣнивая, находящая высшее блаженство въ апатическомъ бездѣйствіи“. Все это кажется очень справедливымъ при первомъ взглядѣ. Но при нѣкоторомъ вниманіи не трудно сообразить, что и дѣятельность Горехвастова—совершенно пассивная, вынуждаемая обстоятельствами чисто внѣшними. Почти всегда онъ дѣйствуетъ по чужой указкѣ, ведомый другими мошенниками, почти всегда слѣдуетъ неуклонно тому направленію, на которое его толкнули. Пожалуй, если хотите, и онъ не совсѣмъ безъ дѣла. Но развѣ тогда

можно найти на свѣтѣ хоть одного человѣка бездѣльнаго? Тотъ бѣгаетъ цѣлый день около бильярда, другой сидитъ за шахматами, третій глубокомысленно куритъ сигару. Иной половину дня гуляетъ для моціона, а другую половину употребляетъ на то, чтобы задавать работу своему желудку, который едва въ цѣлыя сутки ее выполнитъ... Иной всю жизнь свою вѣсти разноситъ, другой каждый вечеръ въ театрѣ томится, и т. д., и т. д. Все это вѣдь тоже дѣло, если хотите, и ни одинъ человѣкъ безъ дѣлъ подобнаго рода обойтись въ своей жизни не можетъ, потому что законъ самой природы непремѣнно какое-нибудь движеніе предписываетъ. Но что это за движеніе, къ чему оно стремится, какая сила его производитъ,—вотъ на что нужно обращать вниманіе при оцѣнкѣ человѣческой дѣятельности. И камень бросить, такъ онъ полетитъ, и даже, если его искусно направить на воду, то кружки на ней произведетъ. И если воду вскипятить, то она такъ разбушуется, что и черезъ край пойдетъ; но затѣмъ разольется по полу и простынетъ тотчасъ,—только лужа останется. Подобными вспышками ограничивается и дѣятельность пропавшихъ талантливыхъ натуръ. Внутреннее влеченіе къ дѣятельности имъ уже сдѣлалось непонятно; сознательно и постоянно преслѣдовать свою цѣль у нихъ не хватаетъ терпѣнія и твердости. На одинъ порывъ, и даже сильный, ихъ еще станетъ, потому что они вообще, по слабости своихъ внутреннихъ силъ, склонны увлекаться внѣшними впечатлѣніями; но одна неудача, одно препятствіе, котораго нельзя удалить сразу,—и энергія оставляетъ ихъ, и природная лѣнь беретъ свое. Всѣ они являются дѣятельными представителями того взгляда на вещи, который высказываетъ Горехвастовъ такимъ образомъ:

„Я, Николай Иванычъ, патріотъ, я люблю русскаго человѣка за то, что онъ не задумывается долго. Другой

вотъ, нѣмецъ или французъ, надъ всякою вещью остановится, даже смотрѣть на него тошно, точно родить желаетъ, а нашъ братъ только подошелъ, глазами вскинулъ, руками развелъ: „этого-то не одолѣть?—говоритъ:—да съ нами крестная сила! да мы только глазомъ мигнемъ!“ И дѣйствительно—какъ почнетъ топоромъ рубить,—только щепки летятъ; геніальная, можно сказать, натура! безъ науки всѣ науки прошелъ!.. Люблю я, знаете, иногда посмотрѣть на нашего мужичка, какъ онъ тамъ дѣйствуетъ: лежитъ, кажется, цѣлый день на боку, да зато ужъ какъ примется, такъ у него словно горитъ въ рукахъ дѣло, откуда что берется!“

Вмѣстѣ съ слабодушіемъ и лѣностью, Горехвастовъ имѣетъ и другіе второстепенные признаки талантливыхъ натуръ. Онъ съ удивительною откровенностью разсказываетъ свои подвиги и при этомъ энергически ругаетъ себя, превосходя въ этомъ случаѣ Корепанова и Лузгина настолько, насколько натура его размашистѣе ихъ натуръ.—„Я подлецъ,—восклицаетъ онъ и рветъ при этомъ свои волосы:—я не стою быть въ обществѣ порядочныхъ людей! я подлецъ, я погубилъ свою молодость! я долженъ просить прощенія у васъ, что осмѣлился осквернить вашъ домъ своимъ присутствіемъ“. Какое сильное раскаяніе!—можете вы подумать. Не безпокойтесь: это такъ, вспышка, для успокоенія собственной совѣсти. „Мы, дескать, не такіе пошляки, какъ другіе-прочіе; мы чуемъ нашу высшую русскую породу и знаемъ, что если бы захотѣли, такъ могли бы быть очень хорошими людьми“. На дѣятельность же Горехвастова всѣ подобныя вспышки не оказываютъ ни малѣйшаго вліянія. Въ то самое время, какъ онъ декламируетъ о своемъ недостоинствѣ, его арестуютъ за кражу казенныхъ денегъ женщиною, съ которой онъ находился въ „непозволительной“ связи. Прожившъ свою

молодость, этотъ господинъ до того налѣнился, что уже и украсть самъ не хочетъ, а заставляетъ свою любовницу.

Оставимъ теперь въ сторонѣ талантливыхъ пріятелей Щедрина и поставимъ вопросъ въ болѣе отвлеченномъ видѣ, чтобы не задѣвать никакихъ личностей. По нашему мнѣнію, въ обществѣ молодомъ, не успѣвшемъ еще основательно переработать всѣхъ своихъ взглядовъ и мнѣній, не успѣвшемъ, по причинѣ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, развить въ себѣ самоопредѣляемости къ дѣйствію (говоря по-ученому), непремѣнно являются два главные разряда членовъ. Одни—вполнѣ пассивные, безличные и крайне ограниченные какъ въ своихъ способностяхъ, такъ и въ потребностяхъ. Эти—смирны; они не волнуются, не сомнѣваются и не только не выходятъ изъ своей колеи, но даже не подозрѣваютъ, что можно изъ нея выйти. Въ ученьи, въ службѣ, въ жизни—они всегда исправны; что имъ прикажутъ, то они сдѣлаютъ, что дадутъ выучить, выучатъ, до какихъ границъ позволятъ дойти, до тѣхъ и дойдутъ. Это уже люди убитые, безнадежные; нечего ждать отъ нихъ, нечего стараться направить въ хорошую сторону. Какъ ихъ ни направьте, они не выйдутъ изъ своего ничтожества, не разовьютъ вашихъ идей, не будутъ вашими помощниками. Они, какъ балластъ на кораблѣ, даютъ только устойчивость кораблю общества противъ бурныхъ вѣтровъ и толчковъ взволнованнаго моря. Они тяжелы на подъемъ, неподвижны и тупо вѣрны одному, разъ навсегда заученному правилу, разъ навсегда принятому авторитету. Отступленія дѣлаются ими только на практикѣ, и всегда безсознательно. Они могутъ похвалить романъ Жоржъ-Сандъ, пока не знаютъ, что онъ написанъ Жоржъ-Сандъ; могутъ даже посмѣяться надъ нелѣпостью, если вы имъ не скажете, что взяли эту нелѣпость изъ уважаемой ими книги;

могутъ осудить гнусный поступокъ, не зная, что онъ учиненъ генераломъ. Но какъ скоро авторитетъ является наружу, сознаніе ихъ просвѣтляется, и тутъ ужъ никакія убѣжденія не помогутъ... Убѣжденій и принциповъ нѣтъ для этихъ людей: для нихъ существуютъ только правила и формы. Въ дѣятельности ихъ есть что-то похожее на медвѣжью пляску для выгоды хозяина и для потѣхи праздnаго народа; въ разговорахъ же своихъ они напоминаютъ попугая, который на всѣ ваши вопросы отвѣчаетъ одно заученное слово и часто совершенно невпопадъ говоритъ вамъ „дуракъ" за всѣ ваши ласки. Нѣкоторые, впрочемъ, и этимъ утѣшаются: интересно, дескать, что птица говоритъ, точно человѣкъ.

Другую половину молодого общества составляютъ именно тѣ люди, которыхъ называютъ современными героями, „провинціальными Печоринымъ" „уѣздными Гамлетами", наконецъ, „талантливыми натурами". Послѣднее названіе, можетъ-быть, менѣе другихъ соотвѣтствуетъ мысли, которую мы хотимъ высказать: но—дѣло не въ названіи. Натуры тутъ, конечно, не много, а болѣе дѣйствуютъ обстоятельства житейскія, состоящія, во-первыхъ, въ отношеніяхъ времени. Печоринскія замашки и претензіи на талантливость натуры являются всегда, какъ уже замѣтилъ Щедринъ, въ молодомъ поколѣніи, обладающемъ сравнительно большею свѣжестью силъ, болѣе живою воспріимчивостью чувствъ. Подвергаясь разнообразнымъ вліяніямъ, молодые люди находятся въ необходимости сдѣлать, наконецъ, выборъ между ними. Начинается внутренняя работа, которая въ иныхъ исключительныхъ личностяхъ продолжается безостановочно, идетъ живо и самостоятельно, съ строгимъ разграниченіемъ внутреннихъ органическиестественныхъ побужденій отъ внѣшнихъ вліяній, дѣйствующихъ болѣе или менѣе насильственно. Но подоб-

ныя личности представляютъ исключеніе, тѣмъ болѣе рѣдкое, чѣмъ ниже стоитъ образованность всего общества. Самая же большая часть людей, начинающихъ работать мыслью въ обществѣ мало образованномъ, оказывается слабою и негодною, чтобы устоять противъ ожидающихъ ихъ препятствій. Съ самаго появленія своего на бѣлый свѣтъ, въ самые первые впечатлительные годы жизни люди новаго поколѣнія окружены все-таки средою, которая не мыслитъ, не движется нравственно, о мысли всякаго рода думаетъ, какъ о дьявольскомъ наважденіи, и безсознательно-практически гнетъ и ломаетъ волю ребенка. Это второе обстоятельство—противодѣйствіе начальнаго воспитанія и всей окружающей среды идеямъ времени, которому уже принадлежитъ новое поколѣніе,—и приводитъ къ паденію большую часть талантливыхъ натуръ. Возникли у нихъ кое-какія требованія, которымъ прежняя среда и прежняя жизнь не удовлетворяютъ: надобно искать удовлетворенія въ другомъ мѣстѣ. Но для этого надо много продолжительныхъ усилій, надо долго плыть противъ теченія. Между тѣмъ корабль давно уже стоитъ на мели, и балластъ грузно лежитъ внизу. Талантливыя натуры, замѣтивъ, что все около нихъ движется,—и волны бѣгутъ, и суда плывутъ мимо,—рвутся и сами куда-нибудь; но спять корабль съ мели и повернуть по-своему они не въ силахъ, уплыть одни далеко отъ своихъ—боятся: море невѣдомое, а пловцы они плохіе. Напрасно кто-нибудь, болѣе ихъ искусный и неустрашимый, переплывшій на противоположный берегъ, кричитъ имъ оттуда, указывая путь спасенія; плохіе пловцы боятся броситься въ волны и ограничиваются тѣмъ, что проклинаютъ свое малодушіе, свое положеніе, и иногда, заглядѣвшись на бѣгущую мимо струю, или ободренные крикомъ, вылетѣвшимъ изъ капитанскаго рупора, вдругъ во-

ображаютъ, что корабль ихъ бѣжитъ, и восторженно восклицаютъ: „пошелъ, пошелъ, двинулся!“ Но скоро они сами убѣждаются въ оптическомъ обманѣ и опять начинаютъ проклинать или погружаются въ апатичное бездѣйствіе, забывая простую истину, что имъ придется умереть на мели, если они сами не позаботятся снять съ нея корабль и прежде всего—хоть помочь капитану и его матросамъ выбросить балластъ, мѣшающій кораблю подняться.

Какой изъ этихъ двухъ разрядовъ лучше, конечно, не затруднится сказать никто.

Н. Добролюбовъ.

Сатира Салтыкова въ шестидесятыхъ годахъ *).

Необходимо отличать дѣятельность Щедрина до реформы, выразившуюся въ „Губернскихъ очеркахъ“ и возбудившую несомнѣнное участіе всей читающей публики, и дѣятельность его послѣ реформы, болѣе оригинальную, горячую и представляющую болѣе широкій кругозоръ, но встрѣтившую въ публикѣ уже не столь единодушный и одобрительный пріемъ. Причины этой разницы лежащія какъ въ характерѣ дѣятельности Щедрина въ эти два разные періода, такъ и въ отношеніяхъ къ нимъ публики, не трудно понять. Въ „Губернскихъ очеркахъ“ авторъ впервые выпустилъ въ свѣтъ матеріалъ, давно уже накопленный и довольно знакомый въ жизни всѣмъ и каждому. Вопросы, поднятые „Губернскими очерками“, были болѣе или менѣе уже знакомые и давно поднятые въ литературѣ и, притомъ, положительно рѣшенные мыслящею частью публики. Ничто не мѣшало, слѣдовательно, ни Щедрину обнаружить въ этой довольно спокойной работѣ всю бойкость своего художественнаго таланта; ничто не мѣшало также и публикѣ безусловно восхищаться бойкостью и непривычною, въ то время, у насъ смѣлостью изображеній и хохотать или негодовать на типы, судъ

*) „Библ. для чтенія“ 1863 г., № 8. Критич. литер. о произвед. Салтыкова. Вып. I.

надъ которыми не могъ быть ни для кого сомнителенъ, такъ какъ въ своемъ воззрѣніи Щедринъ былъ только болѣе или менѣе передовымъ выразителемъ большинства образованныхъ людей. Нѣсколько иное произошло, когда начавшаяся въ нашемъ обществѣ реформа и, вообще, сильное броженіе затронули самые существенные интересы и убѣжденія многихъ классовъ и произвели нѣкоторый разладъ даже между мыслящими людьми, соединенными прежде въ общей враждѣ противъ всѣхъ извѣстныхъ враговъ движенія. Съ одной стороны, самая задача Щедрина затруднилась, такъ какъ ему предстояло имѣть дѣло часто съ совершенно новыми явленіями, на которыя на лету, при самомъ ихъ возникновеніи, требовалось установить истинную и вѣрную точку зрѣнія, и пришлось сдѣлать это, исключительно, на свой страхъ, такъ какъ справляться съ общественнымъ мнѣніемъ было некогда, да въ немъ не было уже, въ отношеніи ко многимъ явленіямъ, прежняго единомыслія. Съ другой стороны, и публика, по весьма естественной причинѣ, не могла относиться къ новой дѣятельности Щедрина съ прежнимъ единодушнымъ сочувствіемъ. Отпали отъ поклонниковъ его прежде всего, конечно, люди, непосредственно затронутые какъ реформой, такъ и сатирой; потомъ оптимисты, чаявшіе уже у насъ водворенія златого вѣка, которымъ казалось, что Щедринъ просто изъ каприза или по ремеслу продолжаетъ обличать, когда нужно бы, по ихъ мнѣнію, лишь радоваться и торжествовать; наконецъ, до извѣстной степени удалились отъ Щедрина люди, воспитанные на идеяхъ спокойнаго объективнаго творчества и встрѣтившіе въ сатирѣ его раздраженіе и рѣзкость, несовмѣстныя, по ихъ мнѣнію, съ достоинствомъ литературныхъ отношеній къ общественнымъ вопросамъ и явленіямъ. Но именно тамъ, гдѣ разошлось съ Щедриномъ большинство, онъ и является,

по преимуществу, оригинальнымъ, многосторонним, и изученіе этой новой его дѣятельности и представляетъ для насъ наибольшій интересъ по количеству поднятыхъ имъ самыхъ живыхъ вопросовъ и по твердости и смѣлости постоянно сохраняемыхъ имъ отношеній къ дѣйствительности. Именно въ этой твердости и, такъ сказать, неподкупности чутья его никакими призрачно-блестящими явленіями мы и полагаемъ главную заслугу Щедрина, твердо и смѣло державшаго свое темное знамя во все время почти всеобщихъ ликованій и восторговъ. По всѣмъ высказаннымъ соображеніямъ мы посвятимъ настоящую статью, главнѣйшимъ образомъ, новой дѣятельности Щедрина и постараемся разсмотрѣть ее со вниманіемъ и обстоятельностью, которыхъ она вполнѣ заслуживаетъ. Нельзя не сознаться прежде всего, что, вчитываясь внимательно въ послѣднія сочиненія Щедрина, находишь въ нихъ весьма полное отраженіе внутренней жизни нашего общества въ послѣдніе два-три года. Затронутые интересы, поднятые въ литературѣ и обществѣ вопросы, новые люди и стремленія—все это находитъ себѣ въ Щедринѣ весьма внимательнаго выразителя и истолкователя. Не говоря уже объ объявленіяхъ первостепенной важности, какъ уничтоженіе крѣпостного права, появленіе благодѣтельной гласности и уничтоженіе откуповъ,—даже мелкія явленія, напримѣръ, слухи о готовящихся преобразованіяхъ, какія-нибудь измѣненія въ жизни провинціальной, успѣвшія возникнуть подъ вліяніемъ новыхъ порядковъ, фальшивыя тревоги, пробѣгающія по временамъ въ обществѣ, глубоко потрясенномъ и чутко прислушивающемся ко всякой новизнѣ,—все это вносится Щедринымъ въ его живую лѣтопись и сопровождается комментаріями—увы!—глубоко неутѣшительными и многими считаемыми за умышленно-злостныя. Придерживаясь раздѣленія, оче-

видно, существующаго и у самого автора, мы постараемся собрать въ отдѣльныя группы лицъ, положительно сокрушенныхъ новымъ духомъ, внесеннымъ въ наше общество, прямо и откровенно спасовавшихъ передъ нимъ; лицъ, озадаченныхъ и озлобленныхъ, но притворяющихся спокойными и даже сочувствующими реформамъ; наконецъ, лицъ, представляющихъ самыхъ новыхъ дѣятелей реформы, волею или неволею плывущихъ за временемъ и старающихся попасть въ тактъ.

Полнѣйшею представительницею перваго, самаго жалкаго разряда можетъ служить г-жа Падейкова. Одинъ слухъ о чемъ-то новомъ, о какомъ-то ядѣ, который дѣйствуетъ во всѣхъ подвластныхъ ей Ѳеклушкахъ, Маришкахъ, Порфишкахъ и Прошкахъ, выбиваетъ ее совершенно изъ обычной колеи, запутываетъ всѣ ея понятія, всѣ отношенія, кажетъ ей повсюду какіе-то призраки и, наконецъ, окончательно сокрушаетъ ее, когда сосѣдъ-дворянинъ привозитъ ей извѣстіе, что „оно“ уже кончено. Описаніе этого визита, сдѣланное краткими, но правдивыми и мастерскими штрихами визита, вѣроятно, повторявшагося безконечное число разъ въ нашемъ обширномъ отечествѣ и, между тѣмъ, уже теперь, черезъ три года, кажущагося не совсѣмъ вѣроятнымъ въ подробностяхъ,—мы рѣшаемся представить въ подлинникѣ.

— Я къ вамъ, Прасковья Павловна, съ дѣльцемъ-съ!— таинственно проговорилъ Грузиловъ, едва держась на кончикѣ стула и безпокойно поглядывая на полуотворенную дверь, мимо которой безпрестанно шмыгали дворовыя дѣвки. Прасковья Павловна измѣнилась въ лицѣ. „Что такое?“ спросила она дрожащимъ голосомъ, уже предчувствуя бѣду.—Гм... точно-съ... извѣстіе-съ... до всѣхъ касающе... — пробормоталъ Грузиловъ, самъ инстинктивно робѣя.—„Да ты не гымкай, а говори, сударь, дѣло!“—сказала съ сердцемъ Прасковья Павлов-

на. Грузиловъ снова съ безпокойствомъ взглянулъ на дверь, гдѣ, какъ ему показалось, торчали двѣ женскія головы, очевидно, желавшія подслушать барскій разговоръ.—Перметте... ле портъ?—сказалъ онъ рѣшительно, хотя до настоящей минуты отроду не выговаривалъ ни одного французскаго слова. — „Ферме", — отвѣчала Прасковья Павловна. Грузиловъ приперъ дверь поплотнѣе.—Имѣю честь доложить, — сказалъ онъ вполголоса,—что на сихъ дняхъ „оно" уже кончено, то-есть рѣшено и подписано-съ!—„Какъ рѣшено? кѣмъ подписано? Да говори же, сударь, говори!"—Такъ точно-съ! для „нихъ", можно сказать, все счастье составили-съ!—„Парле франсе",—сказала Прасковья Павловна, поднимаясь съ дивана и подступая къ Грузилову:—„де ки, де ки саве?"—Иванъ Степанычъ вчерашняго числа достовѣрное извѣстіе получили-съ...—Прасковья Павловна съ глухимъ воплемъ опустилась на диванъ. Грузиловъ засуетился около нея. — Матушка, Прасковья Павловна!—говорилъ онъ нѣсколько ослабнувшимъ голосомъ,—матушка, не сердитесь! Богъ дастъ, все попрежнему будетъ!—Прасковья Павловна, упершись въ спинку дивана и зажмуривъ глаза, безмолвствовала.—Успокойтесь, матушка!—утѣшалъ Грузиловъ. — Иванъ Степанычъ сказывали, что все это только такъ-съ, предварительно-съ... для того только, чтобъ французу по губамъ помазать... „Нѣтъ, Гаврила Семенычъ", — сентиментально продолжала Прасковья Павловна: — „я вотъ какъ скажу: съ нынѣшняго дня я всю мою надежду на Бога возложила! Какъ Онъ, Царь небесный, положитъ, такъ пусть и будетъ... Только ужъ я въ обиду себя не дамъ!"—прибавила она совершенно неожиданно.

Къ этому же разряду сокрушенныхъ и живущихъ только тщетною надеждой, что все это „можно будетъ оставить попрежнему", принадлежитъ группа дворянъ изъ „Недавнихъ комедій", собравшихся къ предводи-

телю по случаю возвращенія его изъ Петербурга съ свѣжею вѣстью о реформѣ. Сюда же принадлежатъ и „заживо погребенные“ дѣйствительные статскіе совѣтники Андрей Иванычъ и Иванъ Андреичъ, отставленные, но еще ласкающіе себя надеждой, что ихъ полезная дѣятельность въ изобрѣтеніи новыхъ графъ и очищеніи бумагъ еще потребуется для отечества, лишь внезапно почему-то сбившагося съ толку, но имѣющаго возвратиться вновь на старый путь. Сюда же, безъ сомнѣнія, слѣдуетъ отнести и губернскаго штабъ-офицера, масона по его убѣжденію, но масона не заблудшагося, а очищеннаго. И этихъ-то высокополезныхъ дѣятелей, по какимъ-то непонятнымъ соображеніямъ, хотятъ упразднить, по слухамъ, какъ будто ненужныхъ дѣятелей. Понятно, глубоко искреннее сокрушеніе одного изъ подобныхъ дѣятелей, когда пріятель изъ Петербурга извѣщаетъ его о готовящемся ему упраздненіи и совѣтуетъ перемѣнить свою священную обязанность на службу „по части сивухи и клубнички“. Нельзя не сочувствовать его горячей и твердой вѣрѣ, что это уничтоженіе есть только временное, и что „въ мундирахъ или безъ мундировъ, они должны-таки возродиться“. „Конечно, сначала все это будетъ какъ будто подъ пепломъ,—утѣшаетъ онъ свое патріотическое чувство,—а потомъ оно потеплится, потеплится, да и воспрянетъ настоящимъ манеромъ!“ Къ той же группѣ обиженныхъ и потерявшихся мы должны отнести и Кондратія Трифоновича Сидорова въ „Деревенской тиши“, котораго заѣлъ и сокрушилъ сословный антагонизмъ, вычитанный имъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и внезапно усмотрѣнный имъ во всѣхъ отношеніяхъ его со своими крѣпостными. Не утѣшаетъ его ни водка, ни благодушная бесѣда съ „батюшкинымъ братомъ“, ни даже Машенька, и все видятся ему козни со стороны Ваньки, и накопляются въ разстроенномъ вообра-

женіи его улики на его грубости для предъявленія становому. Даже тихаго и безмятежнаго убѣжища „Пустынника“ (см. „Нашъ губернскій день“) не оставляетъ въ покоѣ разлившійся по всему русскому обществу „ядъ“. Напрасно продолжаютъ черноглазовскія дѣвки присылать ему зернистой икры или рыжичковъ соленыхъ, а мужики изъ Полорѣца балыковъ и другихъ яствъ; напрасно всѣ, какъ онъ выражается, стоялые жеребцы въ губерніи состоятъ въ безусловномъ его повиновеніи и цѣлые хоры готовы всегда для увеселенія его и гостей: зараза чувствуется и имъ, и хотя, по выраженію Щедрина, онъ, отрѣзанный ломоть отъ общества, и „самою природой устроенъ такъ, что было бы у него вдоволь ѣства и пойла да малахай шелковый, такъ не проймешь его никакою скорбію“, однако и онъ скорбитъ и произноситъ неподобныя рѣчи и справедливо обвиняетъ начальство, что оно не принимаетъ никакихъ мѣръ къ уничтоженію „заразы“. Впрочемъ, благодареніе Богу, зараза еще не совсѣмъ проникла въ мирное убѣжище, гдѣ владычествуетъ пустынникъ, и онъ сокрушается, такъ сказать, вчужѣ. „Я-то со своими справлюсь,—говоритъ онъ въ заключеніе бесѣды имъ же сокрушенному сановнику;—вотъ вы-то, гражданскіе, какъ?“ Та же зараза проникла въ мирный домъ „генерала Голубчикова“, состоящаго, какъ видно, по своей должности въ весьма близкой связи съ откупной системой, и потому мы присутствуемъ въ разсказѣ Щедрина при рядѣ сценъ, представляющихъ генерала Голубчикова и его семейство то на верху блаженства, то въ безднѣ отчаянія, смотря по тому, какія извѣстія о ходѣ откупного дѣла получаются изъ Петербурга...

Переходимъ ко второй группѣ лицъ; но предварительно, такъ какъ это будутъ новые дѣятели, мы передадимъ нѣкоторыя общія воззрѣнія нашего автора на характеръ тѣхъ новыхъ и радостныхъ явленій, которыя

встрѣчены были съ такимъ восторгомъ всею Россіей и обѣщали радикальное преобразованіе нашего общества.

„Въ одно морозное свѣтлое ноябрьское утро,—повѣствуетъ Щедринъ,—мы проснулись и, безъ всякой причины, ощутили въ себѣ нѣчто, въ высшей степени, странное. Какъ будто вокругъ насъ что-то измѣнилось: и просторъ сузился, и пригорочки на ровныхъ мѣстахъ; какъ будто въ насъ нѣчто оборвалось; какъ будто и извнѣ и изнутри что-то въ одно и то же время и покалываетъ, и тревожитъ, и возбуждаетъ, и смущаетъ насъ... И въ то же самое время въ оконечностяхъ нашего языка почувствовали мы нестерпимое раздраженіе...—Папася, хацу гавалить! сказали мы. — „Говори, другъ мой!“ отвѣчали намъ.—Какая же причина столь внезапнаго явленія?.. Ближайшія изслѣдованія даютъ поводъ думать, что первою и главною побудительною причиною было то, что намъ вышло позволеніе говорить, подобно тому, какъ выходятъ—отставка, опредѣленіе, отсрочка, новыя формы и т. д. Спрашивается: если вышла человѣку новая форма одежды, можетъ ли онъ продолжать ходить въ старой? Подобно сему, если вышло человѣку дозволеніе говорить, можетъ ли онъ молчать?

И самое нежеланіе съ его стороны воспользоваться предоставленнымъ правомъ не должно ли быть признано равносильнымъ ослушанію воли начальства“?

Итакъ, всѣ ревностно начали исполнять волю начальства, носить вновь установленную форму. Дѣло совершенно естественное, и странно было бы, если бы случилось иначе у насъ, русскихъ, которыхъ главнѣйшая добродѣтель, еще по замѣчанію Екатерины Великой, заключается „въ образцовомъ послушаніи“, съ прибавкой, кромѣ того, еще какого-то „корня“. Но дѣло въ томъ, что если послушаніе и оказалось „образцовымъ“, то не всѣ съ одинаковою охотой, съ одинако-

вою расторопностью и предупредительностью оказали это послушаніе. Въ этомъ только, именно, и различаются разныя лица второй группы изъ выведенныхъ Щедринымъ лицъ.

Новая форма, какъ выражается авторъ, т.-е. новые порядки потребовались прежде всего отъ тѣхъ вліятельныхъ лицъ, которыя сообщаютъ, такъ сказать, центральный духъ и направленіе отдѣльнымъ областямъ и управленіямъ обширнаго нашего отечества. Не всѣ, какъ и слѣдовало ожидать, оказались равно подготовленными къ этой новой формѣ, и это-то, надѣемся, кратковременное замѣшательство въ правительственныхъ принципахъ не ускользнуло отъ сатирическаго ума Щедрина и дало ему обильную пищу для очерковъ. Дѣйствительно, какъ-то странно и даже смѣшно видѣть, какъ какой-нибудь генералъ Зубатовъ, всю жизнь свою державшійся принциповъ чистоты, строгости, безусловнаго повиновенія и т. п. твердыхъ и ясныхъ принциповъ, — Зубатовъ, который, бывало, на замѣчаніе подчиненнаго о неисполнимости какого-либо требованія, похожаго на сѣяніе ржи на камнѣ, отвѣтствовалъ: „Ну, что же-съ!.. и посѣемъ-съ!“— „Да вѣдь рожь-то не вырастетъ“. — „Вырастетъ-съ! А не вырастетъ, такъ будемъ камень сѣчь-съ!“ — „А она и отъ этого не вырастетъ!“— „И опять будемъ сѣчь-съ! Намъ до этого дѣла нѣтъ, что можно и что нельзя... мы будемъ сѣчь-съ!“ Зубатовъ, однимъ словомъ, который въ тридцать пять лѣтъ службы никогда никакихъ препятствій не имѣлъ, а тѣмъ менѣе сомнѣній въ вѣрности и дѣйствительности принциповъ, вдругъ начинаетъ сомнѣваться, задумываться и, наконецъ, доходитъ до того, что вступаетъ со своимъ подчиненнымъ въ слѣдующій кроткій разговоръ: „Вотъ, любезный другъ, оказывается теперь, что мы съ вами до сихъ поръ спали, то-есть не то чтобы совсѣмъ спали,

а такъ, знаете, скользили по поверхности... составляли тамъ вѣдомости... наблюдали, чтобы входящія и исходящія не были закапаны. Выходитъ, что все это было напрасно; д-да! Выходитъ, что отъ этого у насъ и торговля не развивается... и фабрикъ нѣтъ... и богатство народное тово...“ И на вопросъ подчиненнаго: „Что прикажете, ваше превосходительство?“, отвѣчаетъ: „Ну, да вы меня понимаете... Я бы хотѣлъ, чтобы этакъ того... новенькое что-нибудь... Знаете ли что? — прибавилъ онъ весело, какъ бы озаренный внезапною мыслью:—устроимте-ка здѣсь биржу“. Но благодѣтельный проектъ биржи, какъ разсказываетъ авторъ, не удался по грубости и невѣжеству нашего купечества, которое увидѣло въ немъ почему-то не благодѣяніе для себя, а новый видъ побора и даже обиду, и предложило, если ужъ непремѣнно что-нибудь надобно, „просто чѣмъ ни на есть обложить ихъ на общеполезное устройство“. Точно такъ же лопнули благодѣтельные проекты распространенія грамотности, путей сообщенія, выработанные тайно въ губернской канцеляріи, но не признанные тѣми, кого они должны были осчастливить, и новая благодѣтельная дѣятельность генерала Зубатова оказалась безплодною. Видно, не всякую форму легко перемѣнить. А все-таки Зубатовъ оказывается исполнительнымъ чиновникомъ и, несмотря на разныя неудачи своей новой дѣятельности, старается изо всѣхъ силъ поддѣлаться подъ новыя требованія, и не даромъ, по замѣчанію автора, корреспонденты „Московскихъ Вѣдомостей“ называютъ его „нашимъ справедливымъ“ и „благодушнымъ начальникомъ“, а въ городѣ Глуповѣ „даже стонъ стоитъ по случаю учтиваго его обращенія“. „И не видывали мы, сударь, — говоритъ обыватель Анемподистъ Ѳедотовичъ, — не видывали такого! Бывало, начальникъ-то позоветъ: „А ну-те, говоритъ, чистопсовые! а знаете

ли, говоритъ, что васъ всѣхъ правъ состоянія лишать велѣно!" Такъ мы, сударь, такъ, бывало, всѣ ходуномъ и ходимъ передъ нимъ! А этотъ просто даже и на начальника не похожъ: на стулъ это сажаетъ, папироску подаетъ. „Разскажите, говоритъ, какая у васъ статистика!" Но всѣ эти старанія Зубатова и похвалы корреспондентовъ, и восторгъ, смѣшанный съ изумленіемъ, жителей Глупова не смягчаютъ ожесточеннаго сердца нашего сатирика и глухо гремятъ похожія на пророчества слова его, обращенныя къ генералу Зубатову: „Вновь спрашиваю я тебя, величественный Зубатовъ: ты ли это? Если это ты, то помни, что конфузъ входитъ пудами, а выходитъ золотниками, и что однажды опоенную лошадь никакія человѣческія усилія не въ силахъ возвратить къ прежней лошадиной бодрости и нестомчивости! Что если вновь приказано будетъ по десяти разъ въ день утопать въ стаканѣ воды и по сту разъ соскакивать съ колокольни? Дрожать за тебя или нѣтъ? Воспрянешь ли ты или..." О, какъ бы смущено было сердце Зубатова этими словами, если бы Зубатовъ... не былъ, какъ само собой разумѣется, вымысломъ автора. Но не одни только распорядители, люди, попеченіямъ которыхъ поручены въ различныхъ мѣстахъ нравственность, спокойствіе и благосостояніе россійскихъ гражданъ, смущаются въ своемъ новомъ, непривычномъ дѣлѣ. Самые граждане, для блага которыхъ, повидимому, и раздались всѣ эти громкія фразы о гласности, самоуправленіи, мѣстныхъ интересахъ и т. п., какъ-то туго понимаютъ и поддаются новому духу, на нихъ повѣявшему. Такъ, по крайней мѣрѣ, слѣдуетъ заключить изъ слѣдующаго разсказа Щедрина о томъ, какъ приняли граждане города Глупова первый свѣтъ гласности, пролитой газетами на ихъ градоначальника по случаю якобы неудачныхъ его о пожарныхъ командахъ и предпочтенія карточной

игры своимъ прямымъ обязанностямъ. Весь городъ переполошился, какъ и слѣдовало ожидать, такою неслыханною вещью. Нашлись лишь нѣсколько молодыхъ вольнодумцевъ, выразившихъ сочувствіе къ обличительной статьѣ; все, что было посолиднѣе и имѣло прочное общественное положеніе, скорбѣло болѣе объ обиженномъ градоначальникѣ. Мы не будемъ разсказывать о томъ, какъ авторъ статьи былъ, по совѣту стряпчаго, не подвергнутъ прямому преслѣдованію, а „пропущенъ сквозь строй жизненныхъ обстоятельствъ", такъ что послѣ многихъ непріятныхъ приключеній принужденъ былъ, наконецъ, оставить городъ, и остановимся на впечатлѣніи, произведенномъ первымъ опытомъ гласности на мирныхъ гражданъ города Глупова.

„Прежде всѣхъ, какъ и водится, узналъ городской голова, къ которому прямо отъ городничаго забѣжалъ стряпчій. Должно быть, разсказъ стряпчаго былъ особенно умилителенъ, потому что голова, слушая его, совсѣмъ растужился: „Ишь ты что!—сказалъ онъ, когда стряпчій кончилъ:—что жъ теперича мнѣ-то дѣлать?"— „Да надо бы тово..." — „Опчество собрать, видно, надать", продолжалъ голова и жалобно вздохнулъ. „Общество не общество, а именитыхъ". Голова вновь вздохнулъ. „Однако, какъ же это?— произнесъ онъ:— не въ примѣръ, значитъ, прочимъ?" — „Ну, такъ что жъ такое?" — „Ничего-съ... я такъ только, къ примѣру, что опчество собрать, видно, надать... Ничего-съ, можно-съ!" На скорую руку были собраны въ домѣ головы именитые, къ которымъ хозяинъ держалъ рѣчь: „Ну, именитые,— сказалъ онъ,— градоначальника нашего обидѣли... Богъ грѣхамъ терпѣлъ, царь жаловалъ, губерніи начальникъ благодарность объявлялъ, а песъ борзой облаялъ... поditко-сь!"—„Значитъ, смириться должонъ!" произнесъ одинъ изъ именитыхъ.—„Это, Ѳедоръ

Аѳанасьичъ, значитъ, для смиренья ему Богъ послалъ", произнесъ другой.—„Божьи дѣла намъ судить не приходится,— сказалъ голова, — а выраженье отъ насъ по этому случаю требуется!" Именитые переглянулись. „Что жъ, именитые, почтить начальника въ горести, по мѣрѣ силы возможности, есть каждаго долгъ и обязанность". Молчаніе. „Итакъ, возблагодаримъ Создателя", произнесъ голова, вспомнивъ, что однажды начальникъ губерніи именно этими словами кончилъ рѣчь свою. „И вотъ такимъ образомъ, — прибавляетъ авторъ, — „Московскія Вѣдомости" сдѣлались причиной, что нашъ градоначальникъ былъ въ этомъ году лишній разъ именинникомъ".

Такъ, по свидѣтельству Щедрина, повели себя именитые граждане города Глупова по случаю появленія на свѣтъ благодѣтельной гласности. Гораздо съ большимъ тактомъ и пониманіемъ сущности дѣла встрѣчаетъ новорожденную гласность и прочія благодѣтельныя явленія новаго духа времени благородное и чиновное сословіе того же города Глупова. Прежде всего они всѣ поголовно или развѣ за самыми малыми исключеніями спѣшатъ заявить свое сочувствіе новымъ идеямъ и порядкамъ. „Милостивые государи! — говоритъ престарѣлый князь Обалдуй-Тараканов̀ъ,—не подлежитъ никакому сомнѣнію, и всѣ вы со мной согласитесь, что нашему любезному отечеству открывается будущность не только прекрасная, но даже, смѣю думать, и блестящая". Затѣмъ, указавъ съ горечью на другія государства вселенной и даже на древній міръ, гдѣ повсюду усматривается гибельная вражда партій, почтенный старецъ продолжаетъ: „Взамѣнъ того, что видимъ у насъ? Города цвѣтутъ, селенія процвѣтаютъ, порядокъ не нарушается, арміи удивляютъ міръ, пролетаріатъ невозможенъ, просвѣщенное дворянство стремится и изъявляетъ готовность, почтенное купечество

съ своей стороны жертвуетъ, добрые земледѣльцы благоденствуютъ и наслаждаются плодами рукъ своихъ..." Далѣе, упомянувъ объ усовершенствованныхъ путяхъ сообщенія, развитіи промышленности и кредита, процвѣтаніи земледѣлія и скотоводства и указавъ на связь всѣхъ этихъ ожидающихъ въ будущемъ наше отечество благъ и стоящихъ въ связи съ отмѣной крѣпостного права, онъ не задумывается заявить свое сочувствіе „благодушной принципіи, которая въ отвлеченіи, т.-е. взятая сама по себѣ, не терпитъ возраженія..." „Но, — продолжаетъ онъ (тутъ-то, замѣчаемъ мы отъ себя, и начинается сущность дѣла),—если съ вершинъ отвлеченности мы спустимся къ низменности практической... если спросимъ себя съ полною откровенностью: готово ли оно къ встрѣчѣ съ тѣми трудностями жизни, съ которыми будетъ неизбѣжно сопряжено его новое положеніе?.. Какія отличительныя черты встрѣчаемъ мы въ поселянахъ нашихъ? Младенческую безпечность и нѣкоторую наклонность къ сладостному far niente. Поселянинъ, какъ дитя, срываетъ цвѣты, не заботясь о будущемъ... Если мы оторвемъ его отъ этого идиллическаго настроенія души, если поставимъ его лицомъ къ лицу съ суровой мачехой-дѣйствительностью, чего можемъ мы ждать?.. Итакъ, господа,—заключаетъ князь свою рѣчь при единодушныхъ одобреніяхъ, — я умоляю васъ не спѣшить навстрѣчу волнамъ пожирающаго океана, но девизомъ вашихъ будущихъ дѣйствій избрать слова, глубоко начертанныя въ моемъ собственномъ сердцѣ: неторопливость и постепенность!"

И въ такомъ смыслѣ произносятся десятки рѣчей, которыя всѣ начинаются восхваленіемъ обширности Россіи и порядка, въ ней царствующаго; всѣ отдаютъ должную справедливость устности, гласности и другимъ полезнымъ принципамъ новаго времени. Но—какъ

говоритъ другой представитель благороднаго сословія— употребляя слово гласность, я, само собой разумѣется, понимаю гласность благонамѣренную, то-есть такую, которая никого не обижаетъ, никого не затрогиваетъ и предоставляетъ всякому спокойно пожинать плоды рукъ своихъ. Конечно, многіе, быть-можетъ, поймутъ это дѣло иначе и возмечтаютъ, что во имя гласности можно всѣхъ и каждаго по зубамъ колотить. Для лицъ подобнаго образа мыслей я кратко повторяю мое прежнее уподобленіе: лежали два камня и безмолвствовали; шелъ мимо искусный прохожій, осторожно ударилъ одинъ камень о другой—и вотъ искра! Что если бы прохожій былъ не искусенъ? Что если бъ онъ ударилъ неосторожно? Если бъ поблизости оказался навозъ или другой удобовоспламеняющійся матеріалъ?.. Итакъ: постепенность и неторопливость". И почтенное глуповское сословіе остается вполнѣ довольно, ибо очень хорошо понимаетъ, что именно нужно разумѣть подъ этими благоразумными правилами...

Отъ всѣхъ этихъ болѣе или менѣе пострадавшихъ, пришибленныхъ и застигнутыхъ врасплохъ реформами, отъ всѣхъ этихъ притворяющихся, поддѣлывающихся съ затаеннымъ скрежетомъ зубовъ къ новымъ началамъ личностей, не пора ли перейти къ третьей категоріи щедринскихъ типовъ — къ людямъ поистинѣ новымъ, передовымъ двигателямъ, проводящимъ въ жизнь новыя начала? Увы! И здѣсь мрачный взоръ нашего сатирика открываетъ картины не совсѣмъ утѣшительныя, и чтобы объяснить это обстоятельство, намъ не остается ничего болѣе, какъ предположить, что Щедринъ умышленно отвращаетъ взоры свои отъ свѣтлыхъ явленій (и хочетъ во что бы то ни стало поддержать свое званіе сатирика). Посмотримъ однако, какія же пятна сумѣлъ открыть неумолимый Щедринъ въ этихъ передовыхъ дѣятеляхъ. Для этого, впрочемъ,

мы должны обратиться къ прежней дѣятельности Щедрина, гдѣ онъ исчерпалъ этотъ предметъ въ двухъ мастерскихъ очеркахъ: „Неумѣлые“ и „Озорники“, такъ что, впослѣдствіи, не имѣлъ уже надобности воспроизводить эти типы вполнѣ и только ограничивался по временамъ отдѣльными чертами.

Первое мѣсто въ новой категоріи типовъ необходимо отдать лицамъ, если и неревностно дѣятельнымъ въ новомъ духѣ, то, по крайней мѣрѣ, искренно сочувствующимъ движенію. Всѣ они очень мѣтко характеризуются слѣдующимъ небольшимъ отрывкомъ изъ разговора, гдѣ-то подслушаннаго авторомъ: „А я сегодня читала „Морской Сборникъ“, — говоритъ жена сосѣда: — „Правительственныя распоряженія“ до такой степени увлекли меня, что я совершенно забылась“. За людьми просто сочувствующими слѣдуютъ люди дѣятельные въ новомъ духѣ, но „неумѣлые“. Такой типъ рисуется намъ въ мѣткомъ и живомъ разсказѣ нѣкоего мѣщанина Голенкова, служившаго ратманомъ въ магистратѣ и потому человѣка бывалаго и опытнаго. „А вотъ, я вамъ доложу, тоска-то,—разсказываетъ Голенковъ въ откровенной бесѣдѣ съ авторомъ,— какъ видишь, что человѣкъ онъ и честный и хорошій, а ни къ чему какъ есть приступиться не можетъ, все-то у него изъ рукъ валится. Съ этакимъ связаться не приведи Господи. Начнешь ему резонъ докладывать, такъ не то чтобъ тебѣ благодаренъ, а словно теленокъ всѣми четырьмя ногами брыкается: „Вы, молъ, скоты, чего понимаете. Не смыслите, какъ и себя соблюсти; а вотъ на меня посмотри—видалъ ли ты этихъ молодцовъ?“ И знаете, ваше благородіе, словами-то онъ, пожалуй, не говоритъ, а такъ всею фигурой въ лицо тебѣ хлещетъ“... Затѣмъ Голенковъ разсказываетъ нѣсколько забавныхъ анекдотовъ о томъ, какъ одинъ изъ неумѣлыхъ губернаторскихъ чиновниковъ переодѣвался въ

мужицкій кафтанъ и ходилъ для подслушиванія въ кабакъ, откуда и былъ выгнанъ съ позоромъ; какъ онъ для открытія преступленія надѣвалъ саванъ и прятался подъ кровать подозрѣваемаго въ преступленіи, при чемъ также потерпѣлъ горестную неудачу. Когда же авторъ послѣ всѣхъ подобныхъ разсказовъ старается добиться отъ Голенкова прямого отвѣта, считаетъ ли онъ, наконецъ, этихъ новыхъ чиновниковъ лучше или хуже старыхъ, то мѣщанинъ Голенковъ отвѣчаетъ нѣсколько уклончиво, что онъ и самъ видитъ, что люди новые все-таки хорошіе люди, но что они словно какъ будто недоношенные...

Но если типъ „неумѣлыхъ“ только смѣшонъ и безполезенъ, то совсѣмъ другое чувство возбуждаетъ другой типъ—„озорниковъ“, очень хорошо понимающихъ и свое безсиліе и свое нежеланіе сдѣлать что-нибудь для массъ избраннымъ ими путемъ, а все-таки нагло идущихъ этимъ путемъ, въ видахъ эгоистическихъ, которые они выражаютъ съ возмутительною безцеремонностью, когда разсуждаютъ между своими откровенно. До пониманія столь утонченно развратнаго типа мѣщане Голенковы и, вообще, простой народъ и дойти не могутъ, такъ какъ лица этого сорта не имѣютъ прямыхъ сношеній avec cette canaille... и потому авторъ не могъ поступить лучше, какъ заставить самого такого господина высказаться со всею тонкостью, наглостью и глубокою развращенностью его принциповъ. Послушаемъ же признаніе одного изъ подобныхъ „озорниковъ“.

„Говорятъ, будто необходимо изучить нужды и особенности края, чтобы умѣть имъ управлять съ пользою. Mon cher, je vous dirai franchement que tout ça, c'est des utopies; какія могутъ быть тутъ нужды? Ну, я спрашиваю васъ? Знаетъ ли онъ, для чего ему дана жизнь? Можетъ ли онъ понять, se faire une idée о томъ, что такое назначеніе человѣка? Non, non et cent fois

non! Je vous le donne en mille; соберите вы тысячу человѣкъ и переспросите у каждаго изъ нихъ поодиночкѣ, что такое государство?—ни одинъ вамъ не отвѣтитъ: они знаютъ тамъ своихъ коровъ, своихъ бабъ, свой навозъ... Какія же тутъ нужды, какія тутъ особенности края!..

Но мы боимся слишкомъ воспользоваться правомъ выписокъ, хотя въ дальнѣйшемъ признанія „озорника" представляютъ не менѣе драгоцѣнныя и поучительныя подробности. Да пора и вообще покончить съ типами Щедрина, изъ которыхъ мы старались выставить на видъ лишь наиболѣе крупные, оставляя читателю удовольствіе найти въ двухъ послѣднихъ книгахъ Щедрина множество другихъ чертъ, ярко отражающихъ современное общество въ одинъ изъ интереснѣйшихъ моментовъ нашей исторіи...

Мы считаемъ еще преждевременнымъ представить полную характеристику сатирическаго воззрѣнія Щедрина и исходную точку его взгляда на текущую дѣйствительность, но нѣкоторыя главнѣйшія направленія его мысли и объемъ его кругозора обозначились уже съ такою ясностью и отчетливостью, что объ нихъ можно и стоитъ поговорить обстоятельнѣе. Главнѣйшее качество нашего автора,—то, именно, которое и дѣлаетъ изъ него сатирика, а не простого пересмѣшника людскихъ безобразій,—состоитъ въ возвышенной точкѣ его взгляда, въ строгости его требованій отъ жизни. Это-то, именно, качество и дѣлаетъ его неподкупнымъ ни для какихъ мишурныхъ явленій, часто соблазняющихъ даже весьма умныхъ людей. Стоитъ только пересмотрѣть въ его сочиненіяхъ протесты противъ различныхъ видовъ новыхъ, всѣмъ казавшихся отрадными явленій, чтобы убѣдиться, что взглядъ его на эти явленія, несмотря на то, что расходился со взглядомъ лучшаго большинства, проникалъ глубже въ самую сущность вещей и

не даромъ, подъ большею частью этихъ блестящихъ на поверхности явленій, открывалъ глубокую пустоту содержанія. Не возлагали ли глубокихъ надеждъ на благодѣтельную гласность, и не видѣлъ ли Щедринъ съ самаго начала въ нашихъ юныхъ дѣятеляхъ гласности „соловьевъ, заслушивающихся своихъ собственныхъ пѣсенъ?“ Не радовались ли всѣ мы новымъ рѣчамъ о политикѣ, самоуправленіи, мѣстныхъ интересахъ и тому подобныхъ общественныхъ вопросахъ, и не находилъ ли уже давно Щедринъ глубокой внутренней аналогіи между новою фразой: „А вы читали, mon cher, „политическое обозрѣніе?“ „Charmant!“ и старою фразой: „А каку мнѣ нынче канарейку (!) изъ деревни привезли—перепкъ!“ Да мало ли въ чемъ и еще расходился нашъ сатирикъ съ общими вѣрованіями и надеждами. Кто былъ правѣе: онъ ли, со своимъ сомнѣніемъ и недовѣріемъ, или мы, простодушно увлекшіеся—пусть рѣшитъ теперь самъ читатель. Переходя къ частнымъ убѣжденіямъ и взглядамъ, выразившимся въ сочиненіяхъ Щедрина, мы прежде всего открываемъ въ немъ глубокое сочувствіе къ земству, ко всей этой темной массѣ, живущей еще своею мало извѣстной намъ жизнью, нѣсколько дико и недовѣрчиво глядящей на прививаемую ей цивилизацію, страдательно и безучастно относящейся къ воздвигнувшимся надъ нею историческимъ ходомъ законамъ и властямъ, къ этой огромной, почти неподвижной массѣ, которая сохранила старину со всѣми ея хорошими и худыми сторонами, но, по крайней мѣрѣ, не заразилась новыми пороками и терпѣливо ждетъ своего просвѣтленія и пробужденія. Во всѣхъ разсказахъ и пьесахъ Щедрина самые благодушные и благообразные типы взяты имъ изъ этой темной массы. Мы не считаемъ нужнымъ перечислять ихъ и указывать на эту отличительную черту въ сатирической дѣятельности Щедрина, какъ на новую въ исторіи на-

шей сатиры, которая въ старое время была, исключительно, противъ грубыхъ массъ и на сторонѣ просвѣщенія, и если заступалась иногда за низшія массы, то никогда не выражала вѣры въ нихъ: да и самъ Гоголь не могъ найти для нея свѣтлыхъ красокъ. Если съ одной стороны вѣра въ народъ и земство, или, по крайней мѣрѣ, благодушное къ нимъ отношеніе составляютъ характеристическую черту міровоззрѣнія Шедрина, то другую столь же рѣзкую черту его направленія составляетъ недовѣріе къ той системѣ цивилизированія массъ, которая соединена съ презрѣніемъ къ нимъ, и которой самымъ отвратительнымъ представителемъ является типъ „озорника“. Впрочемъ, послѣ всѣхъ сдѣланныхъ нами выписокъ и толкованій къ нимъ, мы не считаемъ умѣстнымъ распространяться болѣе объ этой сторонѣ направленія Щедрина. Что касается до круга сатиры нашего автора и вытекающаго оттуда мѣста Щедрина въ ряду нашихъ сатирическихъ дѣятелей, мы полагаемъ, что то и другое получатъ большую ясность, если мы оглянемся на исторію нашей сатиры. Съ перваго пробужденія нашего общества, сатирическая литература наша явилась сильною и энергическою проводницей въ общество просвѣтительныхъ началъ,—роль, которой она не измѣняла и до сихъ поръ. Вслѣдствіе исключительныхъ обстоятельствъ нашего развитія, сатира эта вначалѣ явилась въ тѣсномъ союзѣ съ реформами и воззрѣніями, исходившими отъ власти, и играла какъ бы подчиненную роль. Дальнѣйшая исторія нашей сатиры есть исторія постепеннаго освобожденія ея отъ этого союза и этой подчиненной роли, подъ вліяніемъ прямыхъ наблюденій надъ жизнью, идей, проходившихъ въ литературу и общество помимо прежняго, единственнаго ихъ источника, и яркихъ талантовъ, умѣвшихъ добиться прямого и самостоятельнаго *взгляда* на дѣйствительность.

Подъ вліяніемъ этихъ обстоятельствъ самый кругъ сатиры расширялся все болѣе и болѣе, и въ лицѣ Гоголя коснулся коренныхъ и существеннѣйшихъ основъ существующаго порядка. Въ этомъ отношеніи сатира Щедрина есть прямое продолженіе и развитіе предшествующихъ моментовъ. Захвативъ общество русское въ одну изъ самыхъ тревожныхъ и дѣятельныхъ минутъ его жизни, она имѣла возможность коснуться и весьма многихъ формъ его, существовавшихъ прежде или возникшихъ вновь подъ вліяніемъ реформъ, и все болѣе и болѣе проникающей къ намъ европейской цивилизаціи, и весьма многихъ общихъ принциповъ, управляющихъ его жизнью и развитіемъ. Самостоятельность сатиры, своя точка зрѣнія достигла въ Щедринѣ своего крайняго развитія и во многомъ стала въ разрѣзъ съ дѣйствующими принципами и даже съ воззрѣніями образованнаго большинства; кругъ вопросовъ расширился до того, что трудно исчислить ихъ, тѣмъ болѣе что по свободной формѣ, избранной Щедринымъ для его дѣятельности, онъ иногда мимоходомъ, полусловомъ касается весьма важныхъ сторонъ, къ которымъ даже не всегда возвращается. Самая форма его столь свободной, и по содержанію и по манерѣ, сатиры необходимо должна бы получить оригинальность и полную развязность дѣйствія. Свобода Щедрина въ этомъ отношеніи достигла крайняго предѣла. Разсказы отъ своего лица, посторонняго, признанія самихъ изображаемыхъ лицъ, общія картины жизни, сцены, даже комедіи—все пригодилось ему для выраженія того разнообразнаго содержанія, которымъ такъ богаты его сатиры, и для подробнаго изображенія различныхъ сторонъ русскаго общества, видоизмѣняющагося на нашихъ глазахъ и часто едва уловимаго въ своихъ измѣненіяхъ. Матеріалъ, представляемый сочиненіями Щедрина, есть матеріалъ богатый, разнообразный, живьемъ выхваченный

изъ жизни и часто обличающій высокое мастерство, которое только связано спѣшною и горячею работой надъ шибко-волнующеюся жизнью. Однимъ словомъ, и для мыслящаго, небезучастнаго къ роднымъ вопросамъ гражданина, и для будущаго историка нашего общества сочиненія Щедрина представляютъ богатый матеріалъ, которому особый интересъ и силу придаетъ строгая выдержанность міровоззрѣнія автора, ни разу не уклонившагося въ сторону и не соблазнившагося никакими призрачными явленіями.

Е. Эдельсонъ.

Занятое Салтыковымъ мѣсто въ семидесятыхъ годахъ среди литературныхъ дѣятелей *).

Исторія литературной дѣятельности Тургенева, съ конца сороковыхъ до начала шестидесятыхъ годовъ (т.-е. отъ „Записокъ Охотника“ до „Отцовъ и дѣтей“), есть исторія нашего общественнаго самосознанія за это время. Его произведеніями не только наслаждались, но и поучались, ибо въ нихъ читатель находилъ симпатичное ему разрѣшеніе тѣхъ вопросовъ, которые, въ данную минуту, наиболѣе занимали общественную мысль. Мы не ошибемся, сказавъ, что то мѣсто, которое въ пятидесятыхъ годахъ занималъ Тургеневъ, занимаетъ теперь Щедринъ. Въ свойствѣ талантовъ обоихъ писателей громадная разница: Тургеневъ— болѣе художникъ; Щедринъ—болѣе публицистъ. Кисть Тургенева въ высшей степени мягка, колоритъ нѣженъ и нѣсколько туманенъ; въ его тихомъ смѣхѣ нѣтъ ни капли ядовитой желчи; на его легкой и беззлобной насмѣшливости лежитъ всегда отпечатокъ грусти и какого-то добродушія. Ничего этого вы не найдете въ Щедринѣ: его кисть груба, его краски слишкомъ ярки, а въ желчномъ смѣхѣ вы всего меньше найдете добродушія. При этихъ различіяхъ, между обоими писате-

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1873 г., № 53. Критич. литер. о произвед. Салтыкова. Вып. 2-й. М. 1905.

лями общаго то, что произведенія ихъ можно охарактеризовать, всего вѣрнѣе, назвавъ ихъ размышленіями, въ повѣствовательной формѣ, о нѣкоторыхъ явленіяхъ современной жизни. Въ самой судьбѣ этихъ писателей есть нѣкоторое сходство въ томъ отношеніи, что оба они не сразу напали на свою истинную дорогу и завоевали извѣстность (какъ, напр., Гончаровъ— „Обыкновенною исторіей", или Писемскій — своимъ „Тюфякомъ"). Тургеневъ, пока печаталъ свои стихотворенія, былъ однимъ изъ невинныхъ поэтовъ, и уже съ 1847 года выдвинулся на первый планъ, когда со стиховъ перешелъ на прозу и выступилъ со своимъ разсказомъ „Хорь и Калинычъ". Щедринъ началъ свою литературную дѣятельность повѣстью „Запутанное дѣло", которая была помѣщена въ „Отечественныхъ Запискахъ" 1848 года. Дебютъ его былъ вовсе не блестящъ и крайне неудаченъ; его первая повѣсть прошла почти незамѣченною въ публикѣ; но зато обратила на себя офиціальное вниманіе, которое повлекло для автора весьма непріятныя послѣдствія. Ему пришлось прекратить свою литературную дѣятельность и, живя въ одной изъ глухихъ провинцій, обогащать себя наблюденіями и собирать матеріалы для своихъ „Губернскихъ очерковъ", съ которыми онъ и выступилъ въ 1856 году въ „Русскомъ Вѣстникѣ", когда для нашей литературы наступила лучшая пора. Этими очерками, какъ извѣстно, онъ сразу занялъ самое видное мѣсто между современными беллетристами. По „Запутанному дѣлу" едва ли можно было предсказать автору тотъ успѣхъ, какой онъ имѣетъ теперь. Но уже и по этой, первой, его повѣсти видно было въ авторѣ нѣчто такое, что выдѣляло его изъ общей массы тогдашнихъ беллетристовъ. Путы, связывавшія русскую мысль, повели къ тому, что эта мысль, не находя себѣ ни здравой пищи ни выхода *на свѣжій* воздухъ, истомилась въ душной атмосферѣ

тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ и замкнулась въ тѣсномъ кругѣ индивидуальной жизни. Тогдашніе писатели предавались или болѣзненному субъективному анализу (Тургеневъ и др.), или ограничивались сатирою личныхъ нравовъ (Писемскій и др.), или же разсказывали разныя любовныя исторіи, которыя такъ нравятся чувствительнымъ женщинамъ и инымъ умѣреннымъ либераламъ, въ родѣ Тебенькова (герой въ послѣднемъ разсказѣ Щедрина), боящагося, что съ разрѣшеніемъ „женскаго вопроса“ погибнетъ и литература и романъ.

Въ авторѣ „Запутаннаго дѣла“ виденъ былъ человѣкъ, не разъѣденный рефлексіей, со здоровымъ, „но озлобленнымъ умомъ“; его мысль не замкнулась отъ изнеможенія въ тѣсноту индивидуальной жизни, а рвалась въ болѣе широкую сферу вопросовъ политическихъ и общественныхъ. Ни теряться, съ ножомъ субъективнаго анализа, въ безвыходномъ лабиринтѣ человѣческой души, ни быть невинно щебечущимъ разсказчикомъ любовныхъ исторій—Щедринъ неспособенъ. Его первая повѣсть примкнула къ той небольшой, составлявшей какъ бы случайное исключеніе, группѣ беллетристическихъ произведеній, затрогивавшихъ общественные вопросы, которую составляли „Записки Охотника“, „Сорока-воровка“, „Кто виноватъ“ и нѣкоторыя др. Какъ бы то ни было, но первая его повѣсть прошла незамѣченною. Зато съ полною удачею выступилъ онъ съ „Губернскими очерками“, которые сразу выдвинули Щедрина на первый планъ между современными писателями; дальнѣйшія его произведенія окончательно упрочили за нимъ его популярность. Большинству современныхъ произведеній нашей изящной словесности вредитъ бѣдная мелкота мысли, которая ложится въ ихъ основу. Наши авторы, обыкновенно, выкраиваютъ своихъ героевъ по весьма мизерному

шаблону и мѣряютъ жизнь на крайне фальшивый аршинъ. Наши писатели, обыкновенно, желаютъ доказывать и поучать: вотъ этотъ-то дидактизмъ и губитъ ихъ произведеніе, ибо міросозерцаніе авторовъ слишкомъ жидко, и мораль, проводимая ими, слишкомъ мелкотравчата. При такомъ положеніи дѣла, въ Щедринѣ особенно дорого то качество, выдѣляющее его изъ остальныхъ писателей, что онъ не стремится поучать, а только съ безпощадною жестокостью осмѣиваетъ все то, къ чему прикоснется. Глубина художественнаго чувства, въ соединеніи съ сатирическимъ свойствомъ сильнаго ума, дѣлаетъ то, что Щедринъ, будучи писателемъ-публицистомъ по преимуществу, стоитъ одиноко, не примыкая ни къ группѣ нашихъ радикальныхъ писателей, занимающихся канонизаціею „новыхъ людей“ и ожидающихъ возрожденія міра не иначе, какъ съ помощью дѣвицъ, занимающихся повивальнымъ искусствомъ, ни къ группѣ нашихъ консерваторствующихъ беллетристовъ, ожидающихъ для міра всяческой погибели именно отъ дѣвицъ-повитухъ, съ Дарвиномъ въ рукахъ. Ни одна изъ этихъ группъ не можетъ назвать его своимъ. Чуткость его художественнаго чувства открываетъ ему фальшь тамъ, гдѣ другой писатель видитъ чистую монету и приходитъ отъ нея въ восхищеніе; сила его ума мѣшаетъ ему преклоняться передъ тѣми явленіями жизни, передъ которыми благоговѣютъ наши и поучащіе и близорукіе писатели. По своимъ воззрѣніямъ, онъ всего менѣе можетъ быть причисляемъ къ разряду нашихъ капитанъ-исправниковъ литературы, но онъ не солидаренъ ни съ „пѣнкоснимательствомъ“ умѣренныхъ либераловъ ни съ радикализмомъ нашихъ крайнихъ лѣвыхъ. Въ то время, когда пѣнкосниматели захлебнулись съ восторга отъ новорожденной гласности, отъ повальнаго либерализма, обуявшаго всѣхъ, Щедринъ видѣлъ миражность всего

этого. Въ самый разгаръ восторговъ онъ написалъ своихъ „Литераторовъ-обывателей“, представилъ превосходный типъ ново-глуповца и нарисовалъ мастерскіе и уморительные портреты старо-глуповцевъ, неудачно желающихъ поддѣлаться подъ духъ времени. Въ то время, когда пѣнкоснимателн сочли священнымъ долгомъ пасть ницъ передъ дѣятелями новыхъ земскихъ учрежденій и ожидали, что въ то время, пока они будутъ лежать ничкомъ, Россія превратится въ земной Эдемъ—Щедринъ написалъ „Нарцисса“, который поднялъ противъ него цѣлую бурю со стороны пѣнкоснимателей. Въ самый разгаръ канонизаціи „новыхъ людей“ онъ жестоко подсмѣялся надъ волосатымъ братомъ и его стриженою сестрицей изъ „новаго поколѣнія“, которые высказывали желаніе „упразднить“ своего отца съ матерью... Былъ ли онъ правъ? Оправдались ли тѣ пылкія, ни на чемъ неосновавныя надежды пѣнкоснимателей, къ которымъ Щедринъ постоянно относился съ недовѣріемъ и сарказмомъ? Увы, онъ былъ правъ... Но рьяная слѣпота нашего россійскаго радикализма и умѣренно-либеральная тупость нашего пѣнкоснимательства (качество „умѣренности“ я отношу только къ либерализму пѣнкоснимателей, а отнюдь не къ ихъ тупости, которая, какъ извѣстно, слишкомъ неумѣренна) и теперь продолжаютъ считать въ Щедринѣ недостаткомъ то, что составляетъ его силу: его равновѣсіе духа и ту зоркость взгляда, которыя не позволяютъ ему принимать миражъ за дѣйствительность, видѣть чистое золото тамъ, гдѣ есть страшный процентъ лигатуры, и сузиться до одного изъ тѣхъ трехъ жиденькихъ катехизисовъ, которые проповѣдуются нашими радикалами, пѣнкоснимателями и капитанъ-исправниками литературы. Щедрина упрекаютъ въ томъ, что онъ глумится надо всѣмъ, не имѣя никакого собственнаго идеала, никакого своего прочнаго міросозерцанія. Оче-

видно, этотъ упрекъ основанъ на простомъ недоразумѣніи. Мы до того привыкли къ тремъ катехизисамъ, что уже не представляемъ себѣ возможнымъ четвертый, болѣе широкій. Наши литературныя партіи до того еще проникнуты ненавистью нашихъ самодуровъ къ мельчайшему съ ними противорѣчію, что достаточно не согласиться съ однимъ изъ ихъ пунктовъ, чтобы они васъ считали врагомъ и по всѣмъ остальнымъ. Вы осмѣлились замѣтить смѣшныя стороны адвокатуры,—и вотъ, въ глазахъ пѣнкоснимателя, вы являетесь врагомъ и судебной реформы и всѣхъ преобразованій послѣдняго времени. Вы позволили себѣ сочувственно изобразить, въ своей повѣсти, добрякапомѣщика прежнихъ временъ,—на васъ тотчасъ накидывается радикальный критикъ за то, что вы идеализируете крѣпостное право, желаете его возстановленія и враждебно относитесь ко всѣмъ новымъ порядкамъ: развѣ можно сочувственно изображать помѣщика екатерининскаго или павловскаго времени, который говоритъ прислугѣ „ты“, а не „вы“, и, вообще, живетъ, мыслитъ и чувствуетъ, какъ сынъ своего времени, а не какъ современный передовой человѣкъ. Вы рисуете симпатичную героиню, имѣющую несчастіе имѣть недостойныхъ родителей, или симпатичнаго героя, который не имѣетъ склонности и любви къ классическимъ языкамъ,—на васъ тотчасъ накидывается капитанъ-исправникъ за ваши разрушительныя тенденціи: по его мнѣнію, вы—врагъ отечества, если осмѣливаетесь нигилистически подрывать основы семейства, утверждая, что у достойныхъ дочерей бываютъ недостойные родители; вы—врагъ отечества и сообщникъ интернаціонала, если рѣшаетесь идеализировать человѣка, который не питаетъ любви къ классицизму и, вообще, въ своемъ покроѣ, хотя нѣсколько, отступаетъ отъ того казеннаго образца, по которому капитанъ-исправникъ

предписывает выкраивать добродѣтельныхъ мужчинъ. Отсюда же объясняются нападки на Щедрина за то, что онъ святотатственно позволяетъ себѣ глумиться надъ тѣмъ, что должно быть оставляемо въ неприкосновенности. „Положимъ (говорятъ эти охранители разныхъ сортовъ неприкосновеннаго), что и на солнцѣ есть пятна, и въ мірѣ нѣтъ ничего такого, что не имѣло бы своей ахиллесовой пяты. Но позволительно ли съ злорадствомъ указывать на пяту, вмѣсто того чтобы восхищаться красотою и мощью Ахилла? Разумно ли, даже честно ли толковать о пятнахъ на солнцѣ, вмѣсто того чтобы кланяться и благодарить его за свѣтъ и теплоту? Подобныя нападки проявляютъ въ тѣхъ людяхъ, которые ихъ дѣлаютъ, тѣ же привычки стараго закала, о которыхъ мы говорили сейчасъ. Этотъ охранитель, накидывающійся на Щедрина за то, что тотъ осмѣливается публично замѣтить пятно на томъ, что дорого ему, охранителю, не напоминаетъ ли вамъ собою иную барыню-старушку, которая готова вамъ выцарапать глаза, если вы не согласитесь, напр., съ нею, что красоту ея фаворита много портитъ его кривой глазъ, или скажете, что ея любимая болонка могла бы быть еще лучше, если бы она была вся бѣлая, безъ малѣйшаго коричневаго пятнышка. Онъ мой протеже—стало быть, не смѣй никто замѣчать, а тѣмъ болѣе говорить, что у ней на ухѣ коричневое пятно. Нападки на Щедрина за его святотатственныя посягательства на непосягаемое посыпались за его „Нарцисса“. Его „Исторія одного города“ вызвала нападки за то, что онъ не любитъ Россіи, что онъ крайне односторонне смотритъ на дѣло,—иначе могъ бы увидать что-нибудь иное, кромѣ глуповщины, въ томъ народѣ, у котораго есть славное прошедшее и великая будущность. Подобные безсмысленные упреки мы слышали уже далеко не въ первый разъ и не противъ одного Щедри-

на. Подобнымъ упрекамъ въ свое время подвергался Гоголь за то, что онъ, въ своемъ „Ревизорѣ", далъ неполную, враждебную Россіи картину нашего чиновничества, ибо не изобразилъ ни одного добродѣтельнаго повытчика и ни одного великодушнаго квартальнаго, позабывъ, что въ нашемъ чиновномъ мірѣ были не одни городничіе Тяпкины-Ляпкины и др., но были и хорошіе люди. Едва ли стоитъ опровергать такихъ „печальниковъ" за честь русской земли: они давно осмѣяны Гоголемъ. Послѣдній разсказъ Щедрина касается пресловутаго женскаго вопроса; героемъ этого разсказа является Тебеньковъ — умѣренный либералъ, „въ сущности, даже и не либералъ, а фрондеръ", т.-е. (какъ весьма остроумно характеризуется у автора эта порода людей) „почтительно, но съ независимымъ видомъ лающій русскій человѣкъ"; фрондируетъ же онъ по той причинѣ, что князь Левъ Кириллычъ, представитель умѣреннаго либерализма, потерялъ кредитъ и уступилъ честь и мѣсто князю Ивану Семенычу; вмѣстѣ съ тѣмъ и Тебенькову пришлось до поры до времени остаться не у дѣлъ. Женскій вопросъ, о которомъ авторъ заставляетъ своего героя разсуждать, даетъ случай Тебенькову выказать сполна свое profession de foi. Либерализмъ Тебенькова заключается въ томъ, что, во-первыхъ, онъ—человѣкъ мягкій; онъ не любитъ выраженій въ родѣ „согнуть въ бараній рогъ, стереть съ лица земли, вырвать вонъ съ корнемъ" и пр., хотя, по нуждѣ, онъ и терпитъ ихъ. Его либерализмъ заключается, далѣе, въ томъ, что онъ не возстанетъ противъ такихъ разрушительныхъ вещей, какъ, напр., читальни, публичныя лекціи и пр. Онъ готовъ все это позволить,—онъ „все позволитъ, лишь бы ничего изъ того не вышло", и не болѣе какъ настолько, покуда отсюда ничего не выходитъ. Поэтому „я всегда говорилъ,—разсуждаетъ Тебеньковъ,—господа, не полагайте

движенію препонъ, но умѣйте овладѣть имъ. Овладѣйте, господа! Дайте движенію надлежащее (разумѣется, въ смыслѣ Тебенькова) направленіе — et alors tout ça ira comme sur des roulettes. Умѣренные либералы, кромѣ того, страдаютъ еще и такимъ свойствомъ: „Я росъ и воспитывался въ такой средѣ, гдѣ такъ называемыя рѣзкости считаются первымъ признакомъ неблаговоспитанности. Какъ ни велико мое сочувствіе благимъ начинаніямъ, я не могу выносить шума, я страдаю, когда въ ушахъ моихъ раздается крикъ. Когда передо мною начинаютъ „шумѣть", мнѣ дѣлается не по себѣ — и я способенъ даже потерять изъ вида предметъ, по поводу котораго производится шумъ. Я отворачивался отъ многихъ „благихъ начинаній", къ которымъ я, несомнѣнно, отнесся бы благосклонно, если бы не примѣшивались сюда шумъ и рѣзкости".

Когда Тебеньковъ и князь Левъ Кириллычъ — эти „столпы современнаго русскаго либерализма" — сходятъ со сцены и уступаютъ мѣсто ретроградному князю Ивану Семенычу съ его bagarre gouvernementale, умѣренные либералы приходятъ въ ужасъ и начинаютъ трепетать за судьбу либерально-благихъ начинаній. Но, въ существѣ дѣла, система либеральнаго князя Льва Кириллыча и система ретроградпаго князя Ивана Семеныча суть двѣ стороны одной и той же системы, которую авторъ весьма удачно называетъ „системою равновѣсія". Не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи выписать ту тираду Тебенькова, гдѣ онъ развиваетъ подробности, въ чемъ заключается эта система.

„Система моя очень простая: никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не воспрещать. C'est simple comme bonjour. Но что бы ты могъ лучше понять мой административный идеалъ, я попрошу тебя вообразить себѣ, что въ настоящую минуту я нахожусь у дѣлъ. Первое, что я дѣлаю — это ослабляю

бразды, хотя, въ сущности, въ этомъ еще нѣтъ ничего опредѣленнаго, но для насъ, русскихъ, это очень важно. Мы такъ чувствительны къ браздамъ, что малѣйшее измѣненіе въ манерѣ держать ихъ уже цѣнится нами. И вотъ, когда я ослабилъ бразды, когда всѣ почувствовали это—вдругъ начинается настоящее либеральное пиршество, un vrai festin d'idées libérales. Литература ликуетъ, студенты ликуютъ, женщины ликуютъ, всѣ вообще, какъ бы сговорившись, выходятъ на Невскій съ папиросами и сигарами въ зубахъ. И замѣть: я ничего прямо не дозволялъ, я только ничего прямо не воспрещалъ. Я, съ своей стороны, тоже ликую. Я вижу эти наивныя, малымъ довольныя лица, я указываю на нихъ и говорю: „Вотъ доказательства разумности моей системы!“ Такимъ образомъ проходитъ годъ, а можетъ быть, и два; я все продолжаю мою систему, т.-е. ничего прямо не дозволяю, но и ничего прямо не воспрещаю. Тогда начинаютъ тамъ и сямъ прорываться проявленія такъ называемой licence. Подчиненные Держиморды бѣгутъ ко мнѣ въ ужасѣ и докладываютъ, что такого-то числа въ Капонерскомъ переулкѣ, въ домѣ подъ № такимъ-то, шла рѣчь о непризнаніи авторитетовъ. Но я еще не раздѣляю опасеній моихъ сослуживцевъ и настаиваю на томъ, что мѣръ кротости совершенно достаточно, чтобы обратить заблудшихъ на путь истины. Pas trop de zéle; messieurs, говорю я, surtout pas trop de zéle. Затѣмъ я призываю зачинщиковъ и келейнымъ образомъ дѣлаю имъ внушеніе. „Господа! говорю я, вы должны понять, что у насъ безъ авторитетовъ нельзя. Если вы хотите, то скажите прямо— я удалюсь въ отставку!“ Разумѣется, моя угроза дѣйствуетъ. Всѣ кричатъ: осторожнѣе! осторожнѣе! потому что, если оставитъ насъ Тебеньковъ, — мы погибли! Такъ проходитъ, быть-можетъ, еще цѣлый годъ. Mais *helas! les idées* subversives – c'est quelque chose de très

peu solide, mon cher, et c'est peut être à cause de se peu de solidité qu'elles se nomment subversives! Съ ними никогда нельзя быть увѣреннымъ, гдѣ онѣ остановятся и не перейдутъ ли ту границу „не дозволеннаго", но и „не воспрещеннаго", въ прочномъ установленіи которой и заключается вся задача истиннаго либерализма. И вотъ, по прошествіи извѣстнаго времени, la licence relève la tête и прямо утверждаетъ, что „невоспрещеніе" равняется „дозволенію". Начинается шумъ, mes quineries, рѣзкости. Тогда я говорю уже прямо: messieurs! je m'en lave les mains! и уступаю мое мѣсто князю Ивану Семенычу... Mais attends, attends encore! je n'ai pas tout dit! Итакъ, на мое мѣсто приходитъ и начинаетъ оперировать князь Иванъ Семенычъ. Собственно говоря, я ничего не имѣю противъ князя Ивана Семеныча, и даже въ ряду прочихъ феноменовъ признаю его далеко небезполезнымъ. Въ общей административной экономіи такіе люди необходимы. Въ минуты, когда дурныя страсти доходятъ до своего апогея, всегда являются такъ-называемые Божіи бичи и очищаютъ воздухъ. Не нужно только, чтобы они слишкомъ долго оставались въ должности воздухоочистителей, потому что тогда это дѣлается, наконецъ, скучнымъ. Но по временамъ очищать воздухъ — небезполезно. Такимъ образомъ, покуда князь Иванъ Семенычъ выполняетъ свое провиденціальное назначеніе, я остаюсь въ сторонѣ; я только слѣжу за нимъ и слегка критикую его. Этою критикою я, такъ сказать, напоминаю о себѣ; я не даю забыть, что существуетъ и другая система, которая состоитъ не столько въ очищеніи воздуха, сколько въ умѣренномъ пользованіи его благорастворѐніями. И дѣйствительно, не проходитъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ страсти уже утихли, волненія отчасти усмирены, отчасти подавлены, и существованіе князя Ивана Семеныча само собою утрачиваетъ всякій raison d'être.

Напрасно старается онъ устраивать бури въ стаканѣ воды: его время прошло, онъ ненуженъ, онъ надоѣлъ, онъ даже незабавенъ. Тогда опять прихожу я, и опять приношу свою систему... И, такимъ образомъ, мы чередуемся: сперва я, потомъ князь Иванъ Семенычъ, и такъ далѣе... Mais n'est-ce pas que c'est le vrai système?".

Признаемся, мы еще не встрѣчали до сихъ поръ ни разу въ нашей литературѣ такой мѣткой, ядовитой и остроумной характеристики нашего умѣреннаго либерализма. Этотъ Тебеньковъ, съ его любовью къ „вольнымъ мыслямъ лишь постольку, поскольку онѣ представляютъ matière à discussion", съ его трусливыми поползновеньицами къ благимъ начинаніямъ лишь настолько, насколько изъ нихъ ничего не выходитъ, съ его любовью къ благовоспитанному благочинію и нервнымъ, пугливымъ отвращеніемъ ко всякому „шуму" и „рѣзкости",—этотъ Тебеньковъ не напоминаетъ ли вамъ тѣхъ умѣренныхъ либераловъ, которыми еще вчера кишѣли грады и веси россійской имперіи? Теперь эти люди перевелись—и перевелись они единственно потому, что испугались „шума" и „изъ-за рѣзкостей" получили отвращеніе ко всѣмъ „благимъ начинаніямъ", о которыхъ они прежде заботились съ такимъ усердіемъ. Они готовы теперь упразднить всѣ естественныя науки изъза того только, что имъ встрѣтился одинъ-другой Базаровъ, рѣзавшій лягушекъ, и оскорбилъ ихъ благовоспитанность своею „рѣзкостью". Они готовы теперь сокрушить всѣ женскія гимназіи въ виду того, въ корень сокрушающаго весь порядокъ явленія, что дочь Петра Михайловича остригла волосы и облачилась въ грязный воротничокъ, а сестра Алексѣя Петровича, чисто по-мужски, въ публичныхъ мѣстахъ, кладетъ одну ногу на другую и куритъ сигару съ видомъ либеральнаго ухарства. Эти двѣ дамы до того ихъ напугали, *что они* до сихъ поръ не могутъ притти въ себя...

Предоставляемъ читателю прочесть у самого Щедрина о томъ, какъ смотритъ Тебеньковъ на женскій вопросъ, при чемъ онъ уморительно высказываетъ свои мнѣнія о значеніи приличій, о необходимости соблюдать формальное почтеніе къ Таутовой азбукѣ, о томъ, при какихъ условіяхъ женщина, не нарушая своего женскаго достоинства, можетъ выказать любовь къ наукамъ и пр. Въ концѣ-концовъ Тебеньковъ приходитъ къ тому заключенію, что женскій вопросъ порѣшенъ еще со времени „Belle Hélène“,— „но рѣшенъ такъ ловко, что это затрогивало одного Менелая. Ménélas! On s'en moque—et voila tout!“ Въ смыслѣ протеста противъ брачнаго союза, и теперь женскій вопросъ разрѣшаютъ съ полнымъ успѣхомъ и „la princesse de P., la baronne de K., наконецъ, Катерина Михайловна, наша добрѣйшая Катерина Михайловна, и даже „princesse Nathalie, которая пользуется репутаціей sainte“. Тебеньковы не возмущаются всѣмъ этимъ: saperlote (думаютъ они)! не дѣлаться же монахиней изъ-за того только, чтобъ князь Левъ Кириллычъ имѣлъ удовольствіе надѣвать на голову свой ночной колпакъ! Въ той нравственной распущенности, за которую они упрекаютъ практическихъ и теоретическихъ поборницъ женскаго вопроса, Тебеньковыхъ возмущаетъ только тотъ способъ разрѣшенія этого вопроса, котораго добиваются его поборницы; вмѣсто того, чтобы разрѣшить этотъ вопросъ „практически, келейнымъ образомъ“, de facto (въ чемъ никто имъ не препятствуетъ), эти поборницы „больше хлопочутъ о томъ, чтобы было что-то на бумагѣ написано.“ „Но,— говоритъ Тебеньковъ,—можно упразднить азбуку de facto; взялъ и упразднилъ, это я понимаю. Но чтобы притти и требовать какихъ-то законовъ объ упраздненіи—c'est tout bonnement exorbitant. Онѣ хотятъ, чтобы имъ разрѣшеніе на бумажкѣ было написано! Онѣ законовъ требуютъ. Понимаешь ли: онѣ хотятъ, чтобы за-

конодатель взялъ въ руки перо и написалъ: позволяется à ces demoiselles и проч. Нѣтъ-съ! этого нельзя-съ!" Разсказъ чрезвычайно умѣстно оканчивается сценками на Невскомъ, „наглядно доказывающими", въ какихъ широкихъ размѣрахъ разрѣшается женскій вопросъ практическими послѣдовательницами „Прекрасной Елены" въ такой мудрой формѣ, что „никто никогда не видѣлъ въ томъ ни малѣйшей опасности" и, слѣдовательно, никто не видитъ ни малѣйшей надобности имъ ни препятствовать ни вопить, что отъ нихъ погибаетъ міръ, безъ вмѣшательства и энергической дѣятельности всѣхъ судебныхъ и административныхъ властей.

А. Чебышевъ-Дмитріевъ.

Значеніе перваго и второго періода сатирической дѣятельности Щедрина *).

Большинство читателей еще вовсе не знало, кто скрывается подъ именемъ Щедрина, а уже „Губернскіе очерки“ обратили на себя вниманіе публики. Они находятся въ самой тѣсной связи съ Гоголевскими картинами провинціальной жизни; но Салтыковъ въ значительной мѣрѣ раздвинулъ Гоголевскую рамку, включивъ въ свои „Губернскіе очерки“ также и личности изъ народа и посмотрѣвъ на нихъ не съ той только внѣшней стороны, съ какой смотрѣлъ на нихъ Гоголь, а сумѣвъ заглянуть имъ глубоко въ душу. Пора, которую затрогиваетъ Салтыковъ въ своихъ „Очеркахъ“, это еще пора до-реформенная, но это, такъ сказать, самый финалъ до-реформенной поры: провинція какъ будто уже почуяла страхъ грядущихъ вдали реформъ, этихъ новыхъ, еще неизвѣданныхъ „ревизоровъ“. Щедринъ, въ своихъ „Очеркахъ“, пытается какъ бы подвести окончательные итоги нашей провинціальной жизни, всего, что она приготовила или, лучше сказать, что въ ней безсознательно накопилось къ началу эпохи преобразованій...

Салтыковъ понялъ въ широкомъ смыслѣ, что вно-

*) *О. Миллеръ.* Русскіе писатели послѣ Гоголя. Ч. II. Изд. 3, измѣненное и дополненное. Спб. 1886.

сится въ провинціальную жизнь заѣзжимъ столичнымъ чиновничествомъ. Его представители у Салтыкова не оказываются уже такими пустыми, какъ Хлестаковъ, только со страху и принятый за ревизора; у Салтыковскихъ *заѣзжихъ* чиновниковъ уже есть содержаніе или, лучше сказать, начинка. Они плотно набиты разными взглядами, разными болѣе или менѣе благими намѣреніями, но они оказываются по большей части людьми неумѣлыми. Салтыковъ такъ ихъ и называетъ въ особой главѣ. Одинъ человѣкъ стараго покроя, далеко не лишенный смысла, говоритъ у него объ одномъ изъ такихъ чиновниковъ:

„Живого матеріалу они, сударь, не понимаютъ; какъ бы все вотъ за книжкой или, еще пуще, за разговорцемъ,—это ихнее поле; а какъ дойдетъ дѣло до того, чтобы пеньки считать,—у него вишь и ноженьки заболѣли!“

Кромѣ того, указывается, что столичные просвѣтители провинціи, какъ замѣчаютъ люди стараго покроя, черезчуръ чистоплотны и брезгливы: „вишь, ручки у тебя больно бѣлы, въ перчаткахъ ходишь, да носъ-отъ высоко задираешь,—ну и ходи въ перчаткахъ“. Но это бы еще ничего, а то нѣкоторые изъ этихъ людей въ своихъ бѣлыхъ перчаткахъ гнутъ преисправно другихъ въ дугу, перестраивая окружающее по своимъ кабинетнымъ соображеніямъ. „Совсѣмъ не съ того конца начинаете,—взываетъ къ нимъ тотъ же старый провинціальный дѣлецъ.—По верхамъ-то не лазай, а держись больше около земли, около земства-то. А то пріѣдетъ это весь какъ пушка заряженный, да и стрѣляетъ въ насъ своею честностью и благонамѣренностью. Ты благодѣтельствуй намъ—слова нѣтъ!—да въ мѣру, сударь, въ мѣру, а не то вѣдь намъ и тошно, пожалуй, будетъ. Ты вотъ лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то,—можетъ, она и пошла бы, машина-то!?“

Эта сторона новаго типа особенно развита въ главѣ „*озорники*“, т.-е. сторона „ломающая“.—Но представители ея связаны со старымъ провинціальнымъ поколѣніемъ нѣкоторыми практическими стремленіями, напримѣръ, стремленіемъ къ удовольствіямъ жизни; на практикѣ эти люди—эпикурейцы. При такой практикѣ въ соединеніи съ тою теоріею трудно обойтись безъ нѣкоторыхъ постороннихъ пособій; взятокъ, однако, они не берутъ. „Моя обязанность говоритъ одинъ изъ нихъ,—только исчислить статьи: гоньба тамъ, что ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter“... Онъ только держится основного правила, что „достоинъ дѣятель мзды своей“,—а они ли еще не дѣятели?!

„Оглянись кругомъ себя,—говоритъ одинъ изъ нихъ,—все, что вы ни видите, все это плоды администраціи: областныя учрежденія—плодъ администраціи, община—плодъ администраціи, торговля—плодъ администраціи, фабричная промышленность—плодъ администраціи“....

И какую борьбу приходится выносить этой благодѣтельницѣ съ тупой массой, съ грубымъ мужичьемъ: „ils sont encore bien loin de pouvoir jouir des bienfaits de la civilisation“ — говоритъ о народѣ одинъ изъ такихъ провинціальныхъ администраторовъ.

Но Щедринъ отъ этихъ просвѣтителей въ бѣлыхъ перчаткахъ обращается прямо къ этимъ простымъ людямъ, не дозрѣвшимъ до цивилизаціи. Онъ рѣшается даже прямо изъ губернскаго салона перевести насъ въ губернскій острогъ. Тутъ мы у него видимъ въ сущности тѣ же черты, которыя развиты у Достоевскаго въ „Запискахъ изъ мертваго дома“. Оба они судили—на основаніи опыта; только Достоевскій, конечно, могъ еще глубже судить, потому что дольше и ближе могъ наблюдать. Но у Салтыкова эти сцены въ острогѣ имѣютъ особенное значеніе именно потому, что онъ

переводитъ туда читателя прямо изъ губернскихъ салоновъ. Оказывается, что многіе попадаютъ въ острогъ просто по недоразумѣнію; другіе — вслѣдствіе преступленій, объясняемыхъ тою нравственною и умственною неразвитостью, при которой человѣкъ, долго забиваемый, можетъ вдругъ, въ одну минуту, потерять терпѣніе и дать просторъ своей силѣ уже безъ всякаго удержу. Возможность такого быстраго перехода человѣка неразвитого и неблагопріятно-поставленнаго въ жизни къ величайшимъ преступленіямъ одинаково ясно показано у Достоевскаго и у Салтыкова; но у послѣдняго особенно поражаетъ то, что усматриваемые имъ, какъ и Достоевскимъ, остатки человѣческихъ чувствъ въ этихъ людяхъ самымъ выгоднымъ для нихъ образомъ могутъ быть сопоставлены съ нравственными качествами Живоглотовъ, Фейеровъ и Порфирьевъ Петровичей... Въ этихъ послѣднихъ, которые такъ благополучно преуспѣваютъ на служебно-пріобрѣтательскомъ поприщѣ (и всѣ пожимаютъ имъ руки, потому что они отличаются такою степенною благовидностью),—въ нихъ человѣческаго сохранилось гораздо менѣе. Подъ эгидою порядка, подъ красивой личиной благонамѣренности люди эти систематически совершаютъ такіе поступки, которые своею сплошною безнравственностью едва ли не оставляютъ далеко за собою многихъ острожниковъ съ ихъ часто только случайными преступленіями. Итакъ, вотъ какое значеніе получаетъ у Салтыкова этотъ переходъ съ читателемъ изъ салона въ острогъ...

Люди *слова*, а не *дѣла* являются у Салтыкова въ особой главѣ, озаглавленной „*талантливыя натуры*“; но всѣ эти Лузгины, Корепановы, Горехвастовы — все это только видоизмѣненіе уже не разъ намъ встрѣчавшагося типа *лишнихъ людей;* это тѣ же Гамлеты Щигровскаго уѣзда, Рудины и Обломовы, — Обломовы въ томъ широкомъ смыслѣ, въ какомъ понималъ этотъ типъ тотъ же кри-

тикъ. Салтыковъ называетъ ихъ людьми *талантливыми*, но вся ихъ талантливость состоитъ въ томъ, что они стремятся къ широкимъ задачамъ,—эта талантливость главнымъ образомъ существуетъ въ ихъ воображеніи. Они рвутся къ чему-то высокому, но въ результатѣ оказывается, что, не будучи въ силахъ достигнуть его и гнушаясь близкимъ и малымъ, они, въ концѣ-концовъ, ничего не дѣлаютъ или же впадаютъ въ безобразный разгулъ. Эти талантливыя натуры, выведенныя Салтыковымъ, подробно разобраны Добролюбовымъ, а потому намъ и не зачѣмъ на нихъ останавливаться...

Наступила пора, приближеніе которой только чувствуется въ „Губернскихъ очеркахъ", а уже осязательно проявляется въ дальнѣйшихъ произведеніяхъ Салтыкова—пора преобразованій, и вотъ тутъ-то, казалось бы, этимъ широкимъ натурамъ представлялась возможность проявить свои силы. Но что же мы видимъ у нашего автора? Выставляетъ ли онъ свои *талантливыя натуры* принимающимися за ту болѣе или менѣе широкую дѣятельность, которая стала въ эту эпоху возможна до извѣстной степени? Нѣтъ, онъ не перенесъ этого типа изъ „Губернскихъ очерковъ" въ свои позднѣйшія произведенія, стало-быть не нашелъ возможности выставить его въ обновленномъ видѣ. Мало того, въ своихъ „Сатирахъ въ прозѣ" онъ даже прямо говоритъ: „мнѣ всегда казалось, что истиннымъ насадителемъ конфуза былъ почтенный нашъ писатель И. С. Тургеневъ, который еще въ сороковыхъ годахъ предрекалъ его господство своими Рудиными и Гамлетами Щигровскаго уѣзда". Подъ „конфузомъ", какъ извѣстно, у Щедрина разумѣется извѣстная сторона нашей эпохи возрожденія: она *сконфузила* многихъ, рѣшительно неготовыхъ къ ней, застигнутыхъ ею врасплохъ. И эта-то эпоха конфуза, по мнѣнію Салтыкова, была предсказана

Тургеневымъ; предвѣстниками конфуза являлись Рудины и Гамлеты Щигровскаго уѣзда.

Эта сторона эпохи нашего возрожденія выставлена имъ мастерски. Какъ смѣшонъ у него конфузъ, сказавшійся въ помѣщичьемъ классѣ.

Озабоченные крѣпостники вывѣдывали, узнавали, дѣйствительно ли вѣренъ слухъ,—скоро ли это будетъ? „Ну, да не скоро,—Улита ѣдетъ, когда то будетъ", утѣшали они себя. Улита однако же пріѣхала, и конфузъ сдѣлался окончательнымъ. Госпожѣ Падейковой („Сатиры въ прозѣ"), съ одной стороны, Кондратію Трифоновичу („Невинные разсказы"), съ другой, представляется, что окружающіе ихъ слуги и служанки уже чуютъ пріѣздъ Улиты и потому на каждомъ шагу дѣлаютъ имъ непріятныя демонстраціи, но Кондратій Трифоновичъ находитъ въ этомъ нѣкоторое препровожденіе времени, это нѣсколько наполняетъ обычную пустоту его барскаго житья сложа руки.

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ прочиталъ въ газетѣ, что есть на свѣтѣ какой-то „сословный антагонизмъ", эта мысль не даетъ ему покоя. „Онъ вообразилъ себѣ, что онъ—одна сторона, а слуги его—другая, и что они должны бороться". Съ тѣхъ поръ какъ завелось превосходство вольнонаемнаго труда надъ обязательнымъ, съ тѣхъ поръ, какъ, съ другой стороны, опекунскій совѣтъ заперъ свои гостепріимныя двери,—глуповскія веси уныли и запустѣли". Идея антагонизма ихъ нѣсколько подняла, разбудила. Вскорѣ затѣмъ они нашли и другой, болѣе широкій жизненный интересъ,—пошли толки объ англійскомъ „Selfgovernment", а затѣмъ—о возможности соединить его съ „libre initiative des poméschiks". Въ этомъ видѣли вознагражденіе за свои утраты. Вотъ какимъ благопріятнымъ образомъ наконецъ разрѣшился конфузъ въ помѣщичьей сферѣ. Но не менѣе ясно сказался онъ и въ другой—въ сферѣ

городничихъ и другихъ имъ подобныхъ служебныхъ лицъ. Долгъ службы, расчетъ на награды заставилъ всѣхъ этихъ людей, почуявшихъ въ воздухѣ новое вѣяніе, выставить себя съ либерально-преобразовательской стороны; этимъ можно было выслужиться, за это можно было получить награду. И вотъ различные глуповскіе городничіе и исправники начинаютъ прикидываться передовыми людьми. Вслѣдствіе этого совершается въ самыхъ широкихъ размѣрахъ возрожденіе Гоголевскаго Хлестакова. „Россіяне,—говоритъ Салтыковъ,—такъ изолгались въ какіе-нибудь пять лѣтъ времени, что рѣшительно ничего нельзя было понять въ этой всеобщей хлестаковщинѣ". Но новымъ Хлестаковымъ по временамъ, однако же, становилось жутко,—трудно было выдерживать непривычную для нихъ роль. Ma chère,—не разъ говаривалъ генералъ Зубатовъ своей супругѣ,—это возрожденіе—чортъ его знаетъ, что это такое!—„Pourvu que tu conserves ta place, mon ami", благодушно и успокоительно отвѣтствовала ему Анна Ивановна. Но для сбереженія себѣ мѣста нужно было продолжать такимъ образомъ хлестаковствовать! Щедринъ разсказываетъ объ этомъ подробно въ особомъ разсказѣ: „Генералъ Зубатовъ" („Невинные разсказы"). Этотъ почтенный администраторъ, строя различные проекты для благоденствія своего города, сходитъ на нихъ съ ума. Другіе, напротивъ, выходятъ изъ конфуза такъ же благополучно, какъ и помѣщики. Они догадываются, что прежде всего „нужно поспѣшить заявленіемъ своей готовности, а потомъ... можно будетъ оставить все попрежнему". И вотъ, слѣдя за „Губернскими очерками", за „Сатирами въ прозѣ" и за „Невинными разсказами", мы все болѣе и болѣе убѣждаемся въ томъ, что глуповскіе заправщики окончательно успокоиваются, торжественно поютъ хоромъ: „возродимся! возродимся"! Но рѣчи либеральнаго свойства

говорятся ими попрежнему, только въ хвостикѣ появляются слова въ родѣ: постепенность, осторожность, такъ что кончикъ рѣчи уничтожаетъ ея начало, а говорить продолжаютъ и говорятъ долго. Говорятъ смѣло и либерально даже Ноздревы! „Ты ли это, mon cher?— спрашиваетъ надворный совѣтникъ Щедринъ одного изъ нихъ.—Если это ты, то почему ты смотришь такимъ Лафайетомъ?.. Или по мѣстнымъ обстоятельствамъ тебѣ выгоднѣе быть Лафайетомъ, нежели прежнимъ сорвиголовой Ноздревымъ?“ Но далѣе является и объясненіе: „всѣ эти рекламы либерализма не больше, какъ прыщи, которыми разрѣшилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочіе“. Итакъ, заведенная разъ либеральная *говорильня* продолжаетъ дѣйствовать...

Очень важный періодъ сатирической дѣятельности Щедрина—это, конечно, періодъ второй, относящійся къ тому времени, когда наша общественная жизнь перешла опять въ новый фазисъ: тѣ же самые глуповскіе городничіе, квартальные и становые, которые сначала считали нужнымъ принимать новый, непривычный для нихъ тонъ, потомъ окончательно догадывались что все дѣйствительно можетъ, пожалуй, оставаться по-старому. Пока и они считали нужнымъ прикидываться либералами, это было болѣе смѣшно, чѣмъ печально: дѣятели честные могли при этомъ дѣйствовать прямо и открыто. Но мало-по-малу у глуповскихъ городничихъ, квартальныхъ и становыхъ развивается рѣшимость сдерживать стремленія новыхъ людей, честно преданныхъ новымъ идеямъ; вотъ тутъ-то и наступаетъ пора уже болѣе печальная, чѣмъ смѣшная. Выработалось стремленіе къ тому, что на языкѣ этихъ провинціальныхъ... въ своемъ родѣ агитаторовъ называется „подтягиваніемъ“.—„Трудно себѣ представить,—говоритъ Щедринъ въ своихъ „Признакахъ времени“,—что-нибудь *болѣе уродливое*, нежели жизнь, составленную изъ од-

нихъ *подтягиваній*. Трудно выдумать *нигилизмъ*, болѣе безсодержательный, нежели этотъ диковинный, подтягивательный нигилизмъ!" Итакъ, обвиненіе въ *нигилизмѣ* сваливается обратно на голову тѣмъ, кто такъ любитъ корить имъ молодое поколѣніе. Нигилистическіе подтягиватели вовсе не имѣютъ опредѣленнаго понятія о томъ, во имя чего имъ надо подтягивать. Правда, они говорятъ о принципахъ и даже „великихъ принципахъ", но когда у нихъ спросятъ: „что же это за принципы?" они отвѣчаютъ: „это принципы"!—Что за великіе принципы?—Это великіе принципы!—Вотъ все толкованіе, котораго вы добьетесь въ отвѣтъ на ваши запросы. Указаніе на то, что настоящіе нигилисты вовсе не тамъ, гдѣ ихъ обыкновенно ищутъ, что они скорѣе сказываются въ собственной средѣ *ищущихъ*, можно найти и у Тургенева въ „Дымѣ", гдѣ буквально „нигилистическимъ" оказывается наше Баденъ-Баденское фрондерствующее барство. Въ сущности эти люди—такіе же точно, только въ бѣлыхъ перчаткахъ „подтягиватели", какъ и Щедринскіе провинціальные администраторы-нигилисты. Это въ свое время не помѣшало появленію „Дыма" въ „Русскомъ Вѣстникѣ", хотя редакція этого журнала съ нѣкоторыхъ поръ особенно озлобленно относится къ *отыскиваемымъ*, къ такъ называемымъ нигилистамъ молодого поколѣнія, вовсе не замѣчая нигилизма въ *ищущихъ*, въ поколѣніи старомъ, котораго такъ неназываемыхъ нигилистовъ прекрасно понималъ еще Гоголь, а потомъ чудесно опредѣлилъ Ю. Ѳ. Самаринъ.

Щедринъ не даромъ замѣчаетъ въ одной изъ статей тѣхъ же самыхъ „Признаковъ времени", что и литература въ нѣкоторыхъ своихъ углахъ мало-по-малу начала „подтягивать", т.-е. въ свою очередь вторить глуповскимъ городничимъ, квартальнымъ и становымъ. „Мальчишки!" стонетъ на всѣ лады одинъ; „нигилисты!"

подвизгиваетъ ему другой. И хотя это обвиненіе есть единственное, которое успѣло ясно сформулировать кающаяся русская литература, но, вѣроятно, оно признается достаточно капитальнымъ, если журналы серьезные и, повидимому, благонамѣренные рѣшаются настаивать на немъ". Надо, однако, замѣтить, что слово *благонамѣренный* на языкѣ Щедрина вообще принимается въ такомъ же прямомъ смыслѣ, въ какомъ принималось оно еще Гоголемъ (извѣстно, что Чичиковъ, по мнѣнію губернатора, былъ вполнѣ благонамѣренный человѣкъ). Нашъ современный сатирикъ спрашиваетъ: „что такое человѣкъ благонамѣренный?"—Онъ долженъ имѣть хорошій образъ мыслей. Отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. Невинность же съ своей стороны есть отсутствіе всякаго образа мыслей. Не размышляйте и читайте романы Поль-де-Кока—вотъ кодексъ... которымъ руководствуется современный благонамѣренный человѣкъ... („Сеничкинъ ядъ").

Но какимъ же это образомъ вышло, что „изъ загнанной и трепещущей, по словамъ Шедрина, литература (т.-е. извѣстная ея часть) вдругъ превратилась въ торжествующую и ликующую... изъ заподозрѣнной—въ благонамѣренную и достойную довѣрія?"—Къ несчастью, по мнѣнію нашего сатирика, дѣло объясняется очень просто: „всему причиной *четвертакъ*", говоритъ онъ...

Чѣмъ же объясняется вся эта, долго копившаяся и вдругъ прорвавшаяся наружу злоба? Она объясняется тѣмъ рядомъ преобразованій, которыя обновили нашу жизнь, время которыхъ и называется временемъ нашего возрожденія. Въ „Дневникѣ провинціала въ Петербургѣ" Щедринъ указываетъ на слѣдующее сдѣланное провинціалу приглашеніе:

— Не хотите ли, я васъ сегодня вечеромъ пред-

ставлю? Сегодня въ одномъ мѣстѣ проектъ объ уничтоженіи читать будутъ.—„Объ уничтоженіи чего же?“—Ну... чего... разумѣется, всего. И мировые суды чтобъ уничтожить, и окружные суды по боку, и земство по шапкѣ. Словомъ сказать, чтобъ ширь да высь—и больше ничего.—„Что вы, да вѣдь это цѣлая революція!“—А вы какъ о насъ полагали? Мы вѣдь не нѣмцы, помаленьку не любимъ.

Въ томъ же „Дневникѣ“ приводится и нѣсколько другихъ, болѣе опредѣленныхъ проектовъ. Проектъ объ уничтоженіи всего черезчуръ уже далеко хватаетъ, а потому и не особенно опасенъ. Но вотъ другой проектецъ „о необходимости децентрализаціи“, составленный отставнымъ корнетомъ Петромъ Толстолобовымъ. Децентрализація!—Какъ видите, терминъ очень широкій, либеральный; составитель какъ будто бы еще чувствуетъ то, что чувствовали во время „конфуза“, чувствуетъ необходимость прикинуться либераломъ,—на самомъ же дѣлѣ мы сейчасъ увидимъ, что онъ понимаетъ подъ словомъ „децентрализація“. Централизація, какъ оно выходитъ въ силу его толкованій, это такой порядокъ вещей, при которомъ все сводится къ одному центру, къ тому спасительному центру, который признается во всѣхъ благоустроенныхъ обществахъ—къ закону. Децентрализація—это, напротивъ, такой порядокъ вещей, при которомъ каждому городничему, квартальному и становому предоставляется распоряжаться по своему усмотрѣнію. Извѣстно, что провинціалу, по прочтеніи этого проекта, представилась великолѣпная картина того, что могло бы быть, если бы проектъ этотъ осуществился. Ему какъ бы въ видѣніи представилось, что уже „не было ни судовъ, ни палатъ, ни присутствій,—словомъ сказать, ничего, чѣмъ красна современная русская жизнь. Была пустыня, въ которой рѣяли децентрализованные квартальные надзиратели

изъ знающихъ обстоятельства помѣщиковъ. Бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ, потомъ наскоро подкрѣпляютъ силы холодными закусками и водкой и опять бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ".

Другой проектъ—свойства подготовительнаго: надо вѣдь заранѣе дѣйствовать на подрастающее поколѣніе. Это проектъ „о необходимости оглушенія въ смыслѣ временнаго усыпленія чувствъ", составленный бывшимъ штатнымъ смотрителемъ Филоверитовымъ. Въ этомъ проектѣ проводится такой взглядъ, что „если пріучить молодыхъ людей къ чтенію сонниковъ или къ ежедневному разсмотрѣнію дѣвицы Гандонъ, или же занять ихъ исключительно вытверживаніемъ азбуки въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ оную изобрѣлъ Таутъ, то... получится поколѣніе дремотствующее, но бодрое, и не только не препятствующее знакамъ препинанія, но дѣятельно на постановку ихъ согласное", т.-е. главнымъ образомъ согласное на постановку *точекъ*, этого выразительнѣйшаго изъ знаковъ препинанія.

Наконецъ, третій проектъ, съ которымъ долженъ познакомиться провинціалъ, относится до высшихъ ученыхъ учрежденій; они, конечно, нужны, но надо придать имъ особое значеніе, и вотъ съ этою же цѣлью и составленъ проектъ „о переформированіи десіянсъ-академіи". Пунктъ 1-й—чтобы науки наши противъ всѣхъ прочихъ были превосходнѣе, 2-й—чтобы оныя подлинно распространяли свѣтъ, а не тьму. Но здѣсь представляется весьма щекотливый вопросъ: какъ сего достигнуть? На сіе отвѣчаю кратко: посредствомъ заведенія такихъ учрежденій, которыя имѣли бы въ предметѣ не распространеніе наукъ, но тщательное оныхъ разсмотрѣніе", т.-е. такое разсмотрѣніе наукъ, которое бы почти равнялось ихъ упраздненію.

Салтыковъ, разумѣется, считаетъ совершенно лишнимъ указывать на то, что всѣ эти проекты остались

безъ осуществленія; знаменательна уже самая возможность появленія ихъ, хотя бы только въ головѣ какихъ-нибудь Толстолобовыхъ и Филоверитовыхъ.

Я уже упомянулъ о томъ, что оказывается основною причиной той злобы, которою вызвана на свѣтъ Божій вся эта гасительская дѣятельность. Настоящій же *корень* всего, какъ совершенно вѣрно понимаетъ Щедринъ, заключается въ величайшемъ изъ преобразованій нашей эпохи—въ освобожденіи крестьянъ. Объ этомъ особенно подробно говоритъ нашъ сатирикъ въ своихъ „Письмахъ о провинціи", относящихся къ числу самыхъ сильныхъ его произведеній. Тутъ авторъ изъ обычнаго сатирическаго тона переходитъ мѣстами въ негодующій паѳосъ: „цѣлые легіоны ничтожнѣйшихъ шалопаевъ,—говоритъ онъ,—рыскаютъ по градамъ и весямъ любезнаго отечества—со спеціальною цѣлью явно и тайно уничтожать и подрывать дѣйствіе 19 февраля!" Рыскаютъ себѣ да рыскаютъ эти, въ наибуквальнѣйшемъ смыслѣ, нигилисты и нахально сваливаютъ обвиненіе въ нигилизмѣ на головы тѣхъ людей, которые приводили въ исполненіе великую реформу!

„Нельзя себѣ представить,—продолжаетъ Щедринъ,—того наслажденія, съ которымъ ненавистникъ хватается за всякую поруху, за всякую фальшивую ноту, которою случайно зазвучитъ ненавистное ему дѣло. Прослышитъ ли онъ, что народъ бѣднѣетъ,—онъ ликуетъ; вычитаетъ ли, что въ дѣлахъ застой,—онъ торжествуетъ всею утробой; дойдетъ ли до него, что города и села опустошаются пожарами,—нѣтъ предѣла, нѣтъ границъ его поганымъ восторгамъ. Онъ всякую народную бѣду готовъ пріурочить къ 19-му февраля, потому что въ дурацкой его головѣ нѣтъ ни одной мысли, кромѣ мысли объ обидѣ, нанесенной ему этимъ ужаснымъ числомъ".

Но ненавистникъ на этомъ не останавливается,—онъ

не только радуется бѣдствіямъ, посылаемымъ природою, не только пользуется ими въ видѣ доказательства противъ 19 февраля, онъ готовъ самъ создавать для народа бѣдствія, чтобы потомъ приписать ихъ опять тому же непереваривaемому для него числу. „Вы доказываете ненавистнику, что недозволительно доводить крестьянъ до разоренія подъ благовиднымъ предлогомъ казеннаго интереса, съ дѣйствительною же цѣлью—пускай, дескать, знаютъ поганцы, каково сладка хваленая ихъ свобода! И вотъ, вмѣсто отвѣта, въ васъ стрѣляютъ обвиненіемъ въ коммунизмѣ!“ Да, дѣятели 19 февраля, съ точки зрѣнія этихъ людей,—коммунисты и соціалисты, т.-е., по-ихнему, то же, что нигилисты. А все дѣло въ томъ, что „намѣренія этого великаго дня“, какъ вѣрно объясняетъ Щедринъ, „пали на такую благодарную почву и укоренились въ ней такъ просто и естественно, что тутъ не можетъ быть мѣста ни для опасеній ни тѣмъ болѣе для нелѣпыхъ разсказовъ“ (т.-е. разсказовъ о какихъ-то „отставныхъ солдатахъ и разносчикахъ“, будто бы дѣйствительно могущихъ посѣять сѣмена революціи по деревнямъ и селамъ). „Какъ бы мы ни были взыскательны,—продолжаетъ Щедринъ,— мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна египетскаго цѣлыя массы людей... разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбные стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи,—такое дѣло способно вдохнуть энтузіазмъ самый безпредѣльный. Но за работой освобожденія слѣдуетъ работа организаціи, и тутъ приходится намъ бороться съ препятствіями еще болѣе дѣйствительными, нежели даже тѣ, съ которыми мы боролись во время трудной работы освобожденія“. И вотъ этой-то работѣ организаціи, которая должна окончательно водворить реформу,—этой работѣ ненавистники-шалопаи не хотятъ дать совер-

шиться въ спокойной послѣдовательности, вотъ ей-то и хотятъ они помѣшать... Но если крѣпостное право отмѣнено и никакимъ усиліямъ „дикихъ невѣжъ“ никогда не удастся возстановить его, то слѣды крѣпостного права остались. „Тѣ, которые говорятъ: „зачѣмъ напоминать о крѣпостномъ правѣ, котораго уже нѣтъ? Зачѣмъ нападать на лежачаго?“ — говорятъ это единственно по легкомыслію“, замѣчаетъ Салтыковъ. „Оно, т.-е. крѣпостное право, живетъ въ нашемъ темпераментѣ, въ нашемъ образѣ мыслей, въ нашихъ обычаяхъ, въ нашихъ поступкахъ... Хищничество — вотъ наслѣдіе, завѣщанное намъ крѣпостнымъ правомъ“. И Щедринъ цѣлымъ рядомъ сатиръ рисуетъ намъ различныя видоизмѣненія этого сквернаго наслѣдія. Хищничество— это принадлежность „ветхаго человѣка“, но, тотъ *старый* ветхій человѣкъ, котораго рисовалъ Гоголь, возродился въ *новомъ* ветхомъ человѣкѣ, являющемся во множествѣ различныхъ видоизмѣненій, въ числѣ которыхъ оказывается и то, что называется у нашего сатирика „ташкентствомъ“.

Типъ „ташкентца“ постепенно развивается у Щедрина; онъ намекаетъ на него цѣлымъ рядомъ типовъ, изъ которыхъ, наконецъ, вырабатывается типъ, выведенный въ книгѣ: „Господа ташкентцы“. Первый набросокъ этого типа находимъ мы въ „Легковѣсныхъ“ („Признаки времени“). Объ этихъ „легковѣсныхъ“ можно сказать то, что одинъ изъ нихъ разсказываетъ про знакомаго ему нѣмца: когда у него спросили при встрѣчѣ о его мысляхъ—„мой мизль?“—„нѣтъ мизль“, отвѣчалъ онъ; а Щедринъ замѣчаетъ, что про всѣхъ легковѣсныхъ можно сказать, что у нихъ „нѣтъ мизль“. Единственный ихъ руководитель — это виднѣющійся гдѣ-то вдали сытный кусокъ *). Въ сущности тотъ же

*) *Кусокъ*, очевидно, значитъ то же, что въ другомъ мѣстѣ у Щедрина *четвертакъ*, а впослѣдствіи—*гривенъ*.

типъ, только съ нѣсколько другимъ оттѣнкомъ, рисуетъ намъ авторъ въ сатирѣ: „Нашъ Savoir-Vivre". „Экономическая наука людей этого рода—нахальство, нестѣсняемость, развязность и... и опять постоянно неуклонное стремленіе къ куску..."

Но ихъ манитъ не одна только нажива,—даже „рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго, простеца, мѣшаетъ спать".—„Зачѣмъ тебѣ, простофиля, рубль! разожми! я возьму этотъ рубль, зажгу его на свѣчкѣ и закурю имъ сигару". „Дальше рубля,—поясняетъ Щедринъ,—взоръ ничего не видитъ: все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось въ одномъ словѣ—*жрать*!"

Въ сторонѣ отъ домашняго и общественнаго *привилегированнаго* воспитанія, понятнымъ образомъ, остается у нашего сатирика воспитаніе университетское; онъ его не затрогиваетъ. По мнѣнію ташкентцевъ, этихъ нигилистовъ въ буквальномъ смыслѣ слова, университетское образованіе является разсадникомъ тѣхъ людей, которыхъ называютъ одни „нигилистами", другіе же „новыми людьми". „Ташкентство", этотъ самоновѣйшій видъ хищничества, вовсе не пугаетъ ветерановъ въ родѣ Петра Ивановича Дракина; напротивъ, этотъ типъ ему по душѣ, его пугаютъ тѣ „новые люди", которые какія-то утопіи тамъ выдумываютъ.

Насчетъ этихъ утопій нашъ сатирикъ дѣлаетъ чрезвычайно вѣрное и въ психологическомъ и въ педагогическомъ смыслѣ замѣчаніе: „Кто въ двадцать лѣтъ не желалъ и не стремился къ общему возрожденію, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать".

Да, утопіи принадлежатъ къ неотъемлемымъ свойствамъ молодости: молодость безъ утопій не есть молодость, и воспитаніе, которое совершенно уничтожаетъ способность вдаваться въ утопіи, есть воспитаніе, преждевременно обезцвѣчивающее. Не утопіи надо

бояться,—безсмертный, постоянно какъ фениксъ изъ пепла возрождающійся, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ—вотъ что ужасно! Молодежь, способная не гнушаться этимъ типомъ, какъ бы не узнавая его въ новѣйшихъ утонченныхъ видоизмѣненіяхъ, была бы дѣйствительно совершенно растлѣнною молодежью, а пока ее увлекаютъ утопіи, она еще здоровая молодежь! Но вѣчное возрожденіе Чичикова, этого *стараго* ветхаго человѣка, возрожденіе его въ видѣ *новыхъ* ветхихъ людей, страшно особенно потому, что отъ этого-то всего болѣе и терпитъ „человѣкъ, питающійся лебедой", подъ которымъ, очевидно, Щедринъ разумѣетъ народъ.

Орестъ Миллеръ.

Типы ташкентцевъ *).

Талантливый сатирикъ выступаетъ съ очеркѣ „Ташкентцы приготовительнаго класса“ („Отеч. Зап.“ 1871 г., сент.) со всѣмъ блескомъ своего оригинальнаго юмора и даетъ необыкновенно художественно-очерченныя фигуры. Лица матери юнаго ташкентца, ея великолѣпнаго сынка и „сельскаго дворянина“ Мангушева—въ своемъ родѣ превосходные типы.

Съ какимъ свѣжимъ юморомъ обрисована эта чудесная свѣтская маменька въ разные періоды ея милой жизни. Когда она вышла замужъ за ротмистра Персіанова, она „поселилась въ храмѣ утѣхъ полновластной хозяйкой“. Ея жизнь была непрерывнымъ рядомъ „баловъ, parties de plaisirs, выѣздовъ, пріемовъ“, въ которыхъ принимали участіе представители всѣхъ возможныхъ родовъ оружія и дипломаты всѣхъ вѣдомствъ. „C'était un rêve, какъ она сама выражалась объ этомъ времени. По возвращеніи съ бала начиналось, собственно, семейное счастье и продолжалось вплоть до утра, когда молодые супруги принимались за свой туалетъ, предшествующій визитамъ или пріему“. Потомъ у ней умеръ мужъ, и въ продолженіе четырехъ лѣтъ она хранила вѣрность его памяти и избѣгала всѣхъ искуше-

*) „Спб. Вѣд.“ 1871 г., № 274, 1872 г., № 38. Критич. литер. о произвед. Салтыкова. Вып. 2.

ній, которымъ не было числа. Только одинъ отецъ Антоній, ея духовникъ, зналъ „всѣ перипетіи этой борьбы слабой женщины съ цѣлымъ корпусомъ кавалерійскихъ офицеровъ“; онъ и сравнивалъ ее съ египетскими пустынножителями и для пріобрѣтенія большей крѣпости въ брани совѣтовалъ соблюдать посты. Но даже и съ этой стороны интересная вдова не могла считать себя совершенно безопасною, потому что отецъ Антоній выслушивалъ ее „смущенный и очи опустя, какъ передъ матерью невинное дитя“; „она такъ и ожидала, что онъ нѣтъ-нѣтъ, да и начнетъ вращать зрачками, какъ любой гвардейскій корнетъ“. Родные не были поражены ея твердостью, и только одинъ дядя надѣялся, что когда-нибудь „cela viendra“. И дѣйствительно, послѣ четырехъ лѣтъ она вдругъ укатила за границу, оставивъ своего ребенка теткѣ, и предалась разнымъ пріятнымъ развлеченіямъ съ энергіей, свойственной россіянкамъ. За границей „la belle princesse Persianoff“ сдѣлалась предметомъ газетныхъ фельетоновъ и устныхъ скандалезныхъ хроникъ. Называли двухъ-трехъ литераторовъ, одного министра (de l'Empire), одного сенатора и даже одного акробата (неизбѣжное чтеніе романа „L'homme qui rit) и т. д. Въ то время, какъ изящная маменька жировала въ чужихъ краяхъ, закладывая свои владѣнія ради амуровъ съ сотрудниками „Figaro“ и „Charivari“, ея милый сынокъ, котораго съ дней младенчества всѣ именовали „куколкой“, получалъ воспитаніе въ одномъ „высшемъ учебномъ заведеніи“. Воспитаніе было превосходное. „По части священной исторіи онъ зналъ, что „царь Давидъ на лирѣ, играетъ во псалтирѣ“, и что у законоучителя ихъ „лимонная борода“. По части всеобщей исторіи онъ былъ твердо убѣжденъ, что Римъ палъ жертвой своевольной черни. По части этнографіи и статистики ему небезызвѣстно было, что человѣчество раздѣляется на двѣ отдѣльныя породы:

chevaliers и manants, изъ которыхъ первые—храбры, великодушны, преданы и вѣрны данному слову, вторые же—малодушны, трусливы, лукавы и никогда даннаго слова не выполняютъ. Онъ зналъ также, что народы, которые не роптали, были счастливы, а народы, которые роптали, были несчастливы, ибо подвергались усмиренію посредствомъ экзекуцій".

Подготовившись столь основательно, юный ташкентецъ сформировывается въ истинно-прелестнаго шалопая. Авторъ съ удивительнымъ остроуміемъ разоблачаетъ всю ташкентскую его душу въ бесѣдахъ съ очаровательною маменькой. Не могу воздержаться, чтобы не привести читателямъ одинъ небольшой отрывокъ изъ этихъ прелестныхъ бесѣдъ. Любезный сынокъ открываетъ свое profession de foi матери: „Я консерваторъ; я человѣкъ порядка. En outre, je suis légitimiste! L'ordre, la patrie et notre sainte religion orthodoxe—voici mon programme à moi. Что касается до нигилистовъ, то я думаю о нихъ такъ: это люди самые пустые и даже—passer moi le mot—негодяи"... „Вы знаете ли, maman, что это за ужасный народъ. Они требуютъ милліонъ четыреста тысячъ головъ! Je vous demande, si c'est pratique". Съ минуту и мать и сынъ оба молчатъ, подавленные. „Они говорятъ, что наука—вздоръ... La science! что искусство—напрасная потеря времени... Les arts! Что всякій сапожникъ во сто разъ полезнѣе Пушкина... Pouschkine!"

Новая минута молчанія.

— Они отвергаютъ бракъ, ils vivent comme des chiens avec leurs chiennes! Они не признаютъ религіи, церкви... notre sainte église orthodoxe! Et vous me demandez, si je suis nigiliste!

Ольга Сергѣевна не можетъ больше владѣть собой и бросается къ Nicolas:

— Nicolas! Я вижу! я все вижу! tu est un noble et saint enfant! Но скажи, ты зналъ? ты зналъ кого-нибудь

изъ этихъ странныхъ людей?—съ какимъ-то ужасомъ спрашиваетъ она.

— Maman! я видѣлъ одного изъ нихъ на Невскомъ: il était mal peigné, pas du tout lavé... и отъ него пахло!

— Horreur!

Читатели согласятся, что это крайне ѣдко и мѣтко. Кстати нельзя не замѣтить, что Щедрину его сатирическія намѣренія гораздо болѣе удаются, когда онъ беретъ для нихъ форму живыхъ образцовъ, а не форму отвлеченныхъ разсужденій, къ которой онъ иногда склоненъ. Правда, сатирическія разсужденія даровитаго автора бываютъ часто очень ядовиты и злы; но, во всякомъ случаѣ, они уступаютъ тѣмъ его очеркамъ, гдѣ онъ покидаетъ почву сатирика-резонера и отдается на волю стремленій своего художественнаго инстинкта. Щедринъ—какъ это ни странно можетъ показаться съ перваго раза—по сущности своего таланта чистый художникъ. И только тамъ, гдѣ онъ является чистымъ художникомъ, гдѣ онъ имѣетъ дѣло съ жизненными типами, гдѣ онъ говоритъ „образами“,—только тамъ онъ предстаетъ сильнымъ сатирикомъ, безошибочно бьющимъ въ самую суть отрицательныхъ явленій жизни.

В. Буренинъ.

Капитальною вещью въ первой книжкѣ „Отеч. Зап.“ слѣдуетъ признать новый сатирическій очеркъ Щедрина, въ которомъ онъ чрезвычайно остроумно, мѣтко и зло подводитъ подъ рубрику „ташкентцевъ“ недавно народившіеся у насъ типы усерднаго прокурора и краснобая-*аблаката*. Своимъ талантливымъ очеркомъ авторъ прогнѣвилъ уже тѣхъ проницательныхъ критиковъ, которые желали бы обуздать сатирическія поползновенія литературы, стѣснивъ ея рамки только одними отжившими явленіями, заклейменными издавна общимъ позоромъ. По мнѣнію этихъ господъ, сатирикъ можетъ,

напр., разить, сколько его душѣ угодно, крѣпостное право, откупа, чиновничьи кражи; но онъ обязанъ учтиво расшаркиваться передъ всѣмъ, что, такъ или иначе, прикосновенно къ реформамъ нашего времени. Щедринъ выслушалъ уже довольно упрековъ за одинъ изъ своихъ прежнихъ очерковъ, гдѣ онъ отнесся безъ должнаго раболѣпія къ благамъ, вкушаемымъ Россіей отъ земскихъ учрежденій; теперь ему приходится терпѣть отъ недомыслія людей, видящихъ въ нашей адвокатурѣ послѣднее слово соціальнаго прогресса. Къ счастью, Щедринъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ робкихъ несамостоятельныхъ писателей, которыхъ можно озадачить и сбить съ дороги подобными патетическими возглашеніями. Лично намъ кажется, что рѣдко кому-нибудь, даже и самому Щедрину, удавалось такъ впору и съ такимъ тактомъ подхватить и осмѣять крупное явленіе нашей жизни. „Типъ надорваннаго, съ вогнутымъ животомъ и всегда готоваго исполнителя— типъ еще нарастающій, будущій... но онъ будетъ. Или, лучше сказать, онъ существовалъ искони, но временно какъ бы поколебался и утратилъ свою ясность. Это все тотъ же Митрофанъ, готовый и просвѣщаться, и просвѣщать, и сражаться, и быть сражаемымъ. Въ послѣднее время онъ нѣсколько замутился, благодаря новизнѣ нѣкоторыхъ положеній и неумѣнію съ желательною скоростью освоиться съ ними; но несомнѣнно, что онъ воспрянетъ, что онъ вновь сдѣлается чистымъ, какъ стекло, и овладѣетъ браздами. Миша (герой, еще не окончившій курсъ въ заведеніи для „государственныхъ младенцевъ“) уже ведетъ себя такъ, какъ будто онъ заправскій прокуроръ: строго, сдержанно, немножко сурово. Изъ устъ его такъ и сыплются: „по уложенію о наказаніяхъ“, „по смыслу такого-то рѣшенія кассаціоннаго департамента“, „на основаніи правилъ о судопроизводствѣ“, „въ сводѣ законовъ гражданскихъ, статья

такая-то, раздѣлъ такой-то, изображено" и т. д. Даже въ дружеской бесѣдѣ съ товарищами онъ все какъ будто обвиняетъ и убѣждаетъ кого-то сослать въ каторгу.

— Тебя, братъ, за такія дѣла, по статьѣ такой-то, слѣдовало бы, по малой мѣрѣ, въ исправительный домъ на три года запрятать!—говоритъ онъ.—Да моли еще Бога, что смягчающія обстоятельства натянуть можно.

Въ другомъ мѣстѣ Щедринъ говоритъ:

„И что за карьера предстояла имъ (т.-е. прокурорамъ и адвокатамъ). Съ одной стороны, лестная обязанность защищать общество отъ поползновеній преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснѣйшимъ содержаніемъ и надеждами на блестящее будущее, въ случаѣ оправданія начальственнаго довѣрія. Съ другой—лестная обязанность защищать невиннаго, защищать попранное право собственности,—обязанность, сопровождаемая необыкновенными кушами, пѣніемъ, танцами, увеселительными прогулками съ Деверіей, Шнейдершей, съ цѣлымъ персоналомъ любого кафе-шантана.—„Ты что получаешь за такое-то дѣло?"—Да что! всего пять тысячъ! не стоило рукъ марать!—„А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть. Наработаю тысячъ двѣсти-триста и—на боковую!"

Рѣчи прокурора и адвоката такъ искусно воспроизведены сатирикомъ, что при чтеніи ихъ такъ и кажется, что сидишь гдѣ-нибудь въ окружномъ судѣ или судебной палатѣ и слушаешь знаменитостей адвокатуры и прокурорскаго надзора.

Что же, господа туристы, литература должна молчать при видѣ такихъ яркихъ, только что народившихся типовъ; должна дать имъ время окрѣпнуть и застыть въ своемъ неподвижномъ величіи? Никто не отрицаетъ что между нашими адвокатами есть нѣсколько (впрочемъ, нельзя сказать, чтобъ особенно много) людей съ

твердыми убѣжденіями и честно опредѣлившимися симпатіями,—людей, принесшихъ пользу общественному развитію; но зато какая масса, какой непомѣрно-длинный и все возрастающій хвостъ тянется за ними въ видѣ различныхъ, взятыхъ съ борки да съ сосенки, субъектовъ, которымъ, по выраженію Щедрина, „рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго простеца, мѣшаетъ спать", которыхъ взоръ „дальше рубля ничего не видитъ: ни общаго смысла жизни, ни настоящаго, ни будущаго". Адвокатскій прогрессъ вообще не великъ по своей внутренней цѣнности, но на Западѣ краснобайство адвоката сдерживается, по крайней мѣрѣ, болѣе высокимъ строемъ общественной жизни, болѣе развитымъ нравственнымъ сознаніемъ, наконецъ политической связью адвоката съ той или другой партіей, у которой есть своя дисциплина, свои строго очерченныя традиціи и понятія; у насъ же это поле просторно и запнуться тутъ рѣшительно не на чемъ. Знай да получай „куши" по пяти и по десяти тысячъ!.. Мы помнимъ еще время (при началѣ введенія судебныхъ уставовъ), когда наши практическіе юристы говорили въ печати, что адвокату постыдно браться *за всякое* дѣло только потому, что за него дорого заплатятъ; что обязанность защиты нисколько не освобождаетъ человѣка отъ обязанности слѣдовать своимъ убѣжденіямъ и рѣшать сообразно имъ, прилично ли, позволительно ли выгораживать изъ-подъ отвѣтственности такую-то личность? Но эти романтическія грезы, какъ видно, давно разлетѣлись уже предъ обаяніемъ „кушей", получаемыхъ за краснорѣчіе, и многимъ памятны случаи, когда одинъ и тотъ же виртуозъ-адвокатъ сегодня, напримѣръ, защищалъ „рыцаря обличительной литературы", а завтра тянулъ его подъ дѣйствія такой-то и такой-то статьи свода законовъ. „У насъ, въ провинціи,— говоритъ одинъ адвокатъ въ очеркѣ Щедрина,—дели-

катесы-то бросить надо: какая сторона больше даетъ, ту и защищай!“ Но и столицы, кажется, въ этомъ случаѣ скоро догонятъ, — если ужъ не догнали, — провинцію.

Щедринъ вѣрно подмѣтилъ и тотъ фактъ, что помыслы объ адвокатской „наживѣ“ волнуютъ теперь юныя сердца еще на школьныхъ скамьяхъ; дни и минуты считаются: когда-то можно будетъ, наконецъ, выступить на это заманчивое поприще, усѣянное, въ воображеніи птенцовъ, если не розами, то кредитными рублями. Такъ называемыя „утопіи“ не прокладываютъ себѣ дороги въ наши современныя учебныя заведенія; онѣ смѣнились практическими вожделѣніями весьма опредѣленнаго характера. Этотъ фактъ заслуживаетъ вниманія.

П-й.

Исторія развитія одного типа ташкентцевъ *).

Понятіе злоупотребленія связано съ представленіемъ о чемъ-то случайномъ, внѣшнемъ, легкоустранимомъ; антитезомъ этому понятію само собой является понятіе объ употребленіи, которое съ устраненіемъ случайнаго внѣшняго нароста, производящаго вредъ, напремѣнно должно оказаться благимъ и полезнымъ. Всѣ тѣ, кто не сознаетъ за собою грѣха злоупотребленія, считаютъ себя неуязвимыми, и чѣмъ болѣе раздувается въ нихъ благородное негодованіе противъ того грѣха, которому они непричастны, тѣмъ менѣе они становятся расположенными изслѣдовать, нѣтъ ли въ общественномъ организмѣ, къ которому принадлежатъ, такихъ болѣзней, которыя окажутъ свое дѣйствіе и по закрытіи гноящихся, всѣмъ очевидныхъ язвъ. Именно такую эпоху успокоенія на лаврахъ переживаютъ наше общество и литература въ настоящее время. Покорствуя когда-то данному импульсу, мы продолжаемъ усердно гнать въ дверь остатки зла, завѣщаннаго намъ крѣпостническимъ періодомъ нашей исторіи; это, конечно, хорошо; но плохо то, что мы, въ своемъ увлеченіи, не замѣчаемъ, какъ зло, выгнанное въ дверь, влѣзаетъ къ намъ обратно въ окно. Зло утратило свою прежнюю несговорчивость, оно уже не бросаетъ намъ своего цинничнаго:

*) „Недѣля“ 1873 г., № 6.

„полюби насъ черненькими, бѣленькими насъ всякій полюбитъ“,—оно готово убѣлиться по своему современному образцу, лишь бы мы его полюбили; и мы идемъ на эту нехитрую удочку и открываемъ въ такъ называемомъ лагерѣ либеральномъ право убѣжища всему, помѣченному ярлыкомъ современности, считая чуть не святотатствомъ вникнуть, не кроется ли подъ этимъ ярлыкомъ дрянненькій, своекорыстный расчетъ, пагубный компромиссъ или ребяческая несостоятельность мысли, работающая на руку старому злу, сама не вѣдая, что творитъ. Первую попытку разобраться среди массы неизслѣдованнаго еще матеріала, которая въ русской современности напрашивается на сатирическое воспроизведеніе, мы встрѣчаемъ въ „Ташкентцахъ“ Щедрина. Въ этихъ очеркахъ мы имѣемъ мастерски изложенную исторію развитія типа, который могъ только народиться на почвѣ современности. Съ тонкой наблюдательностью изслѣдователя, въ живыхъ и яркихъ краскахъ художника-колориста, авторъ выводитъ передъ нами, черту за чертой, эту физіономію, на которой всѣ факторы дарвиновскаго закона—и наслѣдственность, и естественный подборъ, и борьба за существованіе, и измѣняющее вліяніе среды—наложили свой рѣзкій отпечатокъ. Передъ нами проходитъ исторія семьи Мелентьевыхъ: папаша—совѣтникъ казенной палаты, по питейному отдѣленію, подвизающійся въ дальнемъ губернскомъ городѣ, въ то время, когда „ни правъ ни обязанностей не было, а была только возможность или не возможность получить желаемое и, кромѣ того, опасеніе попасть подъ судъ“; мамаша—помѣщица, торгующая мужиками, вымѣнивающая, продающая, покупающая, отпускающая на волю и пр. И отъ этой-то семьи родится сынъ, въ которомъ унаслѣдованные инстинкты, подъ измѣняющимъ вліяніемъ среды, проявляются въ формѣ болѣе грандіозной и въ то же время болѣе

приспособленной къ той средѣ, въ которой ни питейныхъ отдѣленій ни крѣпостныхъ мужиковъ болѣе не существуетъ. Съ юныхъ лѣтъ томится этотъ многообѣщающій сынъ „финансовымъ идеализмомъ"; искру этого Прометеева огня заронили въ него еще два дяденьки-шулера, у которыхъ при магическомъ словѣ „клацъ" червонцы пропадаютъ и исчезаютъ изъ рукъ ad libitum. „Видишь ли,—поучаютъ его дяденьки, указывая на груды золота, появившіяся у нихъ на столѣ послѣ одного изъ такихъ шулерскихъ подвиговъ,—можетъ ли твой отецъ въ цѣлый годъ столько денегъ добыть, сколько мы въ одинъ часъ добыли?" Юноша томится „финансовымъ идеализмомъ" до той поры, пока его не возвращаетъ чувству дѣйствительности одна наука, преподававшаяся въ высшемъ классѣ привилегированнаго заведенія, куда его помѣстилъ честолюбивый папаша. Наука эта носила названіе политической экономіи, и хотя преподавалась въ весьма коротенькомъ видѣ, и „законы, управляющіе міромъ промышленности и труда, излагались въ ней въ видѣ отдѣльныхъ разбросанныхъ группъ, изъ которыхъ каждая, въ свою очередь, представлялась въ формѣ дѣтской игры, эластичностью своею напоминающей пѣсню: „Коли любишь, прикажи, а не любишь—откажи", тѣмъ не менѣе, или, вѣрнѣе, именно вслѣдствіе этого, коротенькая наука пришлась Порфишѣ по нраву. Она была какъ бы продолженіемъ его дѣтскихъ сновъ, осуществленіемъ таинственнаго „клацъ". Прежде процессъ созиданія зависѣлъ отъ случайностей, которыя могли притти на помощь, теперь передъ нимъ были всегда готовые и вполнѣ солидные кунстштюки, которые, вдобавокъ, носили названіе политико-экономическихъ законовъ. „Кредитъ,—толкуетъ онъ своему пріятелю,—это, когда у тебя нѣтъ денегъ... понимаешь? Нѣтъ денегъ, и вдругъ — клацъ! — онѣ есть!" — Однако, mon cher, если

потребуютъ уплаты? возразилъ наивный пріятель. — „Чудакъ, ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надо платить, ну, и опять кредитъ; еще платить—и еще кредитъ". „И чѣмъ дальше шла впередъ наука, тѣмъ чудодѣйственнѣе и чудодѣйственнѣе становился открываемый ею міръ. Хороша была игра, въ которой „спросъ" съ завязанными глазами гонялся за предложеніемъ, а предложеніе, въ свою очередь, нащупывало, нѣтъ ли гдѣ спроса, но она уже представлялась простыми гулючками по сравненію съ игрой въ „ажіотажъ" и въ акціонерныя компаніи, которая ждала Порфишу впереди". Прогрессивное дѣйствіе дарвиновскаго закона успѣло сказаться вполнѣ. Многообѣщающій сынокъ совѣтника питейнаго отдѣленія изумляетъ на экзаменѣ директора своими познаніями по части биржевой игры. Понятно, что этотъ достойный сынъ своего времени не можетъ иначе, какъ съ презрѣніемъ, оглядываться на патріархальное прошлое. „Взяточки-съ?" не безъ оттѣнка циническаго негодованія язвитъ онъ своего отца, заставъ его въ моментъ полученія „слѣдуемаго по положенію" съ откупщика. „А вы попрежнему копеечку къ копеечкѣ прижимаете-съ? Курочки-съ! талечки-съ! грибки-съ!" привѣтствуетъ онъ свою мать послѣ годовой разлуки. Немудрено, что старики Мелентьевы, эти ретроградные представители отживающаго поколѣнія, съ чувствомъ горькой обиды и тупого недоумѣнія смотрятъ на пропасть, которая раскрылась между ними и ихъ дѣтищемъ. Между тѣмъ какъ Порфишѣ „снятся вятскіе лѣса и скопинскія каменноугольныя залежи", папаша его подозрѣваетъ въ немъ реформатора, который придетъ, старый храмъ разрушитъ, новаго не возведетъ и, насоривши, исчезнетъ, чтобы дать мѣсто другому реформатору, который также придетъ, насоритъ и уйдетъ. Такое недоразумѣніе со стороны стараго совѣтника питейнаго отдѣленія, отставшаго въ

своемъ Семиозерскѣ отъ вѣяній времени, вполнѣ понятно. Но что уже гораздо менѣе понятно — это, что тому же недоразумѣнію подпадаютъ люди, имѣющіе притязаніе не только поспѣвать за вѣяніями времени, но и, съ своей стороны, направлять ихъ въ сторону прогресса. Порфишѣ, въ которомъ недогадливый отецъ не сумѣлъ распознать свою плоть и кровь, россійскій прогрессъ раскрываетъ свои объятія; если вы, читатель, волею судебъ, кружились въ водоворотѣ прогресса, вы, навѣрное, встрѣчали его во всевозможныхъ обществахъ содѣйствія, читали его либеральныя статьи въ журналахъ, слышали его ораторствующимъ на общихъ собраніяхъ и въ кружкахъ. Быть-можетъ, если вы человѣкъ очень прихотливый, вы испытывали нѣкоторое ощущеніе смутной антипатіи, но вы тотчасъ же спѣшили подавить въ себѣ это субъективное ощущеніе и дѣлали это не изъ какихъ-либо малодушныхъ соображеній, а въ твердой увѣренности, что при нашей бѣдности россійскому прогрессу и такими людьми брезговать не слѣдуетъ. Безъ сомнѣнія, вы не могли бы притти къ такому заключенію, если бы нѣсколько яснѣе опредѣлили себѣ, въ чемъ должна заключаться сущность нашего поступательнаго движенія, для того чтобы оно могло назваться прогрессомъ. Но на этотъ счетъ у насъ существуютъ самыя хаотическія понятія. Порфиша обладаетъ тою степенью бойкости и практической сноровки, которая если и недостаточна для того, чтобы поймать журавля въ небѣ, то зато умѣетъ какъ нельзя лучше удержать синицу въ рукахъ; къ тому же извѣстно, что люди, гоняющіеся за журавлями въ небѣ, нерѣдко упускаютъ изъ рукъ синицу и, кромѣ того, пребольно расшибаютъ себѣ лобъ. Онъ кое-чему учился, правда, это кое-что не шло дальше краткой политической экономіи, но вѣдь мы съ вами, читатель, пожалуй и краткой политической экономіи не учились, а потому,

когда Порфиша развиваетъ передъ нами свою теорію кредита или излагаетъ правила биржевой игры, то мы только благоговѣніемъ проникаемся при мысли, какъ это все такъ премудро на свѣтѣ устроено, и какая полезнѣйшая вещь наука, возводящая какой-нибудь „клацъ", за который дядюшки Амалаты и Азамиты получали, по свидѣтельству Щедрина, „такъ называемую непріятность", въ научный законъ, за который никакихъ непріятностей не полагается. При этомъ, если мы люди сангвиничные, то непремѣнно вообразимъ, что устами Порфиши сама наука вѣщаетъ свое послѣднее слово и примемся съ величайшимъ и безкорыстнѣйшимъ усердіемъ пропагандировать это послѣднее слово; если же мы меланхолики, то махнемъ рукою,—не нашего, молъ, ума дѣло: быть-можетъ, онъ и себѣ на умѣ, но все-таки въ практическихъ вопросахъ онъ смыслитъ больше нашего, ему и книги въ руки; какое намъ дѣло до темныхъ побужденій, руководящихъ человѣкомъ,—лишь бы у него была голова на плечахъ, способная сослужить службу практическому дѣлу. А про Порфишу Мелентьева еще въ школѣ его товарищъ, Коля Персіяновъ, выразился такъ: Il est un peu par trop théoricien, ce cher Melentieff, mais c'est ègal; c'est une bonne tête, et avec le temps on pourra l'utiliser. И мы не безъ самодовольства констатируемъ въ себѣ присутствіе извѣстнаго маккіавелизма, который умѣетъ завербовать на службу прогресса даже такіе элементы, какъ „клацъ"! Между тѣмъ Порфиша, незамѣтно для насъ, но не безъ пользы для себя и не безъ ущерба для общихъ интересовъ, внѣдряется во всѣ отправленія того прогресса, безсознательнымъ орудіемъ котораго мы думали его сдѣлать. Онъ не только ораторствуетъ на общихъ собраніяхъ и пишетъ либеральныя статьи въ журналахъ, онъ даже въ филантропическихъ предпріятіяхъ участвуетъ, онъ даже распространенію образованія спо-

спѣшествуетъ, и притомъ не только классическаго, но и реальнаго; наконецъ, онъ, какими-то неисповѣдимыми путями, успѣваетъ подчасъ проторить себѣ дорожку въ кружки молодежи и тамъ становится оракуломъ. И при этомъ, надо отдать справедливость Порфишѣ, онъ никогда не компрометируетъ тѣхъ, кто съ такою недогадливою услужливостью подставили ему собственныя спины для проникновенія въ заповѣдное святилище либерализма; если онъ и не хуже своего папаши умѣетъ обезпечить себѣ „должное по положенію", то онъ никогда не поведетъ дѣла такъ, чтобы какой-нибудь непочтительный юнецъ могъ ему прошипѣть: „взяточки-съ, курочки-съ, талечки-съ, грибки-съ!"—онъ сумѣлъ разрѣшить по всѣмъ правиламъ краткой политической экономіи ту дилемму, надъ которой, по словамъ Щедрина, русское общество билось съ самаго начала XVIII вѣка, а именно, дилемму такой „регламентаціи аппетитовъ, которая приличествовала бы вполнѣ цивилизованному обществу". Не безъ сожалѣнія разстаемся мы съ „Господами ташкентцами", которые, и помимо Порфиши Мелентьева, представляютъ не одинъ типъ, живьемъ выхваченный изъ русской современности; но размѣры и задача нашей статьи не позволяютъ намъ останавливаться на этихъ типахъ.

Ложкадуры *).

Цензурное усмотрѣніе и чиновное творчество по части разныхъ препонъ, поврежденій, разгромовъ и другихъ всякаго рода и вида опустошеній и обуздданій буйствъ духа, юридически осуществляющихся въ формѣ циркуляровъ, словесныхъ приказаній, дружественныхъ писемъ и т. д., поставило непреодолимыя преграды для нашей научной мысли и художественной литературы. Изо дня въ день въ многоразличныхъ департаментахъ, съ 10 до 4 часовъ утра, ткутъ тонкую паутину отношеній, предписаній и другого вида наказовъ, направленныхъ противъ всего живого или стремящагося къ жизни на территоріи, раскинувшейся „отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды“. Жизнь всего міра и жизнь нашей страны является канцелярскимъ достояніемъ и тайной, до обывателей не касающеюся. Чиновничья опека надъ всяческими проявленіями буйствъ духа среди обывателей китайской стѣной отгородила „престолъ-отечество“ отъ остального цивилизованнаго міра съ такимъ расчетомъ, чтобы никакой „ни врагъ ни волкъ“ западно-европейскаго вольтерьянства не могъ ни пробѣжать ни пролетѣть въ заколдованное царство сна и могильнаго покоя.

Вы имѣете только одно право, дарованное вамъ въ этой странѣ, это—право родиться, а съ этого момента

*) „Разсвѣтъ“ (литературный сборникъ). Спб. 1875.

каждый вашъ шагъ, каждое ваше слово, каждый вашъ рубль, каждая ваша мысль, каждое ваше желаніе поступаютъ подъ надзоръ администраціи, и отъ ея доброй воли зависитъ разрѣшить или прекратить. Всѣ хорошо знаютъ пословицу: „У семи нянекъ дитя безъ глазъ“. Не знаю, сколько нянекъ у русскаго общества, ибо перечисленіе оныхъ представляетъ многоразличныя затрудненія. Но что оно безъ глазъ, это извѣстно хорошо всѣмъ, такъ какъ органъ гласности—литература—имѣетъ возможность, благодаря цензурѣ, такъ же хорошо видѣть, какъ и выколотый глазъ, а печать—несомнѣнно, глаза общества. Среди этого литературнаго мрака, гдѣ могутъ жить только тѣ, для которыхъ свѣтъ не представляетъ необходимаго условія существованія, теплѣетъ путеводный огонекъ, указывающій рускому обществу путь и освѣщающій дѣйствительное положеніе вещей,—это сатира Щедрина.

Какъ умудряется этотъ геніальный писатель на глазахъ у представителей цензурнаго вѣдомства говорить обществу такія вещи, о которыхъ не всякій рѣшится прошептать самъ себѣ на ухо, боясь близости полицейскаго чина, это его секретъ или, вѣрнѣе, секретъ его таланта. Какимъ образомъ онъ можетъ выводить публично на сцену, въ такомъ разоблаченномъ видѣ, представителей той самой власти, которая однимъ почеркомъ пера могла бы литературную дѣятельность Щедрина превратить въ небытіе,— сугубый секретъ. Впрочемъ, секретъ, до извѣстной степени поддающійся объясненію. Когда древняя красавица явилась во всемъ блескѣ своего обнаженнаго тѣла передъ суровыми судьями и раздалась фраза: „Если можете, осудите“, они забыли все, кромѣ этого неподражаемаго явленія природы, этого дивнаго тѣла. Съ цензорами Щедрина происходитъ нѣчто подобное. Когда онъ сдергиваетъ покровы со своихъ помпадуровъ и чиновниковъ раз-

личныхъ ранговъ и они являются во всей неподражаемой красотѣ своего безобразія, рука съ красными чернилами, зачарованная, опускается, очи бдительнаго чтеца невольно и неотразимо приковываются къ этому зрѣлищу, и онъ, вопреки вороху циркуляровъ, противорѣчащихъ другъ другу и дамокловымъ мечомъ висящихъ надъ бѣдной русской печатью, снисходительно отпускаетъ очеркъ Щедрина съ миромъ, лишь, для очистки совѣсти и формальнаго оправданія, слегка искалѣчивъ его и обезвредивъ съ цензорской точки зрѣнія.

Эта эстетическая точка зрѣнія на начальническую бдительность, конечно, объясняетъ положеніе дѣла только лишь отчасти. Во-первыхъ, не всегда цензоръ можетъ быть расположенъ къ эстетическимъ наслажденіямъ, а также, далеко не всегда невольный, его восторгъ парализуетъ циркулярное предписаніе, а мысль о формулярѣ и пререканіяхъ съ центральнымъ вѣдомствомъ можетъ лишь изрѣдка, въ исключительныхъ случаяхъ, тускнѣть и уступать мѣсто гражданскимъ и эстетическимъ чувствамъ. Слѣдовательно, у Щедрина есть еще, очевидно, въ запасѣ какое-нибудь „рыбье слово“. Есть. Это его удивительная способность говорить намеками, полуфразами, прозрачными шутками, прозрачными иносказаніями, параллелями, сближеніями, подмигиваньями, паузами, кажущимся добродушнымъ тономъ, равнодушнымъ отношеніемъ къ предмету и т. д., — словомъ, талантъ нашего автора располагаетъ цѣлымъ арсеналомъ удивительныхъ и остроумныхъ способовъ провести благополучно свою мысль, черезъ рифы и капканы, въ открытое море безпрепятственнаго пользованія читающей публики. Читатель Щедрина прошелъ особую „щедринскую“ школу и такъ ловко научился читать своего автора между строкъ, такъ прекрасно постигаетъ непечатную и ненапечатанную

рѣчь, что всѣ новоизобрѣтенныя препоны оказываются почти безсильными. Когда читаешь Щедрина, то кажется, что онъ надѣвается надъ хитросплетеніями вѣдомства, завѣдующаго очисткой поля русской литературы отъ плевелъ и ядовитыхъ злаковъ, и со свойственною ему ловкостью лавируетъ между статьями цензурнаго устава, ныряя въ опасные моменты, показываясь по минованіи опасности, и именно тамъ, гдѣ его никто не ждалъ, изобрѣтая такія слова, которыя, объяснивъ все, что автору надо въ данномъ случаѣ, нельзя подвести ни подъ какой криминалъ.

Передо мною прошелъ цѣлый рядъ нумеровъ „Отеч. Зап.“, съ новыми очерками Щедрина, гдѣ изображались разнаго вида помпадуры. Уже по этому одному ясно, что очерки эти допущены начальствомъ къ распространенію среди общества, такъ тщательно оберегаемаго отъ тлетворнаго вліянія научныхъ знаній и общественныхъ идей, распространяемыхъ печатнымъ станкомъ.

Подойдите поближе къ этому вершителю судебъ русскаго общества, вглядитесь пристальнѣе въ его физіономію. Теперь вы узнаете его? Конечно, узнаете. Это одинъ изъ тѣхъ, отъ которыхъ зависитъ ваше существованіе. Коснется *онъ* васъ—и... „гдѣ ты человѣкъ“; пройдетъ невзначай мимо, не зацѣпивъ, не повредивъ и не разоривъ,—и вы можете до поры до времени свободно дышать, пока *онъ* снова не станетъ свершать путь по своей административной орбитѣ, съ воплями: „Го-го-го!.. га-га-га!.. Убрать!.. Прекратить!.. Искоренить!..“ Это *онъ* превращаетъ вашу жизнь въ какую-то лихорадку, перемежающуюся надеждой на послабленія, зависящія отъ его начальнической воли, личнаго усмотрѣнія или каприза. Эта начальническая воля, это усмотрѣніе, этотъ вотчинный взглядъ на пространства, населеніе и вся „иже на землѣ, въ водахъ и подъ землею“—объясняютъ всѣ главнѣйшія явленія нашей

общественной жизни. Что такое для помпадура губернія? Вотчина. Сначала онъ въ чухломскомъ имѣніи распоряжался, теперь распоряжается въ губерніи. Какая же тутъ разница? Конечно, никакой. Тамъ онъ дѣлалъ, что хотѣлъ, и здѣсь онъ дѣлаетъ, что хочетъ. Иначе для чего же онъ „поставленъ"? Надо полагать, не для того же, чтобы согласовать свои дѣйствія съ какими-то бытовыми, экономическими и юридическими возможностями. Онъ—пастухъ, а все остальное—стадо. Это же ясно какъ день. Если онъ начнетъ приводить въ „законную" связь свои дѣйствія съ какими-то посторонними для него соображеніями, то что же тогда будетъ... *Всякій* начнетъ сначала *просить*, а затѣмъ *требовать*, понимаете, *требовать!* Если вы удовлетворили разъ требованіе, потребуютъ и во второй,—такова ужъ природа обывателя. Привычка требовать войдетъ въ обиходъ, станетъ обычнымъ способомъ, при которомъ уже обыватель не ждетъ, пока его нужды найдетъ начальство заслуживающими удовлетворенія, а станетъ заявлять о своихъ нуждахъ. Ахъ, какой это опасный путь! Разъ обыватель увидитъ что неблагополучіе можно превращать въ благополучіе, это тотчасъ же породитъ безконечное количество нуждъ, а разысканіе оныхъ нуждъ вызоветъ вкусъ къ *коллективнымъ* заявленіямъ, къ скопу!..

Если можно *просить*, то отсюда, слѣдовательно, implicite, въ этомъ разрѣшеніи заключается уже и право *обсуждать* свои просьбы. А это, знаете, какъ называется? *Петиція!!.* Если у васъ еще не встали волосы дыбомъ, то теперь они встанутъ. Право петицій или даже одна только ихъ возможность, по упущенію начальства, означаетъ то, что обыватель сталъ заниматься „внутренней политикой". А разъ онъ станетъ разсуждать объ этомъ предметѣ, гдѣ тогда, спрашиваю я васъ, очутятся авторитеты? Какой-нибудь неумытый

работникъ, пейзанъ или сорвавшійся съ цѣпи интеллигентъ изъ писакъ или адвокатовъ начнетъ порицать дѣйствія авторитета, соваться въ дѣло, до него не относящееся. Для нихъ, конечно, ce potage est délicieux, но я сомнѣваюсь, чтобы это грубое, нелѣпое блюдо принесло пользу бюрократическому порядку. Это недопустимо!.. Это нарушаетъ и вѣковые устои государства и, просто, тотъ обычный, элементарный порядокъ, который совершенно необходимъ для успѣшнаго собиранія податей и повинностей. Me comprenez vous? Всякій народъ долженъ дѣлиться на двѣ неравныя половины: на начальствующихъ безусловно и подчиняющихся безусловно. Иначе никакой помпадуръ не можетъ отвѣчать за благоденствіе ввѣреннаго ему края. А такъ какъ каждый край имѣетъ свои особенности и свои потребности, то отсюда ясно, что и законы для каждаго случая и каждой территоріи можетъ издавать только онъ, помпадуръ, ибо только ему одному въ точности извѣстно, гдѣ зимуютъ раки данной губерніи. Словомъ, нужна *децентрализація* т.-е. полная свобода дѣйствій помпадура, не стѣсненная ничѣмъ, кромѣ его хотѣнія. Поставьте, между его волей и жизнью ввѣреннаго ему края, законъ, и помпадуръ безсиленъ привести все къ одному знаменателю, ибо *всякій* начнетъ совать ему подъ носъ этотъ законъ, т.-е. опять-таки *всѣ* станутъ вмѣшиваться въ дѣло, до нихъ не относящееся.

Понимаете ли, какія открываются перспективы? Ну допустимъ, что помпадуръ начнетъ „ходить по точному смыслу закона“. Вы знаете, чѣмъ это пахнетъ? Началомъ правового порядка въ странѣ!.. Не болѣе и не менѣе!.. Ежели помпадуры пріучатъ обывателя къ точному смыслу и незыблемости закона, то онъ, обыватель, думаете, не перейдетъ къ мысли о томъ, что было бы недурно, ежели бы оное правило распространено было и на лѣвый берегъ Невы. Перейдетъ. За это

можно ручаться. Отсюда ясно, что онъ, помпадуръ, является только лишь однимъ изъ звеньевъ тяжелой цѣпи, опутавшей русскую дѣйствительность. Это—частичное проявленіе той силы, которая держитъ и направляетъ все вокругъ васъ; это—маленькій рычажокъ, одинъ изъ тысячъ рычажковъ, похожихъ, какъ двѣ капли, другъ на друга, которыми управляется бюрократическая машина Россіи. Всѣ они говорятъ о цѣлости государства, спокойствіи и мирномъ житіи, и всѣ дѣйствуютъ такъ, какъ если бы они находились въ завоеванной странѣ.

Когда я мысленно представляю себѣ помпадура, то мнѣ кажется, что съ правой стороны у него лежатъ усмотрѣнія и циркуляры, а съ лѣвой — законы. Вотъ почему всякое требованіе законности передвигаетъ вопросъ *влѣво*. А что произойдетъ, милостивые государи, если мы начнемъ передвигаться влѣво? То-то же... Сегодня вершокъ влѣво, завтра вершокъ влѣво, а послѣзавтра: „Принимая въ расчетъ сложность государственной жизни и безусловную необходимость для успѣшнаго и всесторонняго удовлетворенія требованій и нуждъ страны такого законодательнаго аппарата, который способенъ былъ бы гарантировать обществу свободу печати, собраній, сходокъ, личности, устанавливалъ бы общественный контроль надъ бюджетомъ страны и исполнительною властью“... Вы понимаете, чѣмъ это пахнетъ? Стало-быть, гдѣ же тогда очутятся помпадуры? И вы хотите, чтобы они собственными руками... Наивные!.. Правда, помпадуры не изобилуютъ качествами Ньютоновъ, но, вѣдь, разрѣшеніе этой задачи такъ несложно, такъ просто и наглядно, такъ суется само въ глаза, что помпадуры сразу постигаютъ, въ чемъ тутъ секретъ, и голоса ихъ еще пуще прежняго несутся по дремучему лѣсу русскихъ обязанностей и Сахарѣ русскихъ правъ. „Го-го-го!.. га-га-га!..“

Снуютъ квартальные, рыщутъ ищейки, и съ утра и до ночи идетъ расправа и децентрализація.

Словомъ, децентрализованные чиновники водружаютъ на Руси патріархальный строй, гдѣ они, „замѣсто" отцовъ и благодѣтелей, пасутъ необозримыя, неприведенныя въ ясность стада обывателей, карающъ и милуютъ, сообразно настроенію духа въ данный моментъ и состоянію начальническаго желудка и кишечника.

Тамъ, гдѣ существуетъ *такая* децентрализація, смѣшно говорить о правахъ, обязанностяхъ, законѣ, законности, справедливости, отвѣтственности, свободѣ и, наконецъ, о разумномъ существованіи.

Французская декларація правъ человѣка и гражданина гласитъ: „Законъ долженъ охранять личную и общественную свободу противъ угнетенія власть имущихъ". Скажите-ка объ этомъ помпадуру, и тогда посмотримъ, гдѣ вы вынырнете! Это ему-то, помпадуру, вы хотите поставить препоны, которыя онъ одинъ имѣетъ право разставлять на всѣхъ перекресткахъ ввѣренной ему губерніи? Ну нѣтъ, это ужъ вы „танцуйте назадъ"... Чтобы между помпадуромъ и „ввѣреннымъ" ему обывателемъ сталъ какой бы то ни было томъ, какая бы то ни было статья или примѣчаніе закона, онъ этого не допуститъ. Это ужъ comme vous voudrez. Онъ не допуститъ отвѣтственности чиновниковъ. Предъ кѣмъ можетъ быть отвѣтственно начальство? спрашиваю я васъ. Развѣ онъ, помпадуръ, можетъ отвѣчать за губернію, если *каждый* будетъ имѣть право вмѣшиваться, обслѣдовать, привлекать, критиковать?.. Развѣ можетъ тогда правильно работать административная машина? Онъ, только *онъ одинъ* знаетъ, гдѣ и въ какихъ размѣрахъ административная машина требуетъ смазки; онъ только одинъ и подвѣдомственные ему чины могутъ распоряжаться наличнымъ количествомъ мордъ, зубовъ, кармановъ и загривковъ.

При этихъ условіяхъ, конечно, никакіе законы не принесутъ правопорядка, ибо ничто не можетъ заставить помпадуровъ исполнять эти законы.

Угрюмо и безмолвно будутъ стоять извѣстные томы въ шкапахъ „учрежденій", свидѣтельствуя лишь о томъ, что извѣстный ученый французскій юристъ Лабулэ былъ глубоко правъ, когда писалъ, что „законъ теряетъ всякую силу тамъ, гдѣ правительство и его агенты имѣютъ возможность безнаказанно нарушать его".

Какими бы благими намѣреніями ни было одушевлено наше правительство, каково бы ни было законодательство нашей страны, наконецъ, какими бы личными добродѣтелями ни были одержимы наши помпадуры, страна будетъ страдать отъ произвола власти. Наши законы, вѣроятно, не хуже англійскихъ и французскихъ, а между тѣмъ длинные зубы Джонъ-Буля и его крѣпкій затылокъ значительно лучше ограждены отъ начальническихъ наскоковъ, чѣмъ это замѣчается у насъ. И это только лишь потому, что тамъ существуетъ гражданская и уголовная отвѣтственность всѣхъ чиновниковъ, и не только существуетъ она на бумагѣ, но и на дѣлѣ.

До тѣхъ поръ, пока не будетъ этого и у насъ, мы всегда будемъ слушать „га-га-га!.. го-го-го!.." нашихъ помпадуровъ всѣхъ степеней и ранговъ. Тамъ, гдѣ государство существуетъ и управляется страхомъ и для страха, наводимаго нарочито поставленными на сей предметъ помпадурами, тамъ не очень привольно и весело живется объектамъ такой системы, періодически усмиряемымъ и существующимъ для своевременнаго и неукоснительнаго сбора податей, прямыхъ и косвенныхъ налоговъ и тому подобныхъ почтенныхъ и обязательныхъ функцій.

Сатира „Пошехонскихъ разсказовъ“*).

Столько разъ уже говорилось о чрезвычайной чуткости Щедрина къ вопросамъ времени. Но мало говорилось о другомъ свойствѣ этого писателя, именно о томъ, что мелочность вопросовъ, являющихся въ его сатирахъ, не уменьшаетъ силы его произведеній. Въ нихъ есть нѣчто широко идейное, рядомъ съ вопросами дня. Видали ли вы пейзажи великихъ мастеровъ, особенно прошлаго, и замѣтили ли вы въ нихъ чудное свойство: передъ вами картина природы, ограниченная въ пространствѣ, но, странно, вы невольно и неотразимо чувствуете, что это ограниченное пространство есть только часть безконечнаго и вѣчнаго, что оно только частное отраженіе великаго міра. Вотъ это же самое вы постоянно чувствуете въ великихъ произведеніяхъ словеснаго искусства, сознаете связь частной картины человѣческой жизни съ чѣмъ-то общимъ, съ великими идеями, лежащими въ основѣ движенія въ жизни къ вѣчному совершенству. То же вы чувствуете, читая Щедрина; повидимому, осмѣиваемые имъ типы людей и нелѣпые жизненные факты такъ мелочны, такъ ничтожны, часто вопросы общественной жизни, захватываемые его сатирой, повидимому, такъ преходящи съ точки зрѣнія общихъ идеаловъ, такъ временны; но сквозь

*) А. И. Введенскій. Литературныя характеристики. Спб. 1903.

эту внѣшность всюду свѣтятъ и чувствуются широкіе и мощные общіе идеалы, лежащіе въ основѣ чувствъ и горестныхъ мыслей сатирика.

Въ печати уже достаточно прокричали о будто бы скабрезности начала „Пошехонскихъ разсказовъ". Допуская даже нѣкоторую долю справедливости въ адресованныхъ сатирику по этому поводу упрекахъ, мы остановимся на другой сторонѣ дѣла, умышленно затоптанной одними и близоруко непонятой другими. Дѣло въ томъ, что въ „Пошехонскихъ разсказахъ" не одни „крутыя слова", а присутствуетъ и острый смыслъ. Та „скабрезность", на которую набросились, есть гораздо больше простое отраженіе скабрезности той жизни, которую авторъ сатирически изображаетъ, и „крутыя слова" сатиры свидѣтельствуютъ только о силѣ несдержаннаго негодованія автора (мы признаемъ, что сдержанное негодованіе было бы и сильнѣе и цѣлесообразнѣе, да оно и не подало бы повода къ злостнымъ истолкованіямъ).

„Второй вечеръ" „Пошехонскихъ разсказовъ" отличается характеромъ совершенно скромнымъ и къ злостнымъ толкованіямъ повода подать не можетъ. Смыслъ ихъ современенъ, отвѣчая на стремленіе иныхъ элементовъ нашего общества и печати къ прошлому, съ цѣлью избыть изъ жизни новыя требованія и идеи, съ этимъ прошлымъ не ладящія. Сатира отвѣчаетъ также на тотъ вѣчный упрекъ не одному автору нашему, что онъ изображаетъ все изнанку да изнанку, каковое изображеніе и „для начальства непріятно, да и по существу неправильно", игнорируя то обстоятельство, что рядомъ съ „изнанкой", рядомъ съ Фейерами, Прыщами, Угрюмъ-Бурчеевыми, Деруновыми и Разуваевыми, существуютъ Правдины, Добросердовы и Здравомысловы". Сатирикъ сознается откровенно, что ему и въ голову не приходила мысль о существованіи Правдиныхъ и пр.,

и „не потому не приходила, чтобъ онъ игнорировалъ или презиралъ этихъ людей, но потому, что ему всегда казалось, что они и сами на себя смотрятъ сомнительно, какъ будто не знаютъ, дѣйствительно ли они люди, а не призраки"... И не мудрено, что такъ „казалось сатирику". Какимъ образомъ,—говоритъ онъ,—могутъ они (Правдины) смотрѣть на всевозможныя безчинства необузданныхъ дикарей (Скотининыхъ) и ограничиваются только тѣмъ, что пробормочутъ *въ сторону* номенклатуру происходящихъ передъ ихъ глазами гнусностей. „Авторъ признавалъ это неестественнымъ, и видя, что эти гг. Правдины „бродятъ безъ пользы по свѣту, получая присвоенные *никого не трогающимъ* людямъ чины и ордена", считалъ ихъ сомнительными. Теперь сатирикъ желаетъ „исправиться и все написанное исправить", присоединивъ къ коллекціи собранныхъ имъ прежде типовъ и типы добродѣтельныхъ Правдиныхъ для полноты общественной картины. И онъ даетъ эти „положительные" типы нашей общественной жизни: городничихъ безсребренниковъ, взятокъ не берущихъ и всего въ изобиліи имѣющихъ, предводителей дворянства прежняго времени, становыхъ приставовъ и другихъ чиновъ „уѣздной чиновной іерархіи". Каковы эти „положительные типы", читатели узнаютъ, конечно, изъ самой сатиры, которую они прочтутъ, разумѣется; мы же приведемъ здѣсь одинъ образчикъ городничаго-безсребреника.

„Одинъ городничій говаривалъ:

— Я одной рукой беру, а другой отдаю,—развѣ это взятка?

— Какъ же это выходитъ у васъ, Христофоръ Ивановичъ?—спрашивали, однажды, сослуживцы, которые обѣими руками брали и ни одною не отдавали.

— Очень просто, — отвѣтилъ онъ.— Сейчасъ деньги получу и сейчасъ же на нихъ какое-нибудь произведе-

ніе куплю. Стало-быть, что изъ народнаго обращенія выну, то и опять въ народное же обращеніе пущу.

И когда всѣ подивились его мудрости, то прибавилъ:

— То же самое, что казна дѣлаетъ: съ мужиковъ деньги беретъ да мужикамъ же ихъ назадъ отдаетъ.

„Съ тѣхъ поръ въ городѣ Добромысловѣ никто не говорилъ: брать взятки, а говорили: пускать деньги въ народное обращеніе".

Таковъ одинъ изъ „положительныхъ" типовъ—городничаго-безсребреника. Порадуемтесь, читатели, вмѣстѣ съ Щедринымъ, что есть въ нашемъ отечествѣ Правдины, что Щедринъ „исправился и исправилъ свои произведенія". Въ этой сатирѣ, быть-можетъ, уступающей другимъ по значительности содержанія, тѣмъ не менѣе съ обычною рельефностью и силою высказана мысль и отмѣчено нѣсколько печальныхъ чертъ нашей жизни. Но что всего значительнѣе—это своевременность высказываемой мысли, которая, будучи высказана въ рельефныхъ образахъ, Богъ дастъ, вразумитъ нѣсколько человѣкъ, не видящихъ за красивыми фразами нашихъ „охранителей" существеннаго безобразія многихъ стремленій. Неужели по прочтеніи сатиры Щедрина кто-нибудь захотѣлъ бы воротиться къ этимъ древнимъ порядкамъ, при которыхъ возможны были эти „безсребреники" и „пусканіе денегъ въ народное обращеніе", отъ которыхъ наше общество если не вполнѣ, то до нѣкоторой степени освободилось съ введеніемъ новыхъ формъ жизни, во многомъ несовершенныхъ, но несравнимыхъ съ прежней судебной и административной казенщиной. Впрочемъ, сатира Щедрина относится не къ прошлому только: изъ этого прошлаго еще чрезвычайно многое крѣпко стоитъ противъ чаяній новой жизни.

„Вечеръ пятый" „Пошехонскихъ разсказовъ",—„Пошехонское дѣло",—бьетъ по очень больному мѣсту рус-

ской современности, когда „всѣ жалуются и вопіютъ, что „фраза“ заѣла насъ, когда всѣ настаиваютъ на ея истребленіи, и всѣ, на ея мѣсто, предлагаютъ такую же фразу!“ Сатирикъ слышитъ возгласы: „Прочь мечтанія, прочь волшебные сны, прочь фразы, пора, наконецъ, за дѣло взяться!“ Въ чемъ же дѣло заключается, за которое пора взяться,—объ этомъ никто не говоритъ. И вотъ авторъ, основываясь на томъ, что „представленіе о „дѣлѣ“ нисколько не новость въ исторіи нашей цивилизаціи“, ищетъ отвѣта, что же такое разумѣлось прежде и разумѣется теперь подъ именемъ „дѣла“. Передъ читателемъ встаетъ изумительная картина пошехонской страны того времени, когда она „изъ конца въ конецъ кипѣла слезами и потомъ“ и когда „дружинники не только понимали, въ чемъ состоитъ „дѣло“, но и умѣли раздѣлить его на двѣ части: сами взяли въ руки жезлъ, а аборигенамъ предоставили проливать потъ и слезы“... Представленъ и образчикъ современнаго человѣка дѣла. Впрочемъ, читателямъ удобнѣе прочитать самую сатиру Щедрина, чрезвычайно удачную, какія не всегда выходятъ изъ-подъ пера даже и Щедрина.

А. Введенскій.

Характерная метаморфоза въ русской жизни *).

Разсказъ о Деруновѣ („Благонамѣренныя рѣчи“) принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ Щедрина. Оставивъ въ сторонѣ чиновничество, Щедринъ рисуетъ намъ на этотъ разъ кулака-мѣщанина, который, начавъ съ мелкаго прасольства, сталъ первостатейнымъ купцомъ и „главнымъ мѣстнымъ воротилой“: „арендовалъ у помѣщиковъ винокуренные заводы, въ большинствѣ городовъ губерніи имѣлъ винные склады, содержалъ громадное количество кабаковъ, скупалъ и откармливалъ скотъ и всю мѣстную хлѣбную торговлю прибралъ къ рукамъ,—словомъ, сдѣлался монополистомъ, который всякую чужую копейку считалъ гулящею и не успокаивался до тѣхъ поръ, пока не получитъ все въ свой карманъ“. Разумѣется, онъ считаетъ себя „столпомъ“ и „охранителемъ основъ“. Авторъ рисуетъ намъ его семейную жизнь: оказывается, что онъ, на старости лѣтъ, „свою жену, Анну-то Ивановну, нынче отставилъ, а у сына, у Яшеньки, жену отнялъ“; Яшенька „съ этого самаго запилъ, что сраму стерпѣть не могъ“, а Деруновъ, этотъ чадолюбивый отецъ, трактуетъ его, какъ непутнаго, и всячески притѣсняетъ. Авторъ знакомитъ насъ съ тѣмъ, какъ онъ ведетъ свои

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1874 г., № 118. Крит. лит. о пр. Салтыкова. Вып. 2.

торговыя дѣла: оказывается, что онъ безпощадно эксплоатируетъ все мѣстное населеніе, видя бунты и преступныя стачки въ каждой попыткѣ крестьянъ защититься отъ его безсовѣстной эксплоатаціи, и прибѣгаетъ къ мѣстнымъ властямъ съ ходатайствами о подавленіи всякихъ такихъ бунтовъ и стачекъ... Мысль разсказа не нова, но типъ Дерунова зато набросанъ у Щедрина мастерскою кистью. Вы какъ живого видите передъ собой этого плута, съ мягкимъ обращеніемъ, красивымъ лицомъ, съ ласковыми голубыми глазами, начиная съ того времени, когда онъ только что начиналъ свою карьеру, разъѣзжалъ по барскимъ усадьбамъ и пріобрѣтая особое расположеніе дворни каждаго помѣщика, къ которому онъ заѣзжалъ, и до того времени, когда онъ сталъ воротилою, сохранивъ свое „благолѣпіе“, но пріобрѣтя солидность съ нѣкоторымъ свинствомъ и проникнувшись глубокимъ уваженіемъ къ своей особѣ, съ претензіей на непогрѣшимость каждаго своего слова. Не могу воздержаться, чтобы не привести хоть одинъ отрывокъ изъ этого разсказа. Когда авторъ разсказа сидитъ у Дерунова (уже ставшаго воротилою), онъ узнаетъ, что „кандоуровскаго барина“ увезли—было.

— „Какъ увезли? Куда?“—„Неизвѣстно-съ. И за что—никто не знаетъ. Сказывалъ этта, будто становой писалъ. Ни съ кѣмъ будто не знакомится, книжки читаетъ, дома по вечерамъ сидитъ...“—„Не было ли поступковъ за нимъ какихъ?“—„Поступковъ не было. И становой, сказываютъ, писалъ: поступковъ, говоритъ, нѣтъ. Такъ и ожидали, что увезутъ. Однако отвѣтъ отъ высшаго начальства вышелъ: дожидаться поступковъ“.

Деруновъ, какъ охранитель и столпъ, высказывается въ пользу того, что съ кандоуровскими баринами можно, даже должно, и „безъ поступковъ“, производить надлежащую расправу. Но авторъ разсказа смотритъ на

это дѣло иначе и подъ вліяніемъ слышаннаго размышляетъ:

„Вотъ мы, жители столицъ, часто на начальство ропщемъ. Говоримъ: стѣсняетъ, правъ не даетъ. Нѣтъ, съѣздите въ деревню, да у станового подъ начальствомъ поживите! Что было бы съ „кандоуровскимъ баріномъ", если бы начальство не написало: „дожидаться поступковъ". Что сталось бы съ нимъ, если бы судьба его зависѣла единственно отъ усмотрѣнія сердцевѣдца-станового! Становой! Какая метаморфоза, если сравнить съ добрымъ старымъ временемъ! Я помню, смотритъ, бывало, папенька въ окошко и говоритъ: „Вотъ пьяницу-станового везутъ". Пріѣдетъ ли становой къ помѣщику по дѣламъ—первое ему привѣтствіе: „Что, пьяница! видно, куръ по уѣзду собирать ѣздишь!" Заикнется ли становой насчетъ починки мостовъ—отвѣтъ: „Кромѣ тебя, ѣздить здѣсь некому, а для тебя, пьяницы, и эти мосты—таковскіе". Словомъ сказать, кромѣ „пьяницы" да „куроѣда", и словъ ему никакихъ нѣтъ! Я знаю, что такую манеру обращаться съ агентомъ полицейской власти хвалить нельзя; но согласитесь однако же, что и метаморфоза черезчуръ уже рѣзка. Все былъ „куроѣдъ", и вдругъ—сердцевѣдецъ. Въ прежнія времена говаривали: „Тайныя помышленія Богъ судитъ, ибо Онъ одинъ въ совершенствѣ видитъ сокровенную человѣческую мысль..." Нынче все такъ упростилось, что даже становой, ни мало не робѣя, говоритъ себѣ: „А дай-ка и я понюхаю, чѣмъ въ человѣческой душѣ пахнетъ". И нюхаетъ. Я сижу дома и, запершись отъ людей, Поль-де-Кока читаю, а становой уже нѣчто насчетъ „превратныхъ толкованій" умозаключилъ. Не по случаю Поль-де-Кока умозаключилъ (въ этомъ смыслѣ онъ такъ образованъ, что даже Баркова наизусть знаетъ), а по случаю моей любви къ уединенію. Онъ думаетъ, зачѣмъ я уединяюсь, когда прочіе

въявь всѣ срамоты производятъ. И вотъ онъ начинаетъ сослуживать меня. Я держу у себя Гришку лакея, думаю, что живу за нимъ, какъ за каменной стѣной, а онъ ужъ и Гришку развратилъ и потихоньку его выспросилъ, что и какъ, почтителенъ ли я къ начальству, не затѣваю ли я революцій и т. п. Онъ даже не ждетъ съ моей стороны „поступковъ", а просто проникаетъ, на основаніи Гришкиныхъ показаній, въ тайники моей души и однимъ почеркомъ пера производитъ меня или въ званіе „столпа и опоры", или въ званіе „опаснаго и безпокойнаго человѣка", смотря по тому, какъ Богъ ему на душу положитъ. Это бывшій-то куроѣдъ! Куроѣдъ, совмѣстившій въ своемъ одномъ лицѣ всю академію нравственныхъ и политическихъ наукъ! Куроѣдъ—сердцевѣдецъ, куроѣдъ—психологъ, куроѣдъ—политиканъ! Куроѣдъ, принимающій на себя расцѣнку обывательскихъ убѣжденій и съ самымъ невозмутимымъ видомъ однимъ выдающій аттестатъ благонадежности, а другимъ—аттестатъ неблагонадежности! Ужели же и впрямь нѣтъ другого дѣла для куроѣда?! Очевидно, тутъ есть недоразумѣніе, въ существованіи котораго много виноватъ Т—скій исправникъ. Онъ призвалъ къ себѣ подвѣдомственныхъ ему куроѣдовъ и сказалъ имъ: „Вы отвѣчаете мнѣ, что въ вашихъ участкахъ тихо будетъ!" Но при этомъ не разъяснилъ, что читать книжки, не ходить въ гости и вообще вести уединенную жизнь—вовсе не противорѣчитъ общепринятому понятію о „тишкѣ". И вотъ куроѣды взбаломутились, и съ помощью Гришекъ, Прошекъ и Ванекъ начинаютъ орудовать. Не простой тишины они ищутъ, а тишины прозрачной, обитающей въ открытомъ со всѣхъ сторонъ помѣщеніи. Вездѣ, даже въ самой несомнѣнной тишинѣ, они видятъ или нарушеніе тишины или подстрекательство къ таковому нарушенію... Какія жестокія времена! Да и одинъ ли становой! Одинъ ли исправ-

никъ! Вонъ Деруновъ и партикулярный человѣкъ, которому ничего ни отъ кого не поручено, а попробуй, поговори-ка съ нимъ по душѣ? Ничего-то онъ въ психологіи не смыслитъ, а ежели нужно, право, не хуже любого доктора философіи всю твою душу по ниточкѣ разберетъ! Проста наша психологія! ахъ, какъ проста! Только одно слово отъ себя прилги или скрой одно слово—и вотъ вся человѣческая подноготная словно на ладони!.. Я удивляюсь даже, что Деруновы до такой степени скромны и сдержаны. Имѣй я ихъ взгляды на бунты и тѣ удобства, которыми они пользуются для проведенія этихъ взглядовъ, я всякаго бы человѣка, который мнѣ нагрубилъ, или просто не понравился, со свѣту бы сжилъ".

А. Чебышевъ-Дмитріевъ.

то шута. Отъ отца онъ перенялъ неистощимую прокаливость, отъ матери—способность быстро угадывать слабыя стороны людей. Благодаря первому качеству, онъ скоро сдѣлался любимцемъ отца, что еще болѣе усилило нелюбовь къ нему матери. Часто, во время отлучекъ Арины Петровны по хозяйству, отецъ и подростокъ-сынъ удалялись къ кабинетъ, украшенный портретомъ Баркова, читали стихи вольнаго содержанія и судачили, при чемъ въ особенности доставалось „вѣдьмѣ", то-есть Аринѣ Петровнѣ. Но „вѣдьма" словно чутьемъ угадывала ихъ занятія: неслышно подъѣзжала къ крыльцу, подходила на цыпочкахъ къ кабинетной двери и подслушивала веселыя рѣчи. Затѣмъ слѣдовало немедленное избіеніе Степки-балбеса. Но Степка не унимался; онъ былъ нечувствителенъ ни къ побоямъ ни къ увѣщаніямъ, и черезъ полчаса опять принимался куролесить: то косынку у дѣвки Анютки изрѣжетъ въ куски, то сонной Васюткѣ мухъ въ ротъ напуститъ, то заберется на кухню и стянетъ тамъ пирогъ (Арина Петровна, изъ экономіи, держала дѣтей впроголодь), который, впрочемъ, тутъ же раздѣлитъ съ братьями. „Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна, — убью — и не отвѣчу! И царь меня не накажетъ за это!" Такое постоянное приниженіе, встрѣчая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даромъ. Оно имѣло въ результатѣ не озлобленіе, не протестъ, а образовало характеръ рабскій, надоѣдливый до буффонства, не знающій чувства мѣры и лишенный всякой предусмотрительности. Такія личности охотно поддаются всякому вліянію и могутъ сдѣлаться чѣмъ угодно—пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

„Средній сынъ Порфирій Владимировичъ извѣстенъ былъ въ семействѣ подъ тремя именами: Іудушки, кровопивушки и откровеннаго мальчишки, каковы про-

звища еще въ дѣтствѣ были ему даны Степкой-балбесомъ. Съ младенческихъ лѣтъ любилъ онъ приласкаться къ милому другу мамашенькѣ, украдкой поцѣловать ее въ плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворитъ, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется въ уголокъ, сядетъ и, словно очарованный, не сводитъ глазъ съ маменьки, покуда она пишетъ или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда съ какою-то подозрительностью относилась къ этимъ сыновнимъ заискиваніямъ. И тогда этотъ пристально устремленный на нее взглядъ казался ей загадочнымъ, и тогда она не могла опредѣлить себѣ, что именно онъ источаетъ изъ себя: ядъ или сыновнюю почтительность. „И сама понять не могу, что у него за глаза такіе,—разсуждала она иногда сама съ собою:—взглянетъ—ну, словно вотъ петлю закидываетъ. Такъ вотъ и поливаетъ ядомъ, такъ и подманиваетъ".

Младшій сынъ, Павелъ Владимировичъ, былъ полнѣйшимъ олицетвореніемъ человѣка, лишеннаго какихъ бы то ни было поступковъ. Еще мальчикомъ онъ не выказывалъ ни малѣйшей склонности ни къ ученію, ни къ играмъ, ни къ общительности, но любилъ жить особнякомъ, въ отчужденіи отъ людей. „Забьется, бывало, въ уголъ, надуется и начнетъ фантазировать. Представляется ему, что онъ толокна наѣлся, что ноги сдѣлались у него тоненькія и онъ не учится. Или—что онъ не Павелъ, дворянскій сынъ, а Давыдка-пастухъ, что на лбу у него выросла болона, какъ у Давыдки, что онъ арапникомъ щелкаетъ и не учится... Шли годы, и изъ Павла Владимировича постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, изъ которой, въ конечномъ результатѣ, получился человѣкъ, лишенный поступковъ. Можетъ-быть, онъ былъ добръ, но никому добра не сдѣлалъ, можетъ-быть, былъ

и не глупъ, но во всю жизнь ни одного умнаго поступка не совершилъ. Онъ былъ гостепріименъ, но никто не льстился на его гостепріимство; онъ охотно тратилъ деньги, но ни полезнаго ни пріятнаго результата отъ этихъ тратъ ни для кого никогда не происходило; онъ никого никогда не обидѣлъ, но никто этого не вмѣнялъ ему въ достоинство; онъ былъ честенъ, но не слыхали, чтобы кто-нибудь сказалъ: „Какъ честно поступилъ въ такомъ-то случаѣ Павелъ Головлевъ". Въ довершеніе всего онъ нерѣдко огрызался противъ матери и въ то же время боялся ея какъ огня. Повторяю: это былъ человѣкъ угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствіе поступковъ—и ничего больше".

Младшіе братья вышли, какъ это у насъ обыкновенно говорится, въ люди и пошли служить. Порфирій Владимировичъ служилъ по гражданской службѣ, Павелъ Владимировичъ — по военной; оба находились въ Петербургѣ. Что же касается старшаго брата, Степана, то изъ него, какъ и надо было ожидать, вышелъ человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ неудачный. Онъ долго переходилъ изъ одной канцеляріи въ другую, былъ даже въ ополченіи, но нигдѣ не оказалъ ни наклонности къ усидчивому труду ни уживчивости. Арина Петровна рѣшилась на крайнюю мѣру по отношенію его: она „выбросила сыну кусокъ", который, впрочемъ, въ то же время долженъ былъ изображать и „родительское благословеніе". Кусокъ этотъ состоялъ изъ дома въ Москвѣ, за который Арина Петровна заплатила двѣнадцать тысячъ рублей. Но Головлевъ оказался неспособнымъ справиться и съ этимъ „родительскимъ благословеніемъ": онъ такъ легко привыкъ обращаться со своими деньгами, такъ нелѣпо понималъ размѣры дѣйствительной жизни, что годовой тысячи рублей достало очень не надолго. Въ какія-нибудь четыре-пять

лѣтъ онъ прогорѣлъ окончательно, и во время его ополченства „родительское благословеніе“ было продано съ молотка. Наступила минута, когда онъ, такъ сказать, очутился лицомъ къ лицу съ глухой стѣной. Ему было уже подъ сорокъ, и онъ вынужденъ былъ сознаться, что дальнѣйшее бродячее существованіе сдѣлалось для него не по силамъ. Оставался одинъ путь—Головлево. Этотъ путь Степана Владимировича въ Головлево, равно какъ пребываніе его въ немъ, и составляетъ главное содержаніе повѣсти.

Степанъ Владимировичъ ѣхалъ въ родительскую усадьбу, какъ въ могилу, вполнѣ сознавая, что тамъ ждетъ его вѣрная смерть, о чемъ онъ и говорилъ своему спутнику—крѣпостному Ивану Михайловичу, принимавшему въ немъ то нѣжное участіе, какое зачастую въ старину оказывали крѣпостные къ „постылымъ“ господамъ. „Прощай, братъ!—говорилъ Головлевъ дрогнувшимъ голосомъ, цѣлуя Ивана Михайловича: „заѣстъ она меня!“—„Богъ милостивъ! вы тоже ужъ не слишкомъ пугайтесь!“— „Заѣстъ!“—повторяетъ Степанъ Владимировичъ такимъ убѣжденнымъ тономъ, что Иванъ Михайловичъ невольно опускаетъ глаза. Арина Петровна и дѣйствительно заѣдаетъ своего блуднаго сына, и дѣлаетъ она это вовсе не посредствомъ какихъ-либо упрековъ, брани, поношеній и истязаній. Даже при встрѣчѣ она хоть бы слово вымолвила въ упрекъ ему,—только смѣрила его съ ногъ до головы ледянымъ взглядомъ. Затѣмъ его помѣстили въ особой комнатѣ того флигеля, въ которомъ помѣщалась контора, принесли ему бѣлье изъ домашняго холста и старый папенькинъ халатъ, въ который онъ и облачился немедленно. Арина Петровна не принимала его; къ отцу его тоже не допускали. Дня черезъ три бурмистръ Финогей Ипатычъ объявилъ ему отъ маменьки „положеніе“, заключавшееся въ томъ, что онъ будетъ полу-

чать столъ и одежу и, сверхъ того, по фунту фалера въ мѣсяцъ. Вотъ и все. Чего же, казалось бы? Двери родительскаго дома растворились передъ блуднымъ сыномъ, онъ жилъ на всемъ готовомъ; но это-то и была, именно, могила. Потянулся рядъ вялыхъ, безобразныхъ дней, одинъ за другимъ утопающихъ въ сѣрой зіяющей безднѣ времени. Жизнь его была жизнью абсолютной праздности, тѣмъ и отличаясь только отъ одиночнаго заключенія, что онъ ежедневно видѣлся съ одними и тѣми же двумя-тремя лицами въ земской конторѣ, да имѣлъ невозможную возможность удалиться изъ Головлева, если бы пожелалъ. Далѣе слѣдуетъ въ повѣсти мастерская, поразительная сцена семейнаго суда, заключающаяся въ томъ, что Арина Петровна пригласила двухъ своихъ младшихъ сыновей на совѣтъ, чтобы рѣшить, какъ поступить со старшимъ ихъ братомъ. У Арины Петровны пробудилось было что-то въ родѣ человѣческаго чувства: она была готова бросить своему блудному сыну еще „кусокъ“, въ видѣ небольшой усадьбы, которая слѣдовала ему по отцовскому наслѣдству. Но Порфирій Владимировичъ такъ опуталъ ее своими льстивыми рѣчами, что она не только не сдѣлала этого, но согласилась даже предложить Степану Владимировичу подписать полное отреченіе отъ всякаго наслѣдства. Простоватый и добродушный Степанъ Владимировичъ подписалъ безъ малѣйшихъ колебаній всѣ предложенныя ему бумаги по отреченію и остался доживать свой вѣкъ на маменькиномъ „положеніи“. Это житье на маменькиномъ положеніи впроголодь, въ полномъ забвеніи и пренебреженіи, медленное отупѣніе въ праздномъ одиночествѣ и окончательное спитіе и составляютъ далѣе въ повѣсти картину, поражающую своимъ трагизмомъ. Ужасенъ видъ этого живого существа, заживо погребеннаго на ничтожествѣ чисто-животнаго прозябанія, отвергнутаго, забы-

таго, однообразно влачащаго дни за днями, безъ малѣйшей радости въ настоящемъ, безъ малѣйшаго ожиданія чего бы то ни было въ будущемъ. Представьте себѣ его въ глухую осень, въ непроходимой грязи вокругъ усадьбы прислушивающагося къ шуму вѣтра и плеску дождя въ окна и будничному переругиванію дворовыхъ на дворѣ. „Вечера онъ проводилъ въ конторѣ, потому что Арина Петровна попрежнему не отпускала для него свѣчей. Нѣсколько разъ просилъ онъ черезъ бурмистра, чтобы прислали ему сапоги и полушубокъ, но получалъ отвѣтъ, что сапоговъ для него не припасено, а вотъ наступятъ заморозки, то будутъ ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намѣревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылаго въ такой мѣрѣ, чтобы онъ только не умеръ съ голоду. Сначала онъ ругалъ мать, но потомъ словно забылъ о ней; сначала онъ что-то припоминалъ, потомъ пересталъ и припоминать. Даже свѣтъ свѣчей, зажженныхъ въ конторѣ, и тотъ опостылѣлъ ему, и онъ затворился въ своей комнатѣ, чтобъ остаться одинъ на одинъ съ темнотою. Впереди у него былъ только одинъ ресурсъ, котораго онъ боялся, но который съ неудержимостью тянулъ его къ себѣ. Этотъ ресурсъ—напиться и позабыться. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться въ волну забвенія до того, чтобы и выкарабкаться изъ нея было нельзя. Все увлекалось въ эту сторону: и буйныя привычки, и насильственная бездѣятельность настоящаго, и больной организмъ съ удушливымъ кашлемъ, съ несносною, ничѣмъ не вызываемою одышкою, съ постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконецъ, онъ не выдержалъ...“ Далѣе слѣдуетъ страшная картина ночного пьянства и окончательнаго отупѣнія Степана Владимировича, поразительная глубокимъ психическимъ анализомъ. Къ сожалѣнію, я не имѣю возможности выписать это луч-

шее мѣсто въ повѣсти Щедрина. Ограничусь только тѣмъ, что когда, въ чаду своихъ хмельныхъ грезъ, однажды Степанъ Владимировичъ вздумалъ бѣжать изъ усадьбы, Арина Петровна вспомнила о своемъ сынѣ и рѣшилась заглянуть въ его комнатку. Вотъ въ какомъ видѣ она нашла ее:

„Комната была грязна, черна, заслякощена, такъ что даже ей, не знавшей и не признававшей никакихъ требованій комфорта, сдѣлалось неловко. Потолокъ былъ закопченъ; обои на стѣнахъ треснули и во многихъ мѣстахъ висѣли клочьями; подоконники чернѣли подъ густымъ слоемъ табачной золы; подушки валялись на полу, покрытомъ липкой грязью; на кровати лежала скомканная простыня, вся сѣрая отъ насѣвшихъ на нее нечистотъ. Въ одномъ окнѣ зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, а самое окно оставлено пріотвореннымъ; этимъ путемъ, очевидно, и исчезъ постылый".

Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворѣ стоялъ уже ноябрь въ началѣ, но осень въ этотъ годъ была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дороги и поля—все стояло черное, размокшее, невылазное. Какъ онъ прошелъ? Куда? И тутъ же ей вспомнилось, что на немъ ничего не было, кромѣ халата да туфель, изъ которыхъ одна найдена подъ окномъ, и что всю прошлую ночь, какъ на грѣхъ, не переставаючи шелъ дождь... И снова что-то человѣческое зашевелилось въ груди Арины Петровны. Она велѣла убрать его комнату, послала погоню за нимъ. Когда же его разыскали и воротили, она допустила его къ своему чайному столу.

„И чѣмъ тебѣ худо у матери стало?—говорила она ему:—одѣтъ ты и сытъ—слава Богу! И тепленько тебѣ, и *хорошохонько*... чего бы, кажется, искать? Скучно тебѣ,

такъ не прогнѣвайся, другъ мой,—на то и деревня. Весельевъ да баловъ у насъ нѣтъ—и всѣ сидимъ по угламъ да скучаемъ! Вотъ и я рада была бы поплясать да пѣсни попѣть, анъ посмотришь на улицу—и въ церковь-то Божію въ такую мокроть ѣхать охоты нѣтъ!— Арина Петровна остановилась, въ ожиданіи, что балбесъ хоть что-нибудь промычитъ, но балбесъ словно окаменѣлъ.—А ежели ты чѣмъ не доволенъ былъ,— кушанья, можетъ-быть, не достало или изъ бѣлья тамъ,—развѣ не могъ ты матери откровенно объяснить? Маменька, молъ, душенька, прикажите печеночки или тамъ вотрушечки изготовить,—неужто мать въ кускѣ-то отказала бы тебѣ? Или вотъ хоть бы и винца,—ну, захотѣлось тебѣ винца, ну, и Христосъ съ тобой! Рюмка, двѣ рюмки,—неужто матери жалко? А то натко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были всѣ льстивыя слова. Степанъ Владимировичъ не только не расчувствовался (Арина Петровна надѣялась, что онъ ручку у нея поцѣлуетъ) и не обнаружилъ раскаянія, но даже какъ бы ничего не слыхалъ. Онъ пересталъ, наконецъ, совсѣмъ думать и безусловно замолчалъ. Въ декабрѣ того же года онъ, наконецъ, покончилъ свое несчастное существованіе"...

Скабичевскій.

Сила художественности въ разсказахъ Салтыкова *).

Въ послѣдніе полтора-два года, подъ рубрикой „Благонамѣренныхъ рѣчей", Щедринъ выступилъ съ нѣсколькими разсказами, рѣзко отличающимися отъ обыкновеннаго пошиба его сатиры, ея содержанія и пріемовъ. Въ этихъ разсказахъ онъ измѣняетъ, во-первыхъ, свой языкъ. Мы имѣемъ тутъ уже не юмориста, точно обязаннаго все говорить съ сатирическою язвительностью, а разсказчика, изображающаго намъ жизнь безъ всякихъ подчеркиваній, образнымъ, сочнымъ языкомъ-держась тона, помогающаго читателю видѣть предметы, лица, природу въ ихъ настоящемъ свѣтѣ. И всѣ истинно творческія способности Щедрина начали проявляться въ такихъ разсказахъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ его сатирическихъ очеркахъ. Уже самый выборъ сюжетовъ показывалъ, что авторъ, дѣйствительно, хочетъ быть художникомъ болѣе, чѣмъ сатирикомъ. Онъ выбираетъ міръ разрушающагося деревенскаго барства; сначала вводитъ самого себя въ разсказахъ о нынѣшнихъ порядкахъ, а потомъ совершенно устраняетъ свою авторскую личность и даетъ намъ цѣлую картину старо-помѣщичьяго *вырожденія*, цѣлую эпопею чисто-трагиче-

*) „Молва" 1876 г., № 14. Критич. литер. о пр. Салт. Вып. 3. М. 1905.

скаго характера, несмотря на то, что она преисполнена самой обыденной прозы и даже пошлости. Интересъ читателя сосредоточиваетъ онъ на фигурѣ помѣщицы Арины Петровны, въ которой засѣли всѣ крупныя бытовыя черты самовластной скопидомки и собирательницы земли. Всю свою жизнь высидѣла она въ деревнѣ и неустанно, по крохамъ и по клочкамъ, увеличивала свою благостыню, достигла высшей степени самодержавности и какъ жена, и какъ помѣщица, и какъ мать. Дѣтей своихъ держала она въ строгости и повиновеніи, а дѣти-то и привели ее къ такому перелому въ жизни, послѣ котораго она принуждена была играть роль короля Лира. Одного изъ сыновей доводитъ она своимъ суровымъ деспотизмомъ до полнаго паденія, до мрачнаго запоя, который авторъ рисуетъ въ одномъ изъ предыдущихъ очерковъ высоко-талантливыми чертами. Но на другомъ сынѣ, прозванномъ ею, еще съ дѣтства, „Іудушкой-кровопивушкой“, старуха поймалась и должна была уйти даже изъ своего родового логовища, послѣ того какъ Іудушка-кровопивушка довелъ ее своими льстивыми и обманчивыми поступками почти до положенія приживалки. Личность этого „Іудушки“, даровито очерченная въ предыдущихъ очеркахъ, является въ послѣднемъ во всемъ своемъ расцвѣтѣ. Можно смѣло сказать, что вы не найдете ни въ одной изъ сатирическихъ вещей Щедрина такой своеобразной фигуры, воспроизведенной съ большимъ художественнымъ мастерствомъ, заключающей въ себѣ болѣе яркаго творчества. Конечно, кое-гдѣ авторъ измѣняетъ обязанности объективнаго художника и говоритъ объ этомъ исчадіи барско-чиновничьяго міра съ слишкомъ большою безпощадностью, слишкомъ рѣзко вызываетъ къ нему презрѣніе и даже отвращеніе; но зато во всѣхъ остальныхъ мѣстахъ разсказа, гдѣ дѣйствуетъ самъ Іудушка, художникъ вступаетъ въ свои

права и заставляетъ насъ забывать о вторженіяхъ сатирика. Новый разсказъ „Семейные итоги" начинается съ того момента, когда старуха, превращенная предательствомъ своего Іудушки въ приживалку, въ томъ самомъ имѣніи и домѣ, гдѣ она владычествовала долгіе годы, гдѣ все создано ея собственною энергіей и умѣньемъ, отъѣзжаетъ отъ него въ сосѣднюю деревушку, принадлежавшую даже не ей, а сиротамъ-внучкамъ, и увозитъ обѣихъ дѣвушекъ съ собой. Внучки не выдерживаютъ глухой, безотрадной жизни и наотрѣзъ объявляютъ бабушкѣ, что онѣ ѣдутъ въ Москву и не хотятъ заживо хоронить себя. Впервые поняла старуха, что противиться нельзя, что надо уступить какимъ-то новымъ требованіямъ свободы, и отпустила внучекъ, которыя въ скоромъ времени очутились на провинціальной сценѣ. Оставшись одна, она закопопатила себя въ двухъ комнатахъ дрянного полуразвалившагося домишки, сократила всѣ свои расходы почти до нищенства, стала прозябать и разрушаться. Анализъ впечатлѣній этой тоскливой, удушающей жизни, всего этого процесса нравственной смерти, сдѣланъ авторомъ необычайно тонко и сильно. Вы невольно уходите въ міръ старушечьей безпомощности, одиночества, безсонныхъ ночей, страха, сознанія своей обиды и горечи своего положенія и разрастающагося убійственнаго равнодушія — предшественника физической смерти, о которой, однако, старуха какъ бы забыла и думать, впавши въ свое тягостное прозябаніе. Эти страницы такъ же хороши, какъ и картина мрачнаго запоя ея безпутнаго сына, о которой мы упомянули выше. И вотъ мало-по-малу бывшій желѣзный характеръ старухи подался; она преобразилась: въ ея натурѣ всплыли наружу родовыя черты, превращающія очень скоро любую строгую барыню въ рыхлую, болтливую, угодливую приживалку. Все, чего она себя лишала прежде

изъ скопидомства, стало предметомъ ея тайныхъ желаній: и сладкаго куска ей захотѣлось страстно, и пустословія, и какого-нибудь общества. Какъ только, вмѣсто прежняго Ивана Калиты въ кацавейкѣ, всплыла наружу разрушавшаяся приживалка, она начала опять сближаться съ сыномъ, посылать къ нему то за тѣмъ, то за другимъ и учащать свои визиты. Незамѣтно она не только съ нимъ помирилась, но стала даже заискивать, заживаться по цѣлымъ днямъ, напрашиваться на разныя лакомства и гостинцы и проводить цѣлые дни въ болтовнѣ. А тѣмъ временемъ Іудушка совсѣмъ уже обособился и расцвѣлъ во всей своей безобразной сущности: онъ засѣлъ въ усадьбѣ и превратился, по замѣчанію автора, въ какую-то бѣлку, прыгающую безъ всякаго толку въ одномъ и томъ же колесѣ. Чиновничьи привычки къ пустой суетѣ, къ безсмысленнымъ занятіямъ сказались въ Іудушкѣ тѣмъ, что онъ цѣлый день, не выходя изъ кабинета и халата, учитывалъ свою должностную прислугу, ввелъ у себя ни къ чему не ведущую бумажную отчетность и строчилъ безпрестанно жалобы къ мировому судьѣ и посреднику. Эту натуру давно влекла къ себѣ полная свобода отъ какихъ-либо нравственныхъ ограниченій. Онъ порвалъ всякую связь съ внѣшнимъ міромъ, не читалъ ни книгъ, ни газетъ, ни писемъ, даже о смерти Наполеона III узналъ отъ станового пристава только черезъ годъ. Хозяйничать онъ все-таки не умѣлъ, даже не зналъ, что у него дѣлается въ хозяйствѣ. Для услажденія своихъ деревенскихъ досуговъ выбралъ онъ себѣ экономку, вполнѣ подходящую къ его обстановкѣ, дѣвицу Евпраксію, дочь деревенскаго дьячка, существо совершенно безотвѣтное и низменное по своимъ мозговымъ качествамъ. Въ такой-то жизни проходили дни за днями и только оживлялись пріѣздами старухи-матери Арины Петровны. Сначала Іудушка морщился отъ этихъ

визитовъ, но потомъ привыкъ къ нимъ и даже полюбилъ. Они удовлетворяли его страсти къ пустословію. И вотъ тутъ потекли безконечные разговоры, наполнявшіе дни и недѣли; при этихъ разговорахъ присутствовала и Евпраксеюшка, которую старуха очень полюбила. Вперемежку суесловія играли они втроемъ въ дурачки, ибо Евпраксеюшка никакъ не могла понять виста съ болваномъ. Сердце старухи, превратившейся въ приживалку сына, радовалось и веселилось, и каждый разъ, уѣзжая въ свою Погорѣловку, она придумывала новый предлогъ, чтобы скорѣй вернуться „на хорошее житье". Вдругъ, въ ноябрьскую мятель, во время вечерняго чая, среди обычнаго родственнаго суесловія, послѣ того какъ Арина Петровна прочла Іудушкѣ письмо отъ своихъ внучекъ, сдѣлавшихся актрисами, при чемъ Іудушка уже задумалъ отнять у нихъ какимъ-нибудь плутовствомъ имѣніе, раздался колокольчикъ, подъѣхала повозка, и вошелъ неожиданно второй сынъ Іудушки, по имени Петенька, званіемъ армейскій офицеръ. Старшаго сына его уже не было въ живыхъ; онъ застрѣлился, доведенный до этого скаредностью отца. Петенька изображается авторомъ, какъ молчаливый и нѣсколько суровый офицеръ. Его отношенія съ отцомъ самыя натянутыя и даже грубыя, но Іудушка, по своей гнусности, и съ нимъ фальшиво лебезитъ, чтобы только уклониться отъ какого-нибудь объясненія, отзывающагося родительскою помощью. Петенька держитъ больше сутокъ въ секретѣ причину своего внезапнаго пріѣзда, а причина трагическая: онъ проигралъ казенныя деньги, и ему дали нѣсколько недѣль срока, чтобы пополнить сумму, иначе предстоялъ судъ и посрамленіе. Петенька, зная, какихъ у него свойствъ родитель, повѣдалъ сначала свое горе бабушкѣ. Старуха разахалась, но помочь не могла, потому что у нея самой не осталось ни копейки, кромѣ денегъ, оставлен-

ныхъ на погребеніе и поминовеніе. Надо было итти къ отцу, котораго Петенька засталъ на молитвѣ. Іудушка предавался постоянно систематическому ханжеству, усвоилъ себѣ образцовые пріемы „стоянія на молитвѣ“, но въ то же время могъ слѣдить за всѣмъ, что мелькало передъ его глазами на дворѣ, предоставляя своимъ губамъ выговаривать молитвенныя слова, а рукамъ подниматься горѣ. Объясненіе между отцомъ и сыномъ послѣдовало послѣ молитвы, и, разумѣется, Іудушка не только не вошелъ въ бѣду своего сына, но разыгралъ съ нимъ самую фарисейскую комедію, съ прибаутками глубокаго цинизма, облеченными въ слащавый, приторный тонъ. Офицеръ, доведенный почти до ярости, назвалъ отца нѣсколько разъ убійцей и сталъ ему затѣмъ доказывать, что по его милости старшій братъ наложилъ на себя руки. Іудушка, внутренно задыхаясь отъ злости, продолжалъ свою сладкорѣчивую комедію и всякимъ своимъ словомъ говорилъ, что онъ не дастъ ни копейки. За тѣмъ же столомъ сидѣла старуха Арина Петровна, и въ ея разрушающейся душѣ произошла заключительная драма. Она знала съ давнихъ лѣтъ, что Іудушка, по своему лицемѣрію и фарисейству, по суевѣрной и трусливой натуришкѣ, боится одного: какъ бы она его не прокляла. Нѣсколько разъ она уже собиралась, въ собственныхъ интересахъ, пустить въ ходъ это энергическое средство. У нея уже составился цѣлый планъ: пріѣхать въ Головлево, потребовать къ себѣ попа, отворить церковь, и на весь народъ крикнуть: „проклинаю“, но это ей не удавалось. И вотъ теперь, въ послѣднюю минуту, когда она уже со стороны почувствовала съ полною яркостью и силой всю мерзость, все гнусное бездушіе и лицемѣрство Іудушки, она крѣпилась, крѣпилась и, въ разгарѣ сцены между отцомъ и сыномъ, крикнула: „проклинаю!“ На этомъ воплѣ Арины Петровны и кончается разсказъ.

Главныя два лица семейной драмы: старуха и сынъ ея Порфирій, прозванный Іудушкой, достигаютъ размѣровъ вполнѣ художественныхъ и типическихъ фигуръ. Это, дѣйствительно, продукты цѣлой культурной полосы. Они созданы, а не набросаны сатирической фантазіей. По оригинальности, новизнѣ и мастерству выполненія фигура Іудушки стоитъ выше старухи. Его суесловіе, пошло-фарисейскаго характера, облечено въ необыкновенно яркій, своеобразный жаргонъ, не заключающій въ себѣ никакой карикатурности. Словомъ, послѣдній разсказъ Щедрина былъ бы вполнѣ художественнымъ произведеніемъ, если бы въ него все-таки не входилъ одинъ элементъ, нарушающій полную объективность авторской манеры. Этотъ элементъ—разсудочный, уже слишкомъ въѣвшійся въ сатирика. Онъ не можетъ ограничиться тѣмъ, чтобы представить намъ своихъ героевъ въ дѣйствіи, въ разговорахъ или описаніяхъ; онъ непремѣнно прибавляетъ свои собственныя объясненія. Онъ комментируетъ и даже изобличаетъ.

Къ Іудушкѣ чувствуетъ онъ ничѣмъ нескрываемое презрѣніе и старается какъ можно убѣдительнѣе выставить передъ нами всю курьезную пошлость этой фигуры. Мы не считаемъ, однако же, Щедрина неспособнымъ на полную художественную объективность; рядъ послѣднихъ бытовыхъ разсказовъ показываетъ, напротивъ, что онъ приближается къ ней. Ему стоитъ только раздѣлить свою дѣятельность на два отдѣла, провести между ними рѣзкую черту: по сю сторону этой черты онъ останется сатирикомъ со всѣми своими правами и преимуществами, по ту сторону—онъ будетъ держаться строгихъ предѣловъ художественнаго изображенія, безъ всякаго вмѣшательства своей писательской личности. Но и авторскій элементъ въ послѣднемъ разсказѣ Щедрина, т.-е. элементъ сатирическій, изобличитель-

ный и резонерскій, все-таки проникнуть жизнью, глубиной, мѣткостью взгляда. Въ особенности хорошо то мѣсто (хотя оно и составляетъ отступленіе отъ хода разсказа), гдѣ авторъ проводитъ параллель между нашимъ русскимъ доморощеннымъ лицемѣріемъ, въ родѣ того, какое въѣлось въ Іудушку, и лицемѣріемъ западнымъ, въ особенности же французскимъ. Читатель позволитъ намъ сдѣлать цитаты изъ этого отрывка:

„Не надо думать, что Іудушка былъ лицемѣръ въ смыслѣ, напримѣръ, Тартюфа или любого современнаго французскаго буржуа, соловьемъ разсыпающагося по части общественныхъ основъ. Нѣтъ, ежели онъ былъ лицемѣръ, то лицемѣръ чисто русскаго пошиба, т.-е. просто человѣкъ, лишенный всякаго нравственнаго мѣрила, не знающій иной истины, какъ та, которая значится въ азбучныхъ прописяхъ. Онъ былъ невѣжественъ безъ границъ, сутяга, лгунъ, пустословъ и, въ довершеніе всего, боялся чорта. Все это такія отрицательныя качества, которыя отнюдь не могутъ дать простого матеріала дѣйствительнаго лицемѣра".

Въ противоположность этому лицемѣру, авторъ указываетъ на французовъ, гдѣ это душевное свойство получило яркую политическую и соціальную окраску. И, въ подтвержденіе своей мысли, приводитъ такой остроумный примѣръ, показывающій, какъ на *законъ уваженія* къ лицемѣрію основанъ, за рѣдкими исключеніями, современный французскій театръ:

„Герои лучшихъ французскихъ драматическихъ произведеній, т.-е. тѣхъ, которыя пользуются наибольшимъ успѣхомъ, именно за необыкновенную реальность изображенныхъ въ нихъ житейскихъ пакостей, всегда улучатъ подъ конецъ нѣсколько свободныхъ минутъ, чтобы подправить эти пакости громкими фразами, въ которыхъ обнаруживается святость и сладость добродѣтели. Адель можетъ въ продолженіе четырехъ актовъ

всячески осквернять супружеское ложе, но въ пятомъ она непремѣнно во всеуслышаніе заявитъ, что семейный очагъ есть единственное убѣжище, въ которомъ французскую женщину ожидаетъ счастье. Спросите себя: что было бы съ Аделью, если бы автору вздумалось продолжать свою пьесу еще на пять такихъ же актовъ? Вы можете безошибочно отвѣтить на этотъ вопросъ, что въ продолженіе слѣдующихъ четырехъ актовъ Адель опять будетъ осквернять супружеское ложе, а въ пятомъ опять обратится къ публикѣ съ такимъ же заявленіемъ. Да и нѣтъ надобности дѣлать предположеніе, а слѣдуетъ только изъ Théâtre français отправиться въ „Gymnase“ и оттуда въ „Vaudeville“ или въ „Variétés“, чтобъ убѣдиться, что Адель всегда одинаково оскверняетъ супружеское ложе и вездѣ подъ конецъ объявляетъ, что это ложе есть единственный алтарь, въ которомъ можетъ священнодѣйствовать честная француженка. Это до такой степени въѣлось въ нравы, что никто даже не замѣчаетъ, что тутъ кроется самое дурацкое противорѣчіе, что правда жизни является съ правдой лицемѣрія, и обѣ идутъ рука объ руку, до того перепутываясь между собой, что становится затруднительнымъ сказать, которая изъ этихъ двухъ правдъ имѣетъ болѣе правъ на признаніе. Мы, русскіе, не имѣемъ сильно окрашенныхъ системъ воспитанія. Насъ не муштруютъ, изъ насъ не вырабатываютъ будущихъ поборниковъ и пропагандистовъ тѣхъ или другихъ общественныхъ основаній, а просто оставляютъ расти, какъ кропива растетъ у забора. Поэтому между нами очень мало лицемѣровъ и очень много лгуновъ, пустосвятовъ и пустослововъ. Мы не имѣемъ надобности лицемѣрить ради какихъ-нибудь общественныхъ основъ, ибо никакихъ такихъ основъ не знаемъ, и ни одна изъ нихъ не прикрываетъ насъ. Мы существуемъ совсѣмъ свободно, т.-е. прозябаемъ, лжемъ и

пустословимъ сами по себѣ, безъ всякихъ основаній".

„Слѣдуетъ ли по этому случаю радоваться и соболѣзновать—судить объ этомъ не мое дѣло. Думаю однако же, что если лицемѣріе можетъ внушить негодованіе и страхъ, то безпредметное лганье способно возбудить докуку и омерзѣніе. А потому самое лучшее — это, оставя въ сторонѣ вопросъ о преимуществахъ лицемѣрія сознательнаго передъ безсознательнымъ или наоборотъ, запереться и отъ лицемѣровъ и отъ лгуновъ".

При нѣкоторой парадоксальности авторскихъ взглядовъ на французскій театръ, характеристика Адели, оскверняющей супружеское ложе, весьма остроумна, какъ самъ читатель видитъ. Но нельзя же не согласиться съ тѣмъ, что подобное вторженіе самого писателя въ художественный разсказъ непремѣнно вредитъ цѣльности, простотѣ, непосредственности творчества. Мы думаемъ, что въ скоромъ времени художникъ пересилитъ въ немъ сатирика: до такой степени свѣжи его творческіе пріемы, такъ сильно въ немъ чувство настоящей жизни, такъ много матеріала доставила ему объективная наблюдательность.

Высоко-художественное значеніе „Больного мѣста“ *).

„Больное мѣсто“ составляетъ одинъ изъ кульминаціонныхъ пунктовъ творчества Салтыкова; это нѣчто законченное, образцовое въ своемъ родѣ. „Больное мѣсто“—это торжество психологическаго анализа, согрѣтаго глубокимъ чувствомъ и освѣщеннаго глубокою идеей. Если бы намъ нужно было доказать, что Салтыковъ не только замѣчательный сатирикъ, но и одинъ изъ первыхъ нашихъ беллетристовъ, то мы сослались бы, рядомъ съ „Господами Головлевыми“, и на „Больное мѣсто“: такъ высоко стоитъ, въ нашихъ глазахъ, эта небольшая повѣсть, съ ея простою завязкой, съ ея единственнымъ героемъ.

Чутье художника-мыслителя выразилось уже въ самомъ выборѣ предмета. Гаврила Степанычъ Разумовъ—это не „Удавъ“, въ домѣ котораго также разыгралась семейная драма (см. седьмое „Письмо къ тетенькѣ“); это и не Молчалинъ, привыкшій къ выжидательной системѣ и могущій упрекнуть себя только за „невнушеніе правилъ“. Нельзя сказать, чтобъ Удавъ былъ совершенно неспособенъ къ страданію, чтобы судьба

*) „Вѣстникъ Европы“ 1883 г., № 3. *Русская общественная жизнь въ сатирѣ Салтыкова*, К. К. Арсеньева.

трехъ сыновей, — изъ которыхъ „одинъ пропалъ, другой — попался, третій — остался цѣлъ и выражается о братьяхъ: такъ имъ, подлецамъ, и надо",—оставила его безусловно равнодушнымъ. Нѣтъ, жизнь его существенно измѣнилась уже съ тѣхъ поръ, какъ его „храмина погрузилась въ мракъ и наполнилась шипѣньемъ", вслѣдствіе обособленія элементовъ, сначала угрожавшихъ, а потомъ и дѣйствительно разрѣшившихся „исторіей". Онъ предполагалъ, что подъ старость у него будутъ три утѣшенія (хотя бы только для внимательнаго слушанія анекдотовъ изъ жизни графа Михаила Николаевича), а на повѣрку вышло только одно—да и относительно этого послѣдняго утѣшенія ему пришлось задуматься, „подлинно ли оно утѣшеніе, а не египетская казнь". Потрясающаго впечатлѣнія, однако, потеря Удавомъ двухъ утѣшеній на насъ произвести не можетъ, какъ потому, что Удавъ и искреннее чувство—понятія несовмѣстимыя, такъ и потому, что слишкомъ ужъ очевидна связь между прошедшимъ Удава и предстоящимъ ему будущимъ, слишкомъ заслужена постигшая его кара. Молчалинъ—гораздо болѣе, чѣмъ Удавъ, подходящій субъектъ для семейной .драмы; но она могла разразиться надъ нимъ только извнѣ, а такая драма, несмотря на весь свой ужасъ, все-таки не составляетъ еще послѣдняго слова трагизма. Гроза можетъ пройти, солнце можетъ опять показаться на небѣ, жизнь можетъ возвратиться въ прежнюю колею, хотя бы и съ нѣкоторымъ изъяномъ; къ отчаянію, даже въ худшемъ случаѣ, не присоединяется здѣсь вовсе или присоединяется лишь слегка страшная мука самообвиненія. Безповоротенъ только тотъ разрывъ, который идетъ изнутри, котораго не можетъ ни остановить ни уничтожить ничья посторонняя рука; безгранично и безысходно только то горе, въ составъ котораго входитъ безплодное раскаяніе. Прошедшее—вотъ гдѣ коренится глав-

ная разница между Разумовымъ и Молчалинымъ; за послѣднимъ имѣются только мелкіе грѣшки, за первымъ есть и крупные счеты. Въ исторіи Удава темныхъ страницъ еще гораздо больше, но онъ почти не сознаетъ ихъ мрака; Разумовъ былъ долго близорукъ, почти до слѣпоты, но глаза его, наконецъ, раскрылись—и раскрылись слишкомъ поздно.

Вся жизнь Разумова сложилась такъ, что любовь къ сыну должна была сдѣлаться для него господствующимъ, единственнымъ, всепоглощающимъ интересомъ. Молодымъ онъ никогда не былъ, такъ называемаго періода страстей онъ никогда не переживалъ; женился онъ не по любви и даже не по расчету, а для порядка, въ силу одного изъ тѣхъ рѣшеній, „которыя имѣютъ за себя достоинство исконной общепризнанности". Его рано захватили *тиски*, „съ которыми онъ, съ самой бурсы, до того свыкся, что даже не чувствовалъ ихъ давленія". Всепроникающею формулой его существованія была служба и сопряженное съ нею *дѣло*. „Разъ прилѣпившись къ дѣлу, разъ взявши на себя обязательство выполнить его *по сущей совѣсти*, т.-е. *какъ приказано*,—Гаврила Степанычъ почувствовалъ свою жизнь до краевъ наполненною. Онъ былъ нечестолюбивъ и даже не понималъ честолюбія. Повышенія и награды хотя и настигали его, но въ установленномъ порядкѣ, а не потому, чтобъ онъ искалъ ихъ; даже „необходимымъ" онъ сдѣлался не за какія-нибудь потворства начальническимъ страстямъ, а просто потому, что лучше другихъ вникалъ, лучше другихъ умѣлъ неясному мельканью начальственной мысли найти связное и ясное выраженіе". Въ массѣ дѣлъ, которыя проходили черезъ руки Разумова, немало было такихъ, которыя для однихъ оканчивались нравственною обидой, для другихъ — матеріальнымъ ущербомъ; но эти обиды и ущербы прикрывались въ глазахъ Разумова

представленіемъ о высшемъ интересѣ,—представленіемъ, принятымъ на вѣру и едва ли означавшимъ что-либо иное, кромѣ пустого „приказанія". Вотъ почему онъ былъ добросовѣстно убѣжденъ, что „мухи не обидѣлъ", хотя отъ него пострадали многіе и весьма многіе; вотъ почему онъ могъ быть даже жестокимъ, хотя жестокость не была въ его натурѣ. „Бывали, конечно, минуты, когда на него наносило вѣтромъ что-то въ родѣ трупнаго запаха и когда онъ поневолѣ задумывался: Въ такія минуты онъ выходилъ изъ-за письменнаго стола, къ которому считалъ себя прикованнымъ, безпокойно шагалъ взадъ и впередъ по кабинету, какъ бы подъ вліяніемъ ощущеній физической боли, и старался припомнить тотъ „высшій интересъ", который на сей предметъ полагается. И разумѣется, въ концѣ концовъ, припоминалъ и... успокаивался".

Успокоеніе, почерпаемое изъ такого источника, прочно только до тѣхъ поръ, пока колесо „дѣла" вертится безостановочно, пока одно впечатлѣніе смѣняется другимъ, не давая ни опомниться ни оглянуться, пока „высшій интересъ" ежеминутно мечется въ глаза, то въ видѣ начальства, то въ видѣ бумагъ и подлежащихъ узаконеній и предписаній, то, наконецъ, просто въ видѣ привычной департаментской обстановки. Къ несчастью для Разумова, онъ былъ внезапно отдаленъ отъ колеса, когда чувствовалъ въ себѣ и охоту и силу вращать его попрежнему. Шестидесятилѣтній бодрый старикъ очутился въ глухомъ губернскомъ городѣ (размѣръ пенсіи не позволялъ оставаться въ столицѣ) внѣ привычной колеи, безъ занятій, безъ жизненныхъ цѣлей—за исключеніемъ одной, воплощенной въ единственномъ сынѣ. Степа родился черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ запоздалой женитьбы, когда Гаврила Степанычъ совсѣмъ было потерялъ надежду на потомство. „Съ этой минуты жизнь Разумова какъ бы раздвоилась, и

онъ впервые почувствовалъ, что съ нимъ случилось что-то въ родѣ „эпизода“. Даже женитьба не произвела въ немъ такого волненія, такого сладкаго и въ то же время щемящаго избытка счастья, который заставляетъ опасаться, что чаша не черезчуръ ли наполнена. Между новымъ объектомъ жизни — сыномъ и старымъ объектомъ—*дѣломъ* сразу установилась прочная связь: старый объектъ служилъ новому и уже не господствовалъ надъ жизнью“. Нетрудно понять, насколько должно было подняться значеніе новаго объекта, когда старый, помимо воли субъекта, былъ вовсе сложенъ со счетъ. Въ довершеніе всего, Гаврилѣ Степанычу пришлось разстаться съ сыномъ, оставить его въ Петербургѣ до окончанія ученія. „Разумовъ не зналъ, куда дѣваться отъ унынія и скуки. Только лѣтомъ, во время каникулъ, онъ расцвѣталъ, потому что въ это время пріѣзжалъ въ побывку Степа. Однако и тутъ не обошлось безъ горькихъ замѣтокъ. Хотя отецъ и сынъ попрежнему безпредѣльно любили другъ друга, но не въ природѣ вещей было, чтобы Степа всего себя отдалъ старику-отцу“. Въ Петербургѣ они также видѣлись довольно рѣдко—„но вѣдь тогда существовало *дѣло*, которое сдерживало отцовскія чувства, а теперь была свобода, пользуясь которою онъ, конечно, готовъ былъ всякую минуту жизни посвятить своему дѣтищу. Но этого-то именно и не понималъ Степа и продолжалъ отдавать отцу столько же времени, какъ и прежде“. Старикъ не обвинялъ сына—„но болѣло его старческое сердце, и съ каждымъ днемъ все глубже и глубже погружался онъ въ пучину той безразсвѣтной пустоты, на которую обрекло его одиночество“.

Это только прологъ драмы, будничный, заурядный, переживаемый тысячами отцовъ и матерей — и благо тѣмъ изъ нихъ, для которыхъ драма не идетъ дальше *пролога*, какъ бы онъ ни былъ богатъ горечью и сле-

зами. Настоящій трагическій моментъ въ жизни Разумова наступаетъ тогда, когда къ опасеніямъ за сына—опасеніямъ въ родѣ тѣхъ, которыя испытываетъ Молчалинъ—присоединяется другое, еще болѣе гнетущее чувство. „Гаврила Степанычъ зналъ навѣрное, что Степа—юноша честный, трудолюбивый и притомъ до крайности любящій, сердечный. Но въ самомъ воздухѣ носилось что-то такое, что могло грубо прикоснуться къ этой чувствительной, нѣжной натурѣ, обидѣть и затереть ее. Когда Гаврила Степанычъ раздумывалъ объ этомъ, то по временамъ ему приходило на мысль что-то новое, неожиданное. Онъ чувствовалъ, что въ эти тревожныя думы, повидимому, посвященныя исключительно настоящему, врываются какіе-то смутные отголоски изъ его чиновническаго прошлаго. Словно далекій, чуть слышный стукъ или неопредѣленное напоминаніе, въ родѣ того, какое иногда испытывается при чтеніи книги. Помнится, что гдѣ-то, когда-то затрогивался извѣстный предметъ, но гдѣ и когда — не доищешься. Только случайность можетъ раскрыть кроющуюся тутъ связь — и иногда раскрываетъ ее очень трагически". Степа въ первый разъ пріѣзжаетъ на каникулы студентомъ. „Какъ теперь поступить? какой совѣтъ ему дать? съ какимъ напутствіемъ поставить его передъ раскрытыми настежь дверьми жизни? Когда слова *совѣтъ*, *напутствіе* мелькнули въ головѣ Разумова, онъ почувствовалъ, что тотъ неясный стукъ прошлаго начинаетъ слышаться явственнѣе и явственнѣе, что выдѣляются изъ тьмы нѣкоторыя очертанія, которыя безпокоятъ, отнимаютъ у мысли ея обычное безмятежіе. Однакоже и на этотъ разъ дѣло ограничилось одною смутною тревогою. Проблески появились, освѣтили случайно тотъ или другой уголъ картины—и опять утонули".

Восторженность и пылкость, съ которыми Степа всту-

палъ въ университетъ, скоро уступили мѣсто задумчивости, унынію. Когда Разумовъ узналъ объ этой перемѣнѣ,—она совершилась въ Петербургѣ,—имъ овладѣлъ безотчетный страхъ. „Онъ почувствовалъ, что почва колеблется подъ его ногами, что впереди стоитъ какая-то неотразимая и совсѣмъ новая обида, которая окончательно подорветъ его жизнь, подорветъ непремѣнно, неизбѣжно...“

Подъ вліяніемъ этого чувства онъ отдалялъ минуту свиданія, не хотѣлъ ѣхать въ Петербургъ, не соглашался послать туда Ольгу Аѳанасьевну. Тяжело было ему замѣтить, что Аннушка—съ дѣтства другъ Степы—знаетъ о Степѣ гораздо больше, чѣмъ его родители, и знаетъ что-то такое, вслѣдствіе чего измѣнилось отношеніе ея къ Гаврилѣ Степанычу. Онъ опять пересмотрѣлъ свое прошедшее—и хотя продолжалъ повторять: „Мухи не обидѣлъ“, но наплывавшія со всѣхъ сторонъ сомнѣнія отъ этого не исчезали. Пріѣхалъ, наконецъ, Степа. „По наружности онъ не измѣнился; такъ же, какъ прежде, приласкался къ отцу,—то-есть почти такъ же. То, да не то—почуялось Гаврилѣ Степанычу“. Первое впечатлѣніе подтвердилось: хоть и ничѣмъ, повидимому, не обнаруживаетъ Степа охлажденія, хоть и старается даже усилить внѣшнія выраженія ласковости—а „видитъ отцовскій глазъ убыль, чуетъ вѣщее отцовское сердце утрату“. Гаврила Степанычъ становится сдержанъ, молчаливъ—но старческая болтливость, а можетъ-быть, и болѣзненная потребность узнать, разъ навсегда, свою участь, однажды беретъ свое. Онъ говоритъ о своихъ „дѣловыхъ“ подвигахъ, говоритъ подробно, откровенно—и договаривается до того, что Степа поспѣшно уходитъ изъ комнаты. Тайна раскрыта; камень, медленно опускавшійся, придавилъ Разумова до самой земли. Онъ хочетъ испить чашу до дна, хочетъ объясниться съ сыномъ; Степа уклоняется отъ объясненія,

умоляетъ отца забыть случившееся, но Гаврила Степанычъ продолжаетъ допрашивать его: „Ты презираешь? ты не одобряешь? Да вѣдь я по сущей совѣсти поступалъ,—оправдывается онъ передъ сыномъ:—выслушай, разсуди, пойми! *По сущей совѣсти!*“

Оправданія не помогли; между отцомъ и сыномъ осталась какая-то пропасть. Разумовъ сидѣлъ въ своемъ углу и молчаливо давился своимъ горемъ. „Неужто же все... вся прошлая жизнь?..—спрашиваетъ онъ себя,—неужто нѣтъ въ этой жизни ничего смягчающаго?“—„Есть-то есть,—таковъ былъ внутренній отвѣтъ,—но какъ *сіе-то* въ этомъ увѣрить?“—„Жизнь ужъ написана,—говоритъ Разумовъ своему старому другу:—какъ ты ее по-новому, новыми словами напишешь? Погубилъ бы себя—такъ и погибель твоя не нужна“. „Онъ долженъ сидѣть на берегу моря; въ глазахъ его налетитъ ураганъ, и разсвирѣпѣютъ волны, въ глазахъ его будутъ бороться и умирать пловцы, а онъ осужденъ безплодно метаться на своемъ мѣстѣ и испускать стоны. Кто услышитъ эти стоны, да и кому они нужны? Въ громадномъ стонѣ цѣлой природы какое значеніе можетъ имѣть его безсильный старческій стонъ? Старикъ! ты лишній, ты мѣшаешь!—вотъ что слышится ему среди гвалта и воплей разгорѣвшейся сѣчи...“ „Свѣтъ просіялъ для Разумова, но не тихій, а зловѣщій, и просіялъ... черезъ сына. Онъ думалъ, что сынъ—утѣха, а вышло, что онъ—просіяніе. Какимъ-то проклятымъ образомъ переплелись эти два совсѣмъ несовмѣстимыя понятія, и нѣтъ возможности распутать ихъ. И утѣха и просіяніе—какой адъ! Ахъ нѣтъ, нѣтъ! Утѣха, утѣха, утѣха! Слышишь ли ты это, Степа! Подсказываетъ ли тебѣ сердце, что какое бы громадное несчастье ни придавило тебя, это же самое несчастье во сто кратъ, въ тысячу кратъ тяжелѣйшимъ молотомъ придавитъ безпомощную голову твоего отца. Нѣтъ у этого отца ни на-

стоящаго ни будущаго, нѣтъ даже прошлаго, но вѣдь и въ этомъ человѣкѣ-обрывкѣ трепещетъ сердце... Тобой полно это сердце, однимъ тобой!"—Степа не услышалъ этого отчаяннаго крика; онъ не выдержалъ тяжести, павшей на его молодыя плечи. Онъ не могъ ни вырвать изъ своего сердца любовь къ отцу, ни забыть объ отцовскомъ прошломъ. Когда онъ не хотѣлъ, чтобы при немъ говорили объ этомъ прошломъ, ему возражали, что ему стоитъ только „совсѣмъ порвать"—и онъ ко всему будетъ относиться „объективно"; но онъ не могъ исполнить этого совѣта. Онъ слишкомъ глубоко и сильно любилъ, чтобы замѣнить любовь объективизмомъ,— и предпочелъ похоронить непримиримыя, одинаково неизгладимыя чувства, похоронить ихъ вмѣстѣ съ собою въ добровольно вырытой могилѣ.

Какая трагедія или, лучше сказать, какой эпизодъ изъ трагедіи, разыгрывающейся въ русской современной жизни! Занавѣсъ поднятъ уже давно, болѣе двадцати лѣтъ тому назадъ; первый актъ драмы отразился въ тургеневскихъ „Отцахъ и дѣтяхъ"—но что̀ такое страданія Николая Петровича Кирсанова въ сравненіи съ страданіями Гаврилы Степаныча Разумова! Событія усложняются все больше и больше, вопросы растутъ въ ширину и глубину, не только задѣвая, но ломая, искажая человѣческія существованія. Припомнимъ тотъ эпизодъ изъ „Героевъ времени" Некрасова (1875 г.), который составляетъ какъ бы параллель къ „Больному мѣсту".

Слухъ по столицѣ пронесся одинъ—
Сдѣлано слишкомъ ужъ дерзкое дѣло!
Входитъ къ Зацѣпѣ единственный сынъ:
„Правда ли?" „Правда ли?" Юноша смѣло
Сыплетъ вопросы—и нѣтъ имъ конца;
Вспыхнула ссора. Зацѣпа взбѣсился.
Чтобъ не встрѣчать и случайно отца,
Сынъ непокорный въ Москву удалился.

Тамъ онъ оканчивалъ курсъ, голодалъ,
Письма и деньги отцу возвращая.
Въ Тайнѣ Зацѣпа о немъ тосковалъ.
Вдругъ телеграмма пришла роковая:
„Раненъ твой сынъ". Черезъ сутки письмомъ
Другъ объяснилъ и причину дуэли:
„Воромъ отца обозвали при немъ"...
Черныя мысли отцомъ овладѣли.
Утромъ онъ къ сыну поѣхать хотѣлъ,
Но и другая пришла телеграмма..."

Сынъ Зацѣпы умеръ: отецъ, съ телеграммой въ карманѣ, ѣдетъ на званый обѣдъ, напивается пьянымъ, истерически рыдаетъ, публично кается въ грѣхахъ—и кончаетъ тѣмъ, что садится за „горку", съ тысячными ставками. Канва для драмы есть и здѣсь—но только канва; мы не узнаемъ главнаго — отношенія сына къ отцу до первой катастрофы, не узнаемъ, былъ ли вызовъ на дуэль уступкой общепринятымъ понятіямъ о чести или тѣмъ исходомъ изъ невыносимыхъ нравственныхъ мукъ, какимъ послужило для Степы Разумова самоубійство. Въ „Больномъ мѣстѣ" насъ поражаетъ прежде всего, наоборотъ, удивительная законченность картины. Вся внутренняя жизнь старика Разумова, начиная съ появленія первыхъ смутныхъ сомнѣній, проходитъ передъ нами съ необыкновенною ясностью; мы переживаемъ вмѣстѣ съ нимъ переходъ отъ недоумѣнія къ страху, отъ страха—къ увѣренности въ бѣдѣ, отъ этой увѣренности—къ отчаянію. Способность автора не только понимать, но и чувствовать чужія душевныя движенія — способность, замѣченная нами уже въ раннихъ произведеніяхъ его (напр., въ „Госпожѣ Падейковой")—достигаетъ здѣсь высшаго своего развитія и какъ бы передается на время читателямъ, прикованнымъ къ полету творческой мысли. Что такое, съ перваго взгляда, герой „Больного мѣста"? Заурядный чиновникъ, засушенный продуктъ семинарскаго и канце-

дярскаго буквоѣдства, механизмъ, приводимый въ движеніе постороннею рукой и рѣжущій съ одинаковымъ усердіемъ какъ бумагу, такъ и человѣческое мясо. А между тѣмъ Разумовъ овладѣваетъ нашимъ состраданіемъ, нашимъ сочувствіемъ; глазъ психолога увидѣлъ, рука художника показала въ немъ человѣка, не вѣдавшаго что творитъ, пока не насталъ моментъ „прозрѣнія". Послѣднія страницы „Больного мѣста"—это лирическая поэма, написанная великимъ мастеромъ; грозное crescendo захватываетъ душу, старческій стонъ Разумова слышится точно наяву, финальный аккордъ оставляетъ слушателя на нѣсколько минутъ подавленнымъ, разбитымъ.

Образъ молодого Разумова набросанъ только въ общихъ чертахъ; онъ стушевывается передъ ослѣпительно яркимъ образомъ старика-отца, но это не мѣшаетъ ему быть живымъ и понятнымъ. Не даромъ авторъ настаиваетъ съ самаго начала на нѣжности и кротости Степы; многіе на его мѣстѣ выдержали бы испытаніе, „порвавъ" съ прошедшимъ — для него разрывъ невозможенъ: любви къ отцу не можетъ убить въ немъ даже презрѣніе. Любить и, вмѣстѣ съ тѣмъ, презирать—это непосильно для мягкой натуры. Хорошо еще, если бы никто не растравлялъ Степиной раны—но ее задѣваютъ безпрестанно и безцеремонно, ему не даютъ забыть о ней ни на минуту, его насильно толкаютъ на путь, по которому онъ итти не можетъ. Если бы Степа и не поднялъ на себя руку, жизнь отца и сына во всякомъ случаѣ была разбита; трагизмъ ихъ положенія заключается именно въ его безвыходности.

Разгадку глубокаго впечатлѣнія, производимаго „Больнымъ мѣстомъ", слѣдуетъ искать не только въ драматическомъ сюжетѣ, не только въ художественной его обработкѣ. Оно стоитъ какъ бы призракомъ будущаго передъ большинствомъ русскихъ отцовъ; оно напоми-

наетъ имъ, какъ своеобразное memento mori, о необходимости, рано или поздно, дать отчетъ дѣтямъ въ прожитой жизни—изъ всѣхъ отчетовъ, можетъ-быть, самый тяжелый и трудный. Чтобы страшиться этого отчета, не нужно быть Разумовымъ или Зацѣпой; *по сущей совѣсти,* по невѣдѣнію, по легкомыслію или привычкѣ совершается каждый день, на каждомъ шагу, множество дѣлъ не особенно темныхъ, но все же такихъ, съ которыми неохотно встрѣтится сынъ въ отцовскомъ жизненномъ счетѣ. Мысль объ отчетѣ носилась уже передъ Лермонтовымъ, когда онъ заключилъ свою „Думу“ безсмертными стихами:

„И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.

Это было скорѣе геніальное предвидѣніе, чѣмъ вопль наболѣвшаго чувства. Сорокъ пять лѣтъ тому назадъ не было еще разлада между „отцами“ и „дѣтьми“; въ огромномъ большинствѣ случаевъ дѣти шли по дорожкѣ, протоптанной отцами, и не предъявляли къ нимъ требованій, которыхъ сами были чужды. Задачи, которыя начинало сознавать и задавать себѣ меньшинство, были сравнительно просты и удобоисполнимы; легче было достигнуть извѣстнаго уровня, чѣмъ теперь, легче было на немъ удержаться. Заслугой, во многихъ случаяхъ, было даже бездѣйствіе, простая непричастность къ неприглядным сторонамъ жизни; теперь отчетъ, наполненный отрицательными величинами, не выдержитъ даже снисходительной критики. Опасность, о которой пророчески говоритъ Лермонтовъ, наступила черезъ нѣсколько десятилѣтій послѣ его смерти—и наступила въ такихъ размѣрахъ, которые даже не снились великому поэту. Рѣчь идетъ уже не о „горькой насмѣшкѣ“, не о „презрительномъ стихѣ“, а объ антагонизмѣ, раз-

бивающемъ цѣлыя существованія. Счастливы тѣ, къ которымъ еще не примѣнимо восклицаніе Разумова: „Жизнь написана—какъ ты ее по-новому, новыми словами напишешь?“ Счастливы тѣ, которые могутъ вписать въ свою жизнь нѣсколько новыхъ страницъ, болѣе свѣтлыхъ, или изгладить кое-что изъ написаннаго прежде. Если даже слова „по сущей совѣсти“ не служатъ индульгенціей для прошлаго, то не ясно ли, что нужно искать „просіянія“, пока еще не слишкомъ поздно, пока оно не пришло само собою и не переплелось „проклятымъ образомъ“ съ понятіемъ объ „утѣхѣ“? Мы далеки отъ мысли, чтобы именно такова была *мораль* „Больного мѣста“, чтобы таково было *поученіе*, задуманное авторомъ. Повѣсть Салтыкова слишкомъ художественна, чтобы быть узко-дидактическою; но если поэтическое произведеніе неотразимо настраиваетъ мысль и чувство на извѣстный ладъ, если оно вызываетъ изъ глубины души смутно таящуюся думу, облекаетъ ее въ плоть и кровь, отдаетъ въ ея власть, хотя бы на нѣсколько мгновеній, всего человѣка, то въ нашихъ глазахъ—это высшее торжество художника, а не поводъ обвинять его въ тенденціозности, въ нарушеніи законовъ искусства.

К. Арсеньевъ.

Публицистическія статьи Салтыкова въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 1861 г. *).

Совершенно забыты, въ настоящее время, небольшія публицистическія статьи, помѣщенныя Салтыковымъ за его подписью въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 1861 года (редакторомъ этой газеты былъ въ то время В. Ѳ. Коршъ, двумя годами позже сдѣлавшійся редакторомъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“); онѣ не попали въ „Библіографическій очеркъ литературной дѣятельности Салтыкова“, напечатанный въ № 7 „Русской Мысли“ 1889 г. А между тѣмъ онѣ заслуживаютъ полнѣйшаго вниманія. Мы изложимъ содержаніе ихъ по находящимся въ нашихъ рукахъ черновымъ рукописямъ Салтыкова.

Первая изъ нихъ, въ рукописи озаглавленная: „Къ крестьянскому дѣлу“, въ печати—„Объ истинномъ значеніи недоразумѣній по крестьянскому дѣлу“, появилась въ свѣтъ весьма скоро послѣ обнародованія положеній 19 февраля. Она имѣетъ двоякую цѣль: раскрыть главный источникъ замѣшательствъ и волненій, неизбѣжныхъ въ началѣ новаго фазиса народной жизни, и указать лучшее средство къ ихъ предупрежденію. „Представьте себѣ,—такъ начинаетъ авторъ,—

*) „Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова“, *К. К. Арсеньева*. Собр. соч. Салтыкова. Москва. 1905.

бѣднаго петербургскаго чиновника, который въ теченіе тридцати и болѣе лѣтъ своей службы ежедневно проѣзживался изъ Галерной Гавани въ тотъ департаментъ, гдѣ имѣлъ честь состоять писцомъ, и который давнымъ-давно забылъ мечтать о томъ, что есть на свѣтѣ мѣста помощниковъ столоначальника, дающія возможность износить въ годъ лишнюю пару сапогъ; предположите, что этотъ забитый и загнанный судьбою человѣкъ совсѣмъ неожиданно получаетъ извѣстіе о доставшемся ему милліонномъ наслѣдствѣ. Какъ поступитъ, какъ поведетъ себя нашъ труженикъ? Прежде всего, думаю я, онъ не повѣритъ полученному извѣстію, и сомнѣнія его разсѣются уже тогда, когда объявляющій ему эту вѣсть квартальный поручикъ назоветъ его сіятельствомъ и поцѣлуетъ у него руку. Потомъ онъ сочтетъ первымъ долгомъ нагрубить своему столоначальнику и не встать съ мѣста при появленіи начальника отдѣленія. Потомъ онъ примется переписывать брошенную ему на столъ бумагу, но работа будетъ итти худо и неспоро, и онъ, не кончивъ ея, сбѣжитъ изъ департамента въ свою любезную Гавань. Тамъ онъ закричитъ благимъ матомъ, созоветъ товарищей своего прежняго безотраднаго существованія и учинитъ дебошъ. Я даже не прочь отъ мысли, что онъ напьется пьянъ и что-нибудь напаскудитъ мимоходомъ". Безспорно, было бы лучше, если бы счастливецъ поступилъ иначе—сходилъ въ храмъ Божій, потомъ въ баню, испросилъ у добрыхъ начальниковъ отпускъ для устройства домашнихъ дѣлъ и т. д.; но вѣдь въ жилахъ его течетъ кровь, сердце у него заиграло отъ радостной вѣсти, а въ такомъ настроеніи естественно и даже законно „подпрыгнуть до потолка и показать, въ нѣкоторомъ родѣ, языкъ своему прошедшему". Съ положеніемъ внезапно разбогатѣвшаго чиновника имѣетъ много общаго положеніе крестьянъ, только что

выслушавшихъ добрую вѣсть о свободѣ. Возможно ли, чтобы эта вѣсть не потрясла ихъ до глубины души, чтобы при полученіи ея они сохранили все благоразуміе, все хладнокровіе? „Конечно, было бы весьма пріятно слышать, что они, одѣвшись въ синіе армяки или праздничные сарафаны, вышли на улицу и стали кроткимъ манеромъ играть хороводы, а потомъ спокойно разошлись по домамъ, съ тѣмъ, чтобы на другой день благонравно приняться за исполненіе старыхъ обязанностей. Но—увы!—какъ ни соблазнительна подобнаго рода идиллія, она едва ли возможна. Всякій благоразумный помѣщикъ поймет, что крестьянину, преисполненному новымъ для него чувствомъ свободы и довольства, трудно воздержаться отъ того, чтобы даже не попривередничать малость". А между тѣмъ выискиваются люди, предъявляющіе къ крестьянамъ неисполнимыя требованія. Они ужасно волнуются при мысли, что душою крестьянина чувство благодарности за дарованныя права владѣетъ не всецѣло. Отсюда тѣ дикіе вопли, которые нерѣдко слышатся въ такъ называемомъ образованномъ обществѣ; отсюда неистовыя воззванія къ насилію, какъ единственному убѣжищу противъ черной неблагодарности и единственному средству для насажденія надлежащихъ чувствъ въ черствой душѣ крестьянина. Обычнымъ орудіемъ такого насилія являются „полицейскія мѣры"—и именно противъ нихъ съ особенною силой возстаетъ Салтыковъ. Онъ желалъ бы, чтобы въ „недоразумѣнія" между помѣщиками и крестьянами вовсе не вмѣшивалась полиція, предоставляя разрѣшеніе ихъ исключительно новымъ крестьянскимъ учрежденіямъ. Отъ послѣднихъ Салтыковъ ожидаетъ образа дѣйствій, свободнаго отъ старыхъ административныхъ традицій. „Не на завладѣніе ферулой, а на исторженіе ея изъ рукъ прочихъ административныхъ мѣстъ и на преданіе ея всенародно со-

женію должно быть обращено ревнивое вниманіе крестьянскихъ учрежденій". Главная ихъ задача—„толковое и терпѣливое разъясненіе крестьянамъ ихъ правъ и обязанностей"; необходимо также устранять „излишнія и стѣснительныя для крестьянъ требованія помѣщиковъ", запрещенныя закономъ даже во времена крѣпостного права и еще менѣе допустимыя послѣ освобожденія крестьянъ. На степень безпорядка, неповиновенія, противодѣйствія слишкомъ часто притомъ возводятся такіе поступки крестьянъ, которые вовсе не имѣютъ этого характера. „Какая-нибудь ключница Мавра донесетъ барынѣ, что дядя Корнѣй, лежа на печи, бормоталъ: вы-ста, да мы-ста—вотъ ужъ и злоумышленіе. Какой-нибудь староста Акимъ подольстится къ барынѣ, что у насъ-де, сударыня, давеча Васька-скотъ на всю сходку оралъ—а пойдемъ-ка, братцы, къ барынѣ, пускай она водки намъ поднесетъ! — вотъ ужъ и бунтъ. Васька-скотъ летитъ въ становую квартиру, а дядя Корнѣй записывается въ книжечку, какъ будущій зачинщикъ и подстрекатель. Кстати о зачинщикахъ. Одна дама спрашивала нѣкотораго глубокомысленнаго администратора, хвалившагося, что онъ въ такомъ-то случаѣ взялъ столько-то зачинщиковъ и поступилъ съ ними по всей строгости (есть такія плоскодонныя головы, которыя и этимъ хвалятся!): — скажите пожалуйста, какимъ образомъ вы умѣете отличить зачинщиковъ? — Администраторъ вытаращилъ глаза и, повидимому, изумился, какъ это ему никогда не приходилъ въ голову подобный вопросъ. — Вы, можетъ-быть, отличаете ихъ по волосамъ: одинъ разъ зачинщики—бѣлокурые, другой разъ—брюнеты?—Администраторъ побагровѣлъ отъ злости, но удовлетворительнаго отвѣта не далъ. Увы! я и самъ до сихъ поръ не знаю, какіе отличительные наружные признаки за-

чинщика. Мнѣ все сдается, что зачинщикъ—время и что его-то именно и слѣдуетъ подвергнуть полицейскому взысканію. Очень можетъ быть, что я ошибаюсь...“ Возможность исключительныхъ случаевъ, вызывающихъ полицейскія мѣры, Салтыковъ признаетъ, но думаетъ, что они почти всегда могли бы быть предупреждены *своевременнымъ* увѣщаніемъ и соглашеніемъ. Въ самомъ своемъ началѣ безпорядокъ можетъ быть прекращенъ гораздо легче, чѣмъ тогда, когда онъ уже успѣлъ, такъ сказать, организоваться. Конечно, уследить за чуть примѣтными зачатками безпокойства довольно трудно; но власть не для того существуетъ, чтобы дѣйствовать спустя рукава. Отвѣтственности за безпорядки должны подлежать, поэтому, не только крестьяне, но и учрежденія или лица, допустившія развитіе безпорядковъ. Салтыковъ вполнѣ убѣжденъ, что даже и въ серьезныхъ случаяхъ мѣры, не выходящія изъ предѣловъ законности, принесутъ пользу несравненно болѣе дѣйствительную и прочную, чѣмъ мѣры „экстренныя“. Впечатлѣнія, вызванныя употребленіемъ силы, болѣе интенсивны, но менѣе продолжительны. Самая медленность законной процедуры имѣетъ свою хорошую сторону, потому что даетъ раздраженію время притупиться, а лицу, дѣйствующему противъ этого раздраженія, позволяетъ оглядѣться и приступить къ искорененію зла съ полнымъ знаніемъ его сущности... Въ заключеніе Салтыковъ высказывается за гласность засѣданій губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій и за доведеніе особыхъ мнѣній, подаваемыхъ членами этихъ присутствій, до свѣдѣнія центральной власти.

Непосредственнымъ продолженіемъ этой статьи является небольшая замѣтка, посвященная спеціально членамъ отъ дворянства въ губернскихъ по крестьян-

скимъ дѣламъ присутствіяхъ *). На нихъ въ особенности разсчитываетъ Салтыковъ для достиженія цѣлей, указанныхъ имъ раньше—для разъясненія крестьянамъ ихъ правъ и обязанностей и для предупрежденія „недоразумѣній", изъ которыхъ возникаютъ „безпорядки". Въ появленіи ихъ на мѣстѣ Салтыковъ видитъ одну изъ гарантій противъ ненавистныхъ ему полицейскихъ мѣръ. „Дѣйствіе полиціи, какъ оно до сихъ поръ представлялось въ понятіяхъ народа, есть нѣчто не успокаивающее, но даже производящее результаты совершенно противоположные... То, въ чемъ полицейская власть видитъ неповиновеніе или сопротивленіе закону, въ глазахъ добросовѣстнаго члена губернскаго правленія можетъ принять характеръ событія, коего основа лежитъ, быть-можетъ, въ неясномъ пониманіи обязанностей съ одной стороны, а быть-можетъ, и въ стараніи удержаться на прежней почвѣ произвола — съ другой".

Слѣдующая замѣтка Салтыкова „Объ отвѣтственности мировыхъ посредниковъ", помѣщенная въ № 91 „Московскихъ Вѣдомостей" (все за тотъ же 1861 г.), написана по поводу статьи Ржевскаго (довольно извѣстнаго, въ свое время, сторонника консервативно-дворянской партіи): „Нѣсколько словъ о дворянствѣ", напечатанной въ № 11 „Нашего Времени". Статья Ржевскаго, насколько она касалась мировыхъ посредниковъ, была проникнута полнѣйшимъ, безграничнымъ оптимизмомъ. Авторъ не сомнѣвался въ безусловной пригодности новыхъ должностныхъ лицъ къ возложенному на нихъ дѣлу; онъ не допускалъ даже и мысли, чтобы кто-нибудь изъ нихъ могъ употребить во зло

*) Такихъ членовъ въ каждомъ губернскомъ присутствіи было четыре, двое по назначенію министра внутреннихъ дѣлъ, двое по выбору собранія губернскаго и уѣздныхъ предводителей.

независимое положеніе, предоставленное имъ закономъ. Салтыковъ не раздѣляетъ этого прекраснодушія. Онъ напоминаетъ, что въ Россіи еще слишкомъ крѣпка привычка смотрѣть на всякую должность не столько съ точки зрѣнія обязанностей, съ нею сопряженныхъ, сколько съ точки зрѣнія доставляемыхъ ею личныхъ выгодъ. Слишкомъ мало распространена въ средѣ дворянства подготовка къ серьезному труду, къ пониманію крестьянскихъ интересовъ. Не даромъ наша литература изображала помѣщиковъ либо самодурами либо неумѣлыми мечтателями; соединеніе добрыхъ намѣреній съ умѣніемъ проводить ихъ въ жизнь встрѣчается у насъ весьма рѣдко; помѣщики въ родѣ Костанжогло существуютъ только на бумагѣ. Слишкомъ велико, наконецъ, значеніе „рекомендацій“, слишкомъ много рекомендующихъ и рекомендуемыхъ. „Не дремлетъ Матрена Ивановна, не дремлетъ статскій совѣтникъ Стрекоза—и та и другой неустанно строчатъ рекомендательныя письма. Первая рекомендуетъ своего protégé по причинѣ comme il faut, второй своего — за скромность. Матрена Ивановна—хорошая женщина, отличные подаются у нея пироги за обѣдомъ; Стрекоза припоминаетъ въ письмѣ о пріятныхъ минутахъ, тогда-то вмѣстѣ проведенныхъ. Согласитесь, что какъ-то трудно, неловко отвѣчать отказомъ на такое въ душу лѣзущее приставанье“. Въ виду всего этого трудно думать, чтобы выборъ въ мировые посредники всегда и вездѣ былъ безупреченъ. И у нихъ могутъ быть слабости, коррективомъ которыхъ должна служить строгая отвѣтственность. Независимому положенію мировыхъ посредниковъ Салтыковъ сочувствуетъ вполнѣ, но протестуетъ противъ смѣшенія независимости съ безотвѣтственностью. Законъ „оградилъ мировыхъ посредниковъ отъ придирчивости вліянія мѣстной власти на дѣйствія ихъ и убѣжденія, но не снялъ съ нихъ

отвѣтственности за послѣдствія тѣхъ и другихъ". Иначе въ дѣятельности мировыхъ посредниковъ сталъ бы господствовать тотъ же произволъ, какимъ отличалась у насъ до тѣхъ поръ вся дѣятельность администраціи. Правда, привлечь мирового посредника къ отвѣту можетъ только сенатъ, но возбудить вопросъ о такомъ привлеченіи зависитъ отъ губернскаго начальства, и если оно не пользуется, въ случаѣ надобности, своимъ правомъ, то въ этомъ заключается явное нарушеніе обязанности. Салтыковъ разсчитываетъ, впрочемъ, не на одну только служебную отвѣтственность посредниковъ. Онъ предлагаетъ организацію ежегодныхъ губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ, замѣчая, что нѣчто подобное было устроено въ одной изъ внутреннихъ губерній (вѣроятно, Тверской) по отношенію къ судебнымъ слѣдователямъ. На съѣздѣ, по его мнѣнію, мировымъ посредникамъ слѣдовало бы не только обмѣниваться мыслями и совѣщаться о возникающихъ въ ихъ практикѣ вопросахъ, но и представлять отчетъ о всей своей дѣятельности. Журналы посредниковъ одного уѣзда могли быть повѣряемы посредниками другого уѣзда. Кромѣ посредниковъ, участіе въ губернскомъ съѣздѣ должны были бы принимать члены губернскаго крестьянскаго присутствія и правительственные члены уѣздныхъ мировыхъ съѣздовъ. Результаты совѣщаній съѣзда и повѣрки отчетовъ слѣдовало бы публиковать въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. „Мы убѣждены,—говоритъ Салтыковъ,—что одна мысль о возможности взаимной повѣрки дѣйствій мировыхъ посредниковъ много очиститъ этотъ рождающійся у насъ институтъ. Надъ нею задумается не одинъ изъ сторонниковъ самоуправленія, переложеннаго на русскіе нравы; не одинъ изъ тѣхъ, которые въ юношескомъ возрастѣ повторяли другъ другу: mon cher, *nous sommes* indépendants! оставитъ свою затѣю и

уѣдетъ восвояси пасти гусей. Но зато тѣ, которые останутся, будутъ дѣйствительно хорошими и полезными мировыми посредниками".

Почти одновременно со статьей объ отвѣтственности мировыхъ посредниковъ написана Салтыковымъ статья: „Гдѣ истинные интересы дворянства". Она также начинается возраженіемъ Ржевскому. „Покуда г. Ржевскій приглашаетъ дворянъ воспользоваться какимъ-то единственнымъ въ исторіи случаемъ, чтобы утвердить свое политическое преобладаніе надъ прочими сословіями, благоразумнѣйшіе и образованнѣйшіе изъ дворянъ помышляютъ не о преобладаніи и даже не о томъ, чтобы удержаться, такъ сказать, на поверхности возникающаго въ Россіи земства, а о томъ, чтобы просто-напросто сдѣлаться членами этого земства — членами не случайными, но дѣйствительными членами, связанными съ земствомъ всей совокупностью условій, налагаемыхъ этимъ званіемъ. И это весьма понятно. Какими бы правами ни пользовалось извѣстное сословіе, дѣйствительная сила свободнаго государства лежитъ въ земствѣ. Тамъ источникъ матеріальнаго его благосостоянія; тамъ же залоги дальнѣйшаго его политическаго и умственнаго развитія. Оторваться отъ всего этого—значило бы оторваться отъ общей жизни государства, значило бы стать въ классъ бобылей, тотъ самый классъ, въ который нѣкоторые благодѣтели человѣческаго рода такъ усердно хлопотали пристроить крестьянъ". Въ Россіи необходимость дружной, единодушной работы всѣхъ общественныхъ силъ понималась до сихъ поръ довольно слабо; помѣхи и преграды такая работа встрѣчала со всѣхъ сторонъ. „Тутъ сословія, тамъ вѣдомства, тутъ чины, тамъ гильдіи и разряды; все топорщится, все представляетъ свои особенныя права, ни къ чему нельзя приступиться, не сдѣлавши напередъ особеннаго и совершенно безсмысленнаго маневра. Однако, русскій че-

ловѣкъ покладистъ, привыкаетъ ко всему. Привыкъ и къ маневрамъ, такъ привыкъ, что безъ нихъ ему и жизнь не въ жизнь: все равно, что безъ клоповъ спать и безъ таракановъ щи хлебать. И если бы расплодившіяся въ Петербургѣ комиссіи не доказали намъ фактически, что мы ежечасно приносимъ въ жертву наши интересы нѣкоторому чудовищу, именуемому гилью, то мы и до сихъ поръ были бы вполнѣ довольны своей судьбой". Искусственныя дробленія, созданныя администраціей, ею же могутъ быть и уничтожены. Съ этимъ уничтоженіемъ не легко примириться большинству, а между тѣмъ примиреніе необходимо. Съ отмѣной крѣпостного права сословные интересы дворянства потеряли прежнее значеніе. „Напрасно толпа (увы! въ каждомъ сословіи, какъ бы высоко оно ни было поставлено, есть своя толпа!) старается удержаться за немногія крохи, упавшія съ паскудной трапезы крѣпостного права и несметенныя лишь по недоразумѣнію; напрасно философы и юристы этой толпы усиливаются эскамотировать благодѣтельныя послѣдствія реформы, придумывая новыя, обманывающія только зрѣнія формы для упроченія того же крѣпостного права. Усилія эти останутся безплодными уже потому, что они ставятъ дворянство внѣ общей жизни государства, а ему необходимо войти въ самое сердце этой жизни". Констатировавъ признаки увеличивающагося сближенія между народомъ и дворянствомъ, Салтыковъ указываетъ на единственное средство упрочить это сближеніе, сдѣлать его дѣйствительнымъ и дѣятельнымъ: помѣщикъ долженъ стать членомъ сельскаго общества и волости. Законъ этого не требуетъ, но и не воспрещаетъ, предоставляя разработку вопроса времени и общественному мнѣнію. Разрѣшеніе его въ утвердительномъ смыслѣ было бы одинаково полезно и для помѣщиковъ и для крестьянъ, подъ однимъ только условіемъ:

чтобы сближеніе было искренне. Крестьяне сумѣютъ различить волка отъ сторожевого пса, и дѣло, испорченное однимъ, долго не поправится даже при соединенныхъ усиліяхъ многихъ. Помѣщикъ, желающій вступить въ составъ сельскаго общества и волости, долженъ предварительно окончить, путемъ выкупной сдѣлки, всѣ расчеты съ бывшими своими крестьянами и затѣмъ участвовать, наравнѣ съ прочими членами общества, въ платежѣ податей и повинностей, лежащихъ на обществѣ.

Статья Салтыкова вызвала возраженіе Ржевскаго (въ „Русскомъ Вѣстникѣ"), на которое, въ свою очередь, отвѣчалъ Салтыковъ. На личной сторонѣ спора, принявшаго довольно желчный характеръ, мы останавливаться не будемъ; для насъ важно въ немъ только то, что способствуетъ разъясненію мысли Салтыкова. Ржевскій назвалъ Салтыкова *бюрократомъ*. „Извѣстно мнѣ,— говоритъ по этому поводу Салтыковъ,—что въ глазахъ Собакевичей и Маниловыхъ это ужасно ругательное слово, все равно, что *моветонъ* въ глазахъ Земляники и Ляпкина-Тяпкина. Слушать, какъ разсуждаютъ эти господа о централизаціи и бюрократіи, бываетъ поистинѣ уморительно. Одинъ доказываетъ, что децентрализація заключается въ учрежденіи сатрапій; другой мнитъ, что децентрализація въ томъ состоитъ, чтобы водку во всякое время пить. Что такое бюрократъ? — спрашиваетъ Мижуевъ. — А вотъ, братецъ,— объясняетъ Ноздревъ: — хочу я, напримѣръ, теперь водки выпить — анъ тутъ бюрократъ: стой, говоритъ, водку велѣно пить въ двѣнадцать часовъ, а не теперь... Меня, однакожъ, это слово отнюдь не пугаетъ; во-первыхъ, оно выражаетъ собою принципъ, котораго участіе въ жизненныхъ отправленіяхъ государства столь же необходимо, какъ и участіе земства, а во-вторыхъ, я сомнѣваюсь, чтобы даже наиученѣйшіе изъ

Ноздревыхъ могли удовлетворительно объяснить, какое отношеніе имѣетъ понятіе о бюрократіи собственно къ русской почвѣ. Гдѣ взяли, откуда вывели эти господа русскую бюрократію, отдѣльную отъ русскаго дворянства,—это тайна, разгадки которой слѣдуетъ искать въ трущобахъ сердецъ ноздревскихъ. Быть-можетъ, ихъ сбило съ толку наше подьячество; но оно представляетъ собою не бюрократію, а скорѣе пародію на адвокатуру, и стоитъ въ самомъ чиновничествѣ (дворянство тожъ) такимъ особнякомъ, что служитъ для него предметомъ постоянныхъ потѣхъ и насмѣшекъ. Называя меня бюрократомъ, г. Ржевскій, очевидно, не сознавалъ, что употребляетъ выраженіе, которому въ русской жизни нѣтъ соотвѣтствующаго понятія. Въ Россіи какъ между служащимъ дворянствомъ, такъ и между неслужащимъ (но служившимъ) могутъ быть ералашисты, могутъ быть преферансисты, могутъ быть даже люди весьма серьезные и начитанные, но бюрократіи, какъ корпораціи дисциплинированной, служащей опредѣленнымъ цѣлямъ, нѣтъ и быть не можетъ, по той естественной причинѣ, что нѣтъ еще въ виду земства. Ужели гоголевскій губернаторъ, отлично вышивающій по канвѣ, можетъ быть названъ бюрократомъ? Нѣтъ, воля ваша, это совсѣмъ не бюрократъ, это патріархъ, бесѣдующій съ пасомымъ имъ стадомъ въ халатѣ, запросто, и только въ указанные дни натягивающій на себя досадный мундиръ"... Именуя Салтыкова *адвокатомъ благоусмотрѣнія начальствующихъ лицъ*, Ржевскій обвинялъ его въ томъ, что онъ хлопочетъ о распространеніи на мировыхъ посредниковъ *неделикатныхъ отношеній*, на которыя губернскія власти имѣютъ право во всемъ касающемся исправниковъ и становыхъ. „Отвращеніе, которое я питаю къ неделикатнымъ отношеніямъ, — отвѣчаетъ на это Салтыковъ,—достаточно доказывается всей моей литератур-

ной дѣятельностью, которая почти исключительно направлена къ обнаруженію ихъ нелѣпости". Намекалъ Ржевскій и на то, что Салтыковъ „увлекается направленіемъ извѣстной школы реформаторовъ, желающихъ во что бы то ни стало благодѣтельствовать низшимъ классамъ". Салтыковъ, приводя эти слова, сопровождаетъ ихъ комментаріемъ: „вотъ оно истинное-то значеніе слова *бюрократъ*!" Заключеніе отдѣльной статьи Салтыкова посвящено подробному развитію мысли о губернскихъ съѣздахъ мировыхъ посредниковъ. Ржевскій старался осмѣять эту мысль, представляя ее въ такомъ видѣ, что одни мировые посредники, повѣряя другихъ, будутъ просить ихъ „быть старательнѣе, писать четче, не капать чернилами и т. п.". Не смущаясь этими претензіями на остроуміе, Салтыковъ поясняетъ свой проектъ цѣлымъ рядомъ наглядныхъ примѣровъ. „Вообразите себѣ,—говоритъ онъ,—что такой-то посредникъ замѣчается въ излишнемъ пристрастіи къ тѣлеснымъ наказаніямъ. Губернскій съѣздъ, свѣдавъ о подобномъ явленіи, можетъ однимъ молчаніемъ своимъ весьма краснорѣчиво выразить свое неодобреніе подобному пристрастію. Другой посредникъ слишкомъ часто прибѣгаетъ для разрѣшенія недоумѣній къ вмѣшательству полиціи; губернскій съѣздъ можетъ сдѣлать только гм! и, конечно, посредникъ, о которомъ идетъ рѣчь, хорошо пойметъ значеніе этого *гм!*" Салтыковъ не желаетъ, чтобы мысль о губернскихъ съѣздахъ была осуществлена приказаніемъ свыше; ему хотѣлось бы, чтобы она была принята посредниками motu proprio, безъ всякаго принужденія.

Послѣдняя замѣтка Салтыкова направлена противъ новаго отвѣта, напечатаннаго Ржевскимъ въ № 30 „Современной Лѣтописи" (такъ называлось тогда еженедѣльное прибавленіе къ „Русскому Вѣстнику"). Въ этомъ отвѣтѣ Ржевскимъ было дано слѣдующее опре-

дѣленіе бюрократіи: „безпрерывная регламентація, безпрерывное вмѣшательство въ частную жизнь, стремленіе замѣнить не только жизнь, но и совѣсть предписаніями начальства". „Гораздо справедливѣе и проще было бы сказать,—возражаетъ Салтыковъ,—что бюрократія представляетъ собою въ государствѣ органъ центральной власти, которая, въ свою очередь, служитъ представительницей интересовъ и цѣлей государственныхъ... Г. Ржевскій напрасно беретъ на себя трудъ формулировать мою мысль такъ: вездѣ, гдѣ нѣтъ земства, господствуетъ бюрократія. Нѣтъ, я сказалъ и желалъ сказать: гдѣ нѣтъ земства, тамъ нѣтъ и бюрократіи, а есть чепуха, есть безконечная путаница понятій и отношеній, при существованіи которыхъ всякій отдѣльный общественный дѣятель получаетъ возможность играть въ свою собственную дудку"... Ржевскій обвинялъ Салтыкова въ неуваженіи къ общественному мнѣнію. Отвергая это обвиненіе, Салтыковъ замѣчаетъ, что и въ отношеніи къ общественному мнѣнію не всегда подобаетъ играть роль Молчалина. „Бываютъ общества, гдѣ эксплоатація человѣка человѣкомъ, біеніе по зубамъ и пр. считаются не только обыденнымъ дѣломъ, но даже разсматриваются мѣстными философами и юристами съ точки зрѣнія права. Благоговѣть передъ мнѣніями такихъ обществъ было бы не только безразсудно, но и безсмысленно".

Вопросъ о значеніи административной власти, о ея правахъ и обязанностяхъ, объ отношеніяхъ ея къ обществу и земству не переставалъ интересовать Салтыкова и много лѣтъ спустя, когда онъ окончательно оставилъ службу и всецѣло посвятилъ себя литературѣ. Въ его бумагахъ нашлось нѣсколько номеровъ „Московскихъ Вѣдомостей" и „Современной Лѣтописи" 1870 г., въ которыхъ напечатана замѣтка о губернаторахъ, по поводу тогдашняго проекта административной реформы.

Свѣдѣнія, заключавшіяся въ этой замѣткѣ, должны были, очевидно, послужить Салтыкову матеріаломъ для статьи, отъ которой сохранилось въ рукописи только начало вмѣстѣ съ наброскомъ программы дальнѣйшаго изложенія. Основная мысль статьи, предназначавшейся, вѣроятно, для „Отечественныхъ Записокъ", заключалась, повидимому, въ томъ, что губернаторская власть подлежитъ не усиленію (какъ тогда предполагалось), а введенію въ законные предѣлы. „Власть губернаторовъ,—говоритъ Салтыковъ,—въ настоящее время настолько обширна, что усилить ее нѣтъ возможности. Какъ расширить то, что уже само по себѣ не имѣетъ точныхъ границъ? Когда все дано, то трудно себѣ представить, чтобы существовало что-нибудь такое, что было бы болѣе этого всего".

Публицистическія статьи Салтыкова, напечатанныя въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" 1861 г., замѣчательны, прежде всего, уже тѣмъ, что появились въ свѣтъ за полною его подписью. Онъ не счелъ нужнымъ скрыться даже подъ прозрачнымъ псевдонимомъ Щедрина, къ которому такъ часто прибѣгалъ въ другихъ случаяхъ. Онъ не могъ не знать, что его статьи многихъ раздражатъ, многихъ испугаютъ, подвергнутся злостнымъ перетолкованіямъ,—и несмотря на то, или именно потому, выступилъ на сцену съ поднятымъ забраломъ. Это было почти равносильно отказу отъ дальнѣйшей административной карьеры. Въ вѣдомствѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, гдѣ служилъ тогда Салтыковъ, охлажденіе къ только что совершившейся реформѣ наступило весьма быстро, и горячая ея защита не могла нравиться власть имущимъ лицамъ. Когда Салтыковъ утверждалъ, что „недоразумѣнія" между помѣщиками и крестьянами почти всегда могутъ быть покончены миролюбиво, путемъ увѣщанія и соглашенія, его слова должны были показаться косвеннымъ осужденіемъ

„экстренныхъ мѣропріятій", которыми былъ такъ богатъ 1861 г. Когда онъ предлагалъ устройство губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ, его могли обвинить въ стремленіи поставить общественный контроль на мѣсто или выше правительственнаго надзора. Когда онъ рекомендовалъ дворянамъ губернскихъ съѣздовъ вступленіе въ составъ сельскаго общества и волости, его могли заподозрить въ ультра-демократическихъ тенденціяхъ, въ непризнаніи границъ, установленныхъ обычаемъ и закономъ. Не останавливаясь передъ подобными соображеніями, Салтыковъ рѣшился высказать, по возможности, все то, что накопилось у него на душѣ во время службы въ двухъ центральныхъ губерніяхъ *). Онъ видѣлъ, какую массу дурныхъ чувствъ возбудило освобожденіе крестьянъ, какими опасностями и затрудненіями окружено новое дѣло. Онъ зналъ, что всѣ огорченные и обиженные реформой стоятъ на стражѣ „недоразумѣній", чтобы тотчасъ же закричать о необходимости экстренныхъ полицейскихъ мѣръ, а потомъ изъ самаго факта принятія этихъ мѣръ вывести заключеніе о преждевременности освобожденія. Настаивая на прекращеніи миролюбивомъ „недоразумѣній", Салтыковъ касался именно того вопроса, который имѣлъ тогда наибольшую важность: онъ указалъ тотъ единственный путь, на которомъ было возможно безостановочное и безпрепятственное движеніе впередъ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что многіе изъ крестьянскихъ „бунтовъ", омрачившихъ великій 1861 годъ, могли быть предупреждены своевременнымъ, *терпѣливымъ* разъясненіемъ новыхъ поземельныхъ и личныхъ отношеній, а чѣмъ меньше было бы бунтовъ, тѣмъ меньше было бы матеріаловъ для реакціи, первые признаки которой замѣчаются уже въ 1862 году.

К. Арсеньевъ.

*) Рязанской и Тверской.

Значеніе Салтыкова какъ публициста *).

Салтыковъ былъ такою крупною и оригинальною силою нашей литературы въ теченіе четырехъ десятилѣтій, что ему, безъ сомнѣнія, посвящено будетъ не мало изученій и литературныхъ и историческихъ. Это—писатель художественный и публицистъ въ одно и то же время. При жизни онъ развѣ только однажды встрѣтилъ подробную и цѣльную оцѣнку своихъ произведеній, которая отдавала справедливость всему объему и значенію его громаднаго труда, съ обѣихъ сторонъ его содержанія. Его произведенія, въ большинствѣ, были такъ тѣсно связаны съ современностью, что въ нихъ читатель искалъ прежде всего его отзывовъ на „злобу дня", и слишкомъ часто не оцѣнивалъ высокой художественности его многихъ изображеній; съ другой стороны, такъ называемая художественная критика не разъ упрекала его въ излишествахъ его сатиры, въ недостаткѣ вниманія къ художественному исполненію, въ преувеличеніи, даже карикатурѣ и т. д. Правдивую оцѣнку Салтыкова дастъ, конечно, историческая критика: она укажетъ какъ свойства дарованія писателя, такъ и тѣ внѣшнія условія, которыя направляли его дѣятельность и отъ которыхъ въ большой мѣрѣ именно зависѣла форма и тонъ его произведеній. Современникамъ еще слишкомъ близка та дѣйствительность,

*) *А. Н. Пыпинъ.* М. Е. Салтыковъ. Спб. 1899.

которая доставляла матеріалъ для его творчества, которая возбуждала его чувство, наполняла его душу негодованіемъ и горечью; современникамъ трудно, а иногда и невозможно бываетъ отдать себѣ полный отчетъ въ истинномъ характерѣ этой дѣйствительности, въ томъ впечатлѣніи, какое оказывала она на чуткую, нервную натуру писателя, и вмѣстѣ трудно было бы со всею полнотой изобразить тѣ обстоятельства, ту среду, въ которыхъ совершалась вся эта дѣятельность; а безъ этого невозможно вполнѣ оцѣнить писателя, который весь поглощенъ былъ тревожными вопросами жизни и волновался ея возмутительными неправдами.

При жизни Салтыковъ, какъ всякій писатель, затрогивающій чувствительныя и больныя струны времени, возбуждалъ и самыя горячія сочувствованія—въ тѣхъ, кто находилъ у него высказанными свои задушевныя мысли, и настоящую ненависть—въ тѣхъ, для кого онъ являлся суровымъ обличителемъ; но не много было писателей, которые возбуждали бы въ обществѣ эти противоположныя чувства въ такой степени. Это указываетъ опять, какъ сильна была въ Салтыковѣ обличающая и осуждающая сторона его произведеній, какъ будто бравшая верхъ надъ чисто поэтическими, художественными замыслами. Намъ кажется, что сужденія о Салтыковѣ будутъ ошибочны, если критика будетъ относиться къ нему только съ чисто эстетическими требованіями, потому что часто онъ самъ приступалъ къ своему труду не какъ художникъ, а именно какъ публицистъ. Даже въ тѣхъ произведеніяхъ, гдѣ видятъ особенную высоту художественнаго исполненія, Салтыковъ вовсе не былъ тѣмъ традиціоннымъ художникомъ, который „поетъ какъ птица“; даже здѣсь у него бываетъ „намѣреніе“ или „тенденція“, то-есть совершенно опредѣленный, почти прямо публицистическій взглядъ на изображаемыя явленія жизни.

Онъ не подходитъ подъ обычныя,—уцѣлѣвшія отъ временъ романтизма;—опредѣленія художественнаго творчества во множествѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ онъ рисуетъ не столько живыя, реальныя лица, сколько общія настроенія, ходячія въ обществѣ понятія, словомъ, изображаетъ цѣлое состояніе общественныхъ отношеній. Этихъ, такъ сказать, теоретическихъ картинъ разсѣяно такъ много въ его произведеніяхъ, что, очевидно, ихъ тема составляла для него предметъ самаго глубокаго интереса. Этотъ интересъ былъ именно публицистическій. Для стариннаго художества это былъ, собственно говоря, сюжетъ невозможный: поэтъ и художникъ говоритъ и дѣйствуетъ образами, а здѣсь ихъ иногда вовсе не было; передъ читателемъ, напротивъ, проходила вереница общихъ положеній, казуистическихъ аллегорій, развиваемыхъ авторомъ со всѣхъ сторонъ въ разнообразныхъ комбинаціяхъ; интересъ разсужденія заключался именно въ томъ, что здѣсь разбиралась путаница ходячихъ мнѣній, которыя нерѣдко бывали логическою нелѣпостью, безсмысленнымъ увлеченіемъ, остаткомъ стараго злобнаго крѣпостничества и обскурантизма, и т. д., и задача, которую ставилъ себѣ авторъ, была именно въ томъ, чтобы раскрыть эту логическую нелѣпость, обнаружить непривлекательную или прямо отвратительную подкладку и заднюю мысль, прятавшуюся за фразами объ общественномъ благѣ или даже о спасеніи отечества. Мы не сомнѣваемся, что позднѣе, когда пройдетъ современная „злоба дня“ и для нея самой начнется исторія, будетъ глубже и справедливѣе оцѣненъ этотъ господствующій нервъ литературной дѣятельности Салтыкова. Онъ никогда не былъ спокоенъ; его жизнь пришлась въ такую пору нашей исторіи, когда послѣ многихъ десятилѣтій застоя, гоненія на мысль, общественной безурядицы и крѣпостного насилія, покрываемыхъ молчаніемъ или рабскими панегириками, на-

ступало, повидимому, время освобожденія—по крайней мѣрѣ отъ самыхъ крупныхъ золъ только что пережитого порядка вещей; но уже вскорѣ стало оказываться, что надежды были преждевременны, что старые нравы, воспитывавшіеся безпрепятственно цѣлыми вѣками, уступаютъ не такъ легко,—уже вскорѣ эти нравы успѣли взять верхъ надъ слабыми начатками новаго порядка вещей и сумѣли, не отвергая новыхъ словъ, вошедшихъ въ употребленіе, подложить подъ нихъ старое содержаніе. Салтыковъ былъ глубоко и страстно преданъ мысли и надеждѣ общественнаго преобразованія; какъ авторъ „Губернскихъ очерковъ", которые сами были своеобразнымъ, небывалымъ изображеніемъ обыденной русской жизни, еще нетронутой никакими новыми идеями, онъ не мало участвовалъ въ созданіи новаго настроенія, охватывавшаго наше общество во второй половинѣ 50-хъ годовъ, и съ тѣхъ поръ онъ чутко слѣдилъ за всѣми проявленіями этой внутренней, сначала глухой, потомъ открытой борьбы новыхъ начинаній со старыми инстинктами въѣвшагося въ нравы крѣпостничества и обскурантизма. Нерѣдко съ удивительною проницательностью онъ раскрывалъ эти старые инстинкты въ подкладкѣ либерализма, становившагося модой, угадывалъ фальшивый тонъ мнимыхъ ревнителей общественнаго блага, указывалъ пустоту тѣхъ фразъ, какими наполнялись тогда общество и литература. Его проницательность рѣдко ошибалась: чѣмъ дальше шло время, тѣмъ шире и грандіознѣе вырастала реакція, зачатки которой онъ услѣдилъ при самомъ первомъ ихъ проявленіи, и чѣмъ сильнѣе самъ онъ проникнутъ былъ желаніемъ видѣть водвореніе общественной правды или даже просто здраваго смысла и элементарной справедливости, тѣмъ больше его настроеніе становилось желчнымъ и раздражительнымъ.

Эта мысль объ общественномъ благѣ, эта скорбь и

негодованіе, какими его наполняло зрѣлище всякихъ нарушеній самаго основного общественнаго интереса, составляютъ существенную черту, проходящую чрезъ все содержаніе его произведеній отъ начала и до конца. Трудно сказать, что больше и чаще возбуждало его писательскую дѣятельность—потребность художественнаго воспроизведенія образовъ, создаваемыхъ богатой фантазіей, или чисто публицистическая потребность отозваться на волненія своего времени и карать тѣ безсмысленныя явленія, которыя возмущали въ немъ гражданское чувство. Быть-можетъ, скорѣе послѣднее; но необычайный талантъ дѣлалъ то, что публицистическая мысль подъ его перомъ сама собой облекалась въ плоть и кровь, и онъ заставлялъ ее высказываться въ живыхъ лицахъ и реальныхъ положеніяхъ. Не разъ онъ начинаетъ рѣчь съ общихъ вопросовъ, и тотчасъ въ видѣ комментарія въ его воображеніи создается эпизодъ изъ дѣйствительной жизни съ точно подмѣченными чертами характеровъ, нравовъ и понятій. Борьба, происходившая въ обществѣ и имъ наблюдаемая, захватывала наконецъ самые широкіе интересы, совершалась въ сферахъ, очень трудно доступныхъ для общественнаго мнѣнія и литературы, и это опять съ самаго начала побуждало Салтыкова прибѣгать къ тому языку иносказаній, намековъ, туманныхъ разсужденій, который онъ самъ характеризовалъ какъ „езоповскій“ и „рабій“ языкъ и который, къ сожалѣнію, въ самомъ дѣлѣ оставался единственнымъ возможнымъ. Нерѣдко бывало и то, что иносказательная, фантастическая картина сама вызывала на развитіе; аллегорія переходила почти въ сказку, но читатель, привыкшій къ своему автору, чувствовалъ, что это не была, однако, только произвольная и безплодная игра воображенія, что въ основѣ фантастической сказки или карикатурнаго преувеличенія лежала совершенно серьезная мысль.

Въ тѣхъ сочиненіяхъ Салтыкова, какія собиралъ онъ въ изданныхъ имъ книжкахъ и которыя объединяются въ послѣднемъ начатомъ имъ собраніи, недостаетъ цѣлаго ряда его произведеній, которыя не были внесены въ его сборники, очевидно, потому, что въ нихъ преобладаетъ именно публицистическій интересъ, слишкомъ привязанный къ извѣстной минутѣ и къ даннымъ литературнымъ спорамъ и столкновеніямъ. Салтыковъ былъ правъ, когда не вносилъ въ свои сборники этого рода произведеній: они имѣли слишкомъ тѣсный журнальный характеръ, понятны были бы вполнѣ только въ свое время, въ обстановкѣ данныхъ литературныхъ отношеній. Точно такъ же въ извѣстныя собранія сочиненій не вошло множество небольшихъ статей критическаго содержанія, чисто публицистическихъ трактатовъ, полемическихъ замѣтокъ и т. п., которые еще болѣе носили этотъ временный журнальный характеръ. Но если изучать Салтыкова исторически, то, безъ сомнѣнія, необходимо собрать и разсмотрѣть и эти журнальные труды, тѣмъ болѣе, что они представятъ особенное удобство изученія его непосредственнаго, такъ сказать, обыденнаго настроенія. Дѣятельность художественная, какъ бы тѣсно ни примыкала она къ жизни, всегда носитъ въ себѣ извѣстную условность, нераздѣльную съ искусствомъ. Въ простой журнальной бесѣдѣ писатель остается свободнѣе; не стѣсняемый формой, онъ высказываетъ прямо свои взгляды, вступаетъ въ полемику, вдается въ теоретическія толкованія, имѣетъ возможность говорить и о крупныхъ и о мелкихъ явленіяхъ данной минуты, и въ концѣ концовъ его общее содержаніе выясняется въ непринужденной бесѣдѣ чертами личныхъ взглядовъ, какихъ мы не встрѣтимъ въ его художественныхъ произведеніяхъ.

Послѣ рѣзко прерваннаго его писательства, въ концѣ 40-хъ годовъ, Салтыковъ возвратился къ литературной

дѣятельности въ новое царствованіе, когда вернулся изъ Вятки. Это былъ конецъ Крымской войны и начало нашего возрожденія. „Губернскіе очерки“ явились въ только что основанномъ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Теперь уже немногіе помнятъ по собственному чтенію, чѣмъ начиналъ тогда этотъ журналъ. „Русскій Вѣстникъ“ съ перваго раза пріобрѣлъ большую популярность: журналъ былъ однимъ изъ самыхъ яркихъ выраженій того оживленія, какое проявилось въ обществѣ подъ вліяніемъ всѣхъ условій тогдашней общественной жизни. Конецъ тяжелаго періода нашей исторіи, который лежалъ гнетомъ на умственныхъ и общественныхъ интересахъ; окончаніе войны, которая долго держала общество въ напряженіи и среди славныхъ подробностей геройской защиты Севастополя оставляла, однако, неотразимое и всѣми чувствуемое убѣжденіе не только въ нашей военной отсталости, но и въ ложномъ направленіи всего нашего внутренняго быта; начало новаго царствованія, когда вступалъ на престолъ питомецъ Жуковскаго, отъ котораго ждали новой эпохи для цѣлой государственной и народной жизни, и когда оживленный говоръ общественнаго мнѣнія предсказывалъ, и не безъ основанія, цѣлый рядъ крупныхъ реформъ, на первомъ планѣ которыхъ стояла давно жданная образованнѣйшими людьми и обѣщавшая самые широкіе результаты крестьянская реформа; въ обществѣ—чувство облегченія, самыя свѣтлыя надежды на будущее, поспѣшное желаніе принять участіе въ предстоящемъ преобразованіи общественнаго быта; наконецъ, нѣкоторыя правительственныя мѣры, убѣждавшія, что въ самыхъ высшихъ сферахъ дѣйствительно получаютъ мѣсто новыя мысли, неизвѣстныя недавнему прошлому—таковы были условія, опредѣлявшія литературное движеніе той эпохи, и „Русскій Вѣстникъ“, какъ разъ основанный въ это время, явился однимъ

изъ главныхъ органовъ этого общественнаго возбужденія. Въ новомъ журналѣ собрались отборныя силы русской литературы, представители поколѣній сороковыхъ годовъ; въ этомъ кругу уже давно сформировались тѣ просвѣщенные общественные взгляды, то убѣжденіе въ необходимости поднять русское просвѣщеніе и общественную самодѣятельность, которымъ не было мѣста въ прежней литературѣ, и которые теперь могли почти безпрепятственно высказываться, оставаясь на законной почвѣ, какъ бы слѣдуя указаніямъ самой власти. Въ половинѣ 1856 года, перваго года изданія „Русскаго Вѣстника", появилось въ журналѣ начало „Губернскихъ очерковъ". Эта замѣчательная картина административныхъ и общественныхъ нравовъ, созданныхъ предыдущей эпохой, являлась драгоцѣннымъ комментаріемъ къ тѣмъ призывамъ реформы, какіе наполняли тогда литературу. „Губернскіе очерки" являлись очень кстати, въ частности и для самаго журнала: они произвели сильное впечатлѣніе и, съ своей стороны, безъ сомнѣнія, не мало содѣйствовали успѣху „Русскаго Вѣстника". Они продолжались и въ первую половину 1857 года и въ томъ же году выдержали отдѣльной книгой два изданія. Имя Салтыкова было составлено. Въ литературныхъ кругахъ очень помнили ту оригинальную повѣсть, которая свидѣтельствовала о большомъ начинающемъ талантѣ и была причиной ссылки молодого писателя; его привѣтствовали какъ стараго знакомаго; лучшіе журналы тѣхъ годовъ предлагали ему свои страницы, и въ томъ же 1857 году явилась его первая повѣсть въ „Современникѣ" („Женихъ, картина провинціальныхъ нравовъ"); въ тѣ же годы его разсказы появлялись въ „Библіотекѣ для чтенія", „Атенеѣ", „Москозскомъ Вѣстникѣ". Съ 1859 года его разсказы помѣщались почти исключительно въ „Современникѣ"—до

1862 года; послѣ перваго закрытія этого журнала въ половинѣ того года, Салтыковъ отдалъ нѣсколько разсказовъ въ журналъ „Время“, издававшійся Достоевскимъ, а по возобновленіи „Современника“ въ началѣ 1863 года Салтыковъ принялъ въ немъ самое дѣятельное участіе, между прочимъ какъ членъ редакціи. Это ближайшее участіе въ журналѣ продолжалось два года, до конца 1864 года, когда Салтыковъ оставилъ участіе въ редакціи, принявъ служебное назначеніе въ провинцію. Послѣдній разсказъ его въ „Современникѣ“ явился въ первой книжкѣ за 1866, послѣдній годъ существованія этого журнала („Завѣщаніе моимъ дѣтямъ“).

Рѣдко Салтыковъ бывалъ такъ плодовитъ, какъ въ упомянутые два года (1863—1864) его участія въ „Современникѣ“. До тѣхъ поръ онъ не имѣлъ ближайшихъ отношеній къ какому-либо изданію; онъ помѣщалъ свои разсказы въ томъ или другомъ изданіи, не входя съ нимъ въ непосредственную связь; здѣсь онъ въ первый разъ принимаетъ участіе въ самомъ веденіи журнала и самъ много пишетъ по разнымъ отдѣламъ его программы. Эта плодовитость показываетъ, какъ сильно занимало его журнальное дѣло,—и это было естественно. Мы замѣтили, что не легко отличить, кто былъ сильнѣе въ Салтыковѣ—художникъ или публицистъ: его живѣйшимъ образомъ интересовала и возбуждала текущая борьба жизни; онъ со вниманіемъ слѣдилъ за совершавшимися событіями и спѣшилъ отозваться на нихъ своимъ мнѣніемъ и горячимъ осужденіемъ или насмѣшкой, когда его затрогивала и волновала та или другая вопіющая неправда. Онъ съ большой охотой принялъ мысль о возстановленіи „Современника“, срокъ запрещенія котораго (послѣ 1862 г.) истекалъ къ февралю 1863: уже раньше его сочувствія принадлежали этому журналу, въ которомъ съ конца

1850-хъ годовъ онъ преимущественно помѣщалъ свои произведенія. Но времена были уже не тѣ, какъ въ то время, когда онъ выступалъ съ „Губернскими очерками". Крестьянская реформа совершилась, были въ ходу другія преобразованія: шли приготовленія къ судебной реформѣ, собирались данныя для введенія земскихъ учрежденій, новаго положенія о печати; но въ общемъ настроеніи и правительственной власти и общества наступала все болѣе и болѣе явная перемѣна. Первое крупное дѣло какъ бы истощило силы реформы: съ 1861 года, вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ, уже начинаются въ высшихъ сферахъ признаки утомленія или недовѣрія, и понятно, что въ томъ обществѣ, которое вѣками жило только по указкѣ и огромное большинство котораго было совершенно непривычно къ самостоятельному сужденію въ сложныхъ предметахъ общественной жизни, тотчасъ отразилось состояніе барометра. Отразилось оно и въ литературѣ: люди безхарактерные усомнились въ собственныхъ вчерашнихъ восторгахъ; люди ловкіе разсчитали, что нужно произвести нѣкоторыя перемѣны въ тонѣ и направленіи своихъ разсужденій, чтобы вѣрнѣе обезпечить свое благополучіе; мистическіе патріоты нашли время удобнымъ для своихъ излюбленныхъ идей, для туманныхъ проповѣдей о народѣ и о „почвѣ"; наконецъ, вышли на сцену и явные крѣпостники, которые до тѣхъ поръ не рѣшались выступать открыто со своими тенденціями, а теперь стали излагать ихъ весьма откровенно и недвусмысленно. Положеніе возобновленнаго журнала было очень затруднительное: редакція журнала и Салтыковъ въ особенности не измѣнили того общаго взгляда на положеніе вещей, какой образовался во второй половинѣ 50-хъ годовъ, и если уже раньше, въ 1861 и въ 1862 годахъ, этотъ взглядъ начиналъ по условіямъ времени терять свою правоспособность въ

глазахъ возраставшей реакціи, то теперь онъ становился почти прямо опальнымъ. Думаемъ, что теперь еще не пришло время для болѣе подробныхъ объясненій того положенія вещей, и обратимся къ самымъ произведеніямъ Салтыкова.

Мы сказали, что срокъ запрещенія журнала истекалъ къ февралю 1863 года, и потому, чтобы восполнить количество книжекъ, въ февралѣ издана была двойная книга — за январь и февраль. Въ этотъ томъ вошелъ цѣлый рядъ крупныхъ и мелкихъ статей Салтыкова: три эпизода „Невинныхъ разсказовъ“ (Деревенская тишь,—Для дѣтскаго возраста,—Миша и Ваня. Забытая исторія), съ подписью Н. Щедрина; затѣмъ нѣсколько статей въ отдѣлѣ „Современнаго Обозрѣнія“: „Нѣсколько словъ по поводу замѣтки“, помѣщенной въ октябрьской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ за 1862 годъ“, съ подписью: Т—нъ; далѣе „Московскія письма“, съ подписью: К. Гуринъ; статьи: „Петербургскіе театры“, „Наша общественная жизнь“ и нѣсколько рецензій въ библіографическомъ отдѣлѣ — безъ подписи. Кромѣ беллетристическихъ разсказовъ, которые здѣсь, какъ и въ другихъ книжкахъ, Салтыковъ подписывалъ псевдонимомъ Н. Щедрина, его публицистическія статьи, подписанныя другими псевдонимами или безыменныя, не вошли потомъ въ собранія его сочиненій и въ настоящее время почти забыты *)...

Въ каждой изъ публицистическихъ статей Салтыкова мы встрѣчаемся съ тѣмъ или другимъ вопросомъ, зани-

---

*) Въ одной изъ книжекъ „Русской Мысли“ за 1889 годъ г. Я., излагая литературную дѣятельность Салтыкова - Щедрина, совсѣмъ не упомянулъ цѣлаго отдѣла публицистическихъ и критическихъ статей Салтыкова, скрытыхъ подъ другими псевдонимами или не подписанныхъ; повидимому, онъ не зналъ объ ихъ существованіи; мы возстановляемъ принадлежность ихъ Салтыкову частью по личной памяти, частью при помощи бумагъ Салтыкова, какія намъ случилось просматривать.

мавшимъ тогда общественное мнѣніе, и особенно съ вопросами, составлявшими предметъ литературныхъ толковъ и нерѣдко весьма мудреными. Выше мы дали понятіе о томъ, какъ стоялъ тогда общественный барометръ. Въ короткій промежутокъ времени, въ теченіе 1861 — 1862 гг., этотъ барометръ попелъ сильно назадъ: вопросы, еще недавно вызывавшіе въ литературѣ оживленные толки, отступаютъ на второй планъ; задорныя фразы о „нашемъ времени, когда“ и т. д. смѣняются разсудительными объясненіями о вредѣ излишней поспѣшности въ общественныхъ преобразованіяхъ, о преимуществахъ постепенности, о томъ, какъ полезно было бы дорожить опытами прошедшаго, которое было не такъ дурно, и, наконецъ, ожесточенными нападеніями на либерализмъ и вольнодумство; Тургеневъ подсказалъ тогда извѣстный терминъ нигилизма, которому обрадовались, какъ находкѣ, озлобленные люди, не умѣвшіе сами опредѣлить, что собственно вызываетъ ихъ вражду въ новѣйшемъ критическомъ и отрицательномъ направленіи. Салтыковъ больше чѣмъ многіе другіе стоялъ въ средѣ самаго вопроса. Онъ воочію видѣлъ и мастерски описалъ то старое міровоззрѣніе, которое было именно главнымъ предметомъ новѣйшаго отрицанія; либерализмъ молодыхъ поколѣній являлся прежде всего антитезомъ этого стараго міровоззрѣнія. Далѣе, Салтыковъ, снова вернувшись въ литературу, также воочію ознакомился съ ея содержаніемъ и главными дѣйствующими лицами: онъ зналъ московскіе литературные кружки—редакцію „Русскаго Вѣстника“, И. С. Аксакова и пр.—и кружки петербургскіе въ первомъ разгарѣ нашего возрожденія; его наблюдательность помогла ему оцѣнить личные характеры, и послѣ, когда стали совершаться колебанія и отступленія, ему не трудно было по страницамъ журналовъ угадывать психологическіе процессы, совершавшіеся съ

извѣстными ему людьми. Столько же понятны были ему происходившія теперь колебанія въ общественномъ мнѣніи; его не удивляла ни путаница понятій, ни возвраты мнимаго либерализма къ любимымъ привычкамъ недавнихъ нравовъ; онъ предвидѣлъ, чѣмъ должны кончаться начинавшіяся колебанія или намѣренные повороты мнѣній; словомъ, онъ ясно понималъ, что въ цѣломъ общественномъ настроеніи готовится реакціонный переворотъ, и желалъ, сколько было возможно, бросить свѣтъ въ эту мглу, начинавшую облегать общественную жизнь. Говорить прямо, называть вещи ихъ именами было невозможно, какъ было невозможно прежде, да и послѣ: уже теперь Салтыковъ прибѣгаетъ къ иносказаніямъ, къ отвлеченнымъ разсужденіямъ на темы общественныхъ отношеній, какъ часто онъ употреблялъ этотъ способъ бесѣдъ впослѣдствіи; но было также немало случаевъ, когда онъ велъ прямую, чувствительную полемику.

Произведенія Салтыкова, не входившія до сихъ поръ въ собранія его сочиненій, какъ чисто публицистическія или слишкомъ привязанныя къ данной минутѣ, исполнены великаго интереса. Интересъ заключается въ томъ, что здѣсь въ прямомъ отношеніи къ вопросамъ даннаго положенія Салтыковъ, быть-можетъ, больше, чѣмъ когда-нибудь, высказывалъ то міровоззрѣніе, которое обыкновенно облекалось имъ только въ художественную, часто фантастическую форму, и вслѣдствіе того иногда оставалось неясной, почти загадочной, особенно для людей поверхностныхъ, которыхъ увлекало всего больше, и иногда только чисто анекдотически, блестящее остроуміе сатиры. Здѣсь, напротивъ, Салтыковъ не однажды раскрываетъ свою мысль до тѣхъ предѣловъ, какіе были возможны по внѣшнимъ условіямъ литературы; даетъ гораздо ближе угадывать свои общественные идеалы, высказываетъ свое высокое

понятіе о достоинствѣ литературы, объ обязанностяхъ, лежащихъ на самомъ художественномъ творчествѣ; оставляетъ внѣ всякихъ сомнѣній свое отношеніе къ народу—отношеніе серьезное, исполненное уваженія къ „мужеству" этого народа въ борьбѣ съ тяжкими обстоятельствами его быта, отношеніе прямое и свободное отъ всякихъ фантастическихъ преувеличеній и мечтаній, которыя такъ легко иногда испаряются на практикѣ, но проникнутое глубокимъ желаніемъ серьезнаго улучшенія его быта матеріальнаго и нравственнаго. Рядомъ съ этимъ Салтыковъ открыто и во многихъ случаяхъ съ большею силою негодующаго чувства вооружается противъ тѣхъ безнравственныхъ явленій, какія совершались въ тогдашней литературѣ, въ угоду надвигавшейся реакціи, или противъ безхарактерныхъ и тѣмъ самымъ, по его мнѣнію, вредныхъ произведеній тогдашней публицистики, гдѣ мнимые народолюбцы, не выяснившіе самимъ себѣ, чего хотятъ, предавались либеральному празднословію, сами не подозрѣвали, что приближаются къ лагерю настоящихъ обскурантовъ. Рѣчь его—та же, какую онъ велъ въ теченіе всей своей литературной дѣятельности, съ конца 1840-хъ до конца 80-хъ годовъ: серьезная мысль, задушевное стремленіе къ общественному благу облекается въ необычайно живую форму бесѣды съ читателемъ, переплетающейся съ разсказомъ, размышленіями, то шутливыми, то ироническими, то въ основѣ глубоко печальными: оригинальное, неистощимое остроуміе блещетъ на каждой страницѣ.

Но если эти произведенія въ высокой степени любопытны для характеристики самого Салтыкова, раскрывая намъ этого писателя въ его непосредственномъ вмѣшательствѣ въ вопросы и борьбу общественной жизни, то, съ другой стороны, они имѣютъ величайшій интересъ для исторіи нашего общества. Никогда впо-

слѣдствіи Салтыковъ не являлся въ такой прямой публицистической роли, какъ въ описываемые годы: насколько было возможно при неизбѣжныхъ „изъянахъ", онъ старался выяснить общественное положеніе, и въ его публицистикѣ остался матеріалъ для общественной исторіи того времени, который будетъ драгоцѣненъ для будущаго историка. Салтыковъ началъ этотъ публицистическій трудъ въ крайне трудныхъ условіяхъ. Только что исполненная реформа повлекла за собой уже вскорѣ приступъ реакціи. Разсматриваемое теперь издали, почти черезъ тридцатилѣтній промежутокъ времени, это явленіе становится весьма понятно. Наше общество такъ долго, въ сущности во все теченіе своей исторіи, отрѣшено было отъ какой-либо самодѣятельности, владѣло такою умѣренною долей просвѣщенія, такъ долго жило въ идеяхъ крѣпостного права и въ то же время въ такой привычкѣ къ собственному безправію, что невозможно было думать, чтобы новая эпоха реформъ въ состояніи была въ три-четыре года измѣнить этотъ вѣками создавшійся общественный характеръ. Первый сильный толчокъ къ новому движенію дало внѣшнее событіе, Крымская война, указавшая крупные органическіе недостатки прежняго порядка вещей: урокъ былъ вразумителенъ, но въ той средѣ, какую представляло общество съ его упомянутыми качествами, онъ оставилъ только поверхностное дѣйствіе. Когда разъ было какъ будто понято и высказано, что вреденъ застой, что необходимъ „прогрессъ", толки на эту тему стали ходячей фразой, на которой общество и успокоилось. Въ тѣсномъ кругу началась усиленная умственная работа, но большинство пребывало въ прежней умственной лѣни, и урокъ остался безполезенъ. Для умовъ проницательныхъ было въ самомъ началѣ ясно, какъ поверхностно было это мнимое возрожденіе въ массѣ общества, и послѣдствія

оправдали это предвидѣніе. Крестьянская реформа имѣла, конечно, свое нравственное дѣйствіе, но и въ этомъ дѣйствіи было опять много неяснаго и обоюднаго: фактически она произвела переворотъ въ отношеніяхъ сословій и въ положеніи народной массы; возвратить прежняго было нельзя, но тѣмъ не менѣе были всѣ данныя для реакціи. Матеріально реформа тяжело и непріятно отозвалась на интересахъ именно вліятельнаго класса, и его недовольство или раздраженіе, при нерѣшительности самой власти, повлекло, наконецъ, поворотъ съ пути „прогресса“ на старую привычную дорогу, чтобы если не возвратить потерянное, то по крайней мѣрѣ пріостановить или задержать дальнѣйшее движеніе. Въ то же самое время происходило и другое явленіе: общественное возбужденіе, какъ и естественно, всего сильнѣе подѣйствовало на новыя поколѣнія; если гдѣ былъ настоящій, хотя, быть-можетъ, нѣсколько наивный энтузіазмъ отъ наступленія эпохи реформъ, то именно въ этомъ поколѣніи, видѣвшемъ отчасти послѣднюю пору прежняго порядка вещей и не сомнѣвавшемся, по юношеской горячности, что наступаетъ новая, небывалая пора во всей русской исторіи. Это выражалось живымъ интересомъ къ новой литературѣ и публицистикѣ, стремленіемъ въ школы и университеты, попытками служить самимъ народному образованію (воскресныя и безплатныя школы), вообще сильнымъ, неизвѣстнымъ прежде развитіемъ чувства общественности. Была, кромѣ того, и другая сторона дѣла: было значительное число людей изъ того самаго дворянства, особливо средняго и мелкаго, которое поставлено было крестьянской реформой въ неизвѣстныя прежде тяжелыя матеріальныя условія; въ то время, когда „отцы“ скорбѣли и негодовали на реформу, „дѣти“ встрѣчали ее съ смѣлыми надеждами молодости и искали новыхъ путей труда, который далъ бы имъ

и средства существованія и свободное положеніе въ новомъ образующемся, по ихъ мнѣнію, обществѣ; тѣ и другія побужденія, нравственныя и матеріальныя, охватили и значительную часть женскаго молодого поколѣнія. Отсюда та возбужденная жизнь, особливо въ молодыхъ поколѣніяхъ, которая отличаетъ то время — конецъ 50-хъ и 60-ые годы. Это возбужденіе заключало въ себѣ вполнѣ заслуживавшіе сочувствія нравственные мотивы, великодушные, хотя, повторимъ опять, иногда наивные порывы служить обществу и народу;— съ другой стороны весьма серьезные мотивы матеріальные, потому что для очень многихъ юношей и дѣвушекъ дворянскихъ семей шла рѣчь буквально о кускѣ хлѣба *). Къ глубокому сожалѣнію, это положеніе вещей, которое, между прочимъ, старалась объяснить нѣкоторая часть тогдашней литературы, не было понято вліятельными сферами, которыя, напротивъ, поддались инсинуаціямъ изъ реакціоннаго лагеря, и это движеніе, которое было самымъ естественнымъ результатомъ реформы (и съ нравственной и съ матеріальной стороны) и которое, между прочимъ, вызывалось самыми человѣчными и законными стремленіями молодыхъ поколѣній, приняло въ глазахъ вліятельныхъ сферъ какой-то законопреступный характеръ,—печальное недоразумѣніе, имѣвшее и крайне прискорбныя послѣдствія. Принадлежность къ молодому поколѣнію дѣлала человѣка подозрительнымъ; заблужденія нѣсколькихъ отдѣльныхъ лицъ ставились въ вину цѣлому классу людей; на молодое поколѣніе огуломъ взводились даже небывалыя преступленія (какъ, напр., петербургскіе пожары лѣтомъ 1862 года—злобное и грубое обвиненіе, которое, однако, никогда не было доказано). Реакціонная

*) Припомнимъ, напр., изъ отчетовъ бывшихъ женскихъ курсовъ, что огромный, преобладающій процентъ ихъ слушательницъ принадлежалъ именно лицамъ дворянскаго сословія.

печать самымъ гнуснымъ образомъ эксплоатировала это положеніе вещей. Вотъ условія, въ которыхъ Салтыковъ открывалъ свое публицистическое поприще. Журналъ, въ редакціи котораго, по его возобновленіи, Салтыковъ принялъ участіе, только что вынесъ административную опалу; изъ всей литературы на немъ въ особенности сосредоточены были полемическія нападенія и инсинуаціи реакціонной печати, и это однако былъ единственный органъ, въ которомъ могла найти мѣсто дѣятельность Салтыкова. Сколько неутомимаго труда, сколько искренняго чувства положилъ Салтыковъ на эту работу; въ немъ самомъ широкія прежнія надежды (которыя, вѣроятно, были передъ тѣмъ) были подорваны открывавшимся передъ нимъ зрѣлищемъ нашей дѣятельности, но, сколько было въ его силахъ, онъ стремился внести свѣтъ сознанія въ этотъ мракъ, окутывавшій общественный умъ и общественную совѣсть; онъ старался объяснить положеніе вещей, разоблачить себялюбивую и предательскую интригу и клевету, защитить „чуть-чуть пробивавшуюся жизнь“... Въ его хроникахъ, полемическихъ статьяхъ, критическихъ обзорахъ собраны черты тогдашней общественной жизни, которыя будутъ драгоцѣнны для будущаго безпристрастнаго изображенія этого времени. Изъ первой половины 60-хъ годовъ нельзя назвать другого писателя, который доставилъ бы столько этого *историческаго* матеріала. Остаются недомолвки (общій недостатокъ всей нашей литературы), но онѣ будутъ понятны, какъ понятны и теперь. Изъ-за мысли даровитаго писателя, возмущаемаго мрачными явленіями своей эпохи, проглядываетъ судъ исторіи.

А. Пыпинъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Предисловіе 3

Общественное, историческое и моральное значеніе произведеній Салтыкова, *А. И. Введенскаго* 7

Историко-общественное значеніе Салтыкова какъ сатирика, *Е. И. Утина* 22

Сатира Салтыкова и ея общественное значеніе *Е. Л. Маркова* 29

Размѣры и свойства таланта Салтыкова, *Н. К. Михайловскаго* 45

„Человѣчное" въ литературной дѣятельности Салтыкова, *Е. А. Соловьева* 76

Разносторонность таланта Салтыкова, *А. И. Введенскаго* . . 84

Трагическій элементъ въ сатирахъ Салтыкова, *А. М. Скабичевскаго* 90

Сатира Салтыкова въ связи съ развитіемъ русской жизни, *К. К. Арсеньева* 97

Міровоззрѣніе Салтыкова, *С. И. Кривенко* 106

Типы „Губернскихъ очерковъ" 110

Талантливыя натуры, *Н. А. Добролюбова* 125

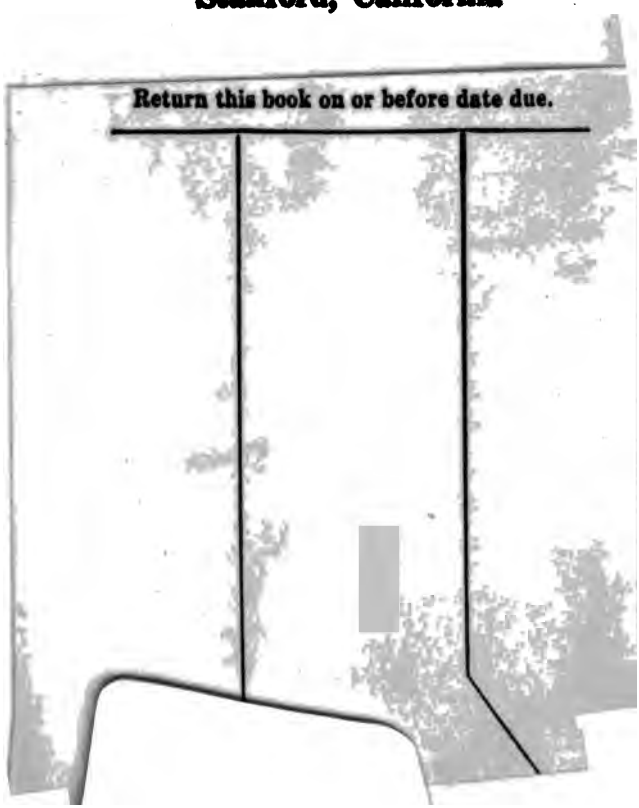
Сатира Салтыкова въ шестидесятыхъ годахъ, *Е. И. Эдельсона* 146

Занятое Салтыковымъ мѣсто въ семидесятыхъ годахъ среди литературныхъ дѣятелей, *А. П. Чебышева-Дмитріева* 168

Значеніе перваго и второго періода сатирической дѣятельности Салтыкова, *О. Ѳ. Миллера* 182

Типы ташкентцевъ, *В. П. Буренина* и *П—аго* 199

Стр.
Исторія развитія одного типа ташкентцевъ 207
Помпадуры 214
Сатира „Пошехонскихъ разсказовъ", *А. И. Арсеньева* . . . 223
Характерная метаморфоза въ русской жизни, *А. П. Чебышева-Дмитріева* . . . . . 228 —
Художественность „Семейнаго суда", *А. М. Скабичевскаго* . 233 —
Сила художественности въ разсказахъ Салтыкова . . . . . 243 —
Высоко-художественное значеніе „Больного мѣста", *К. К. Арсеньева* 253
Публицистическія статьи Салтыкова въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" 1861 года, *К. К. Арсеньева* 266
Значеніе Салтыкова какъ публициста, *А. Н. Пыпина* . . . 282

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.